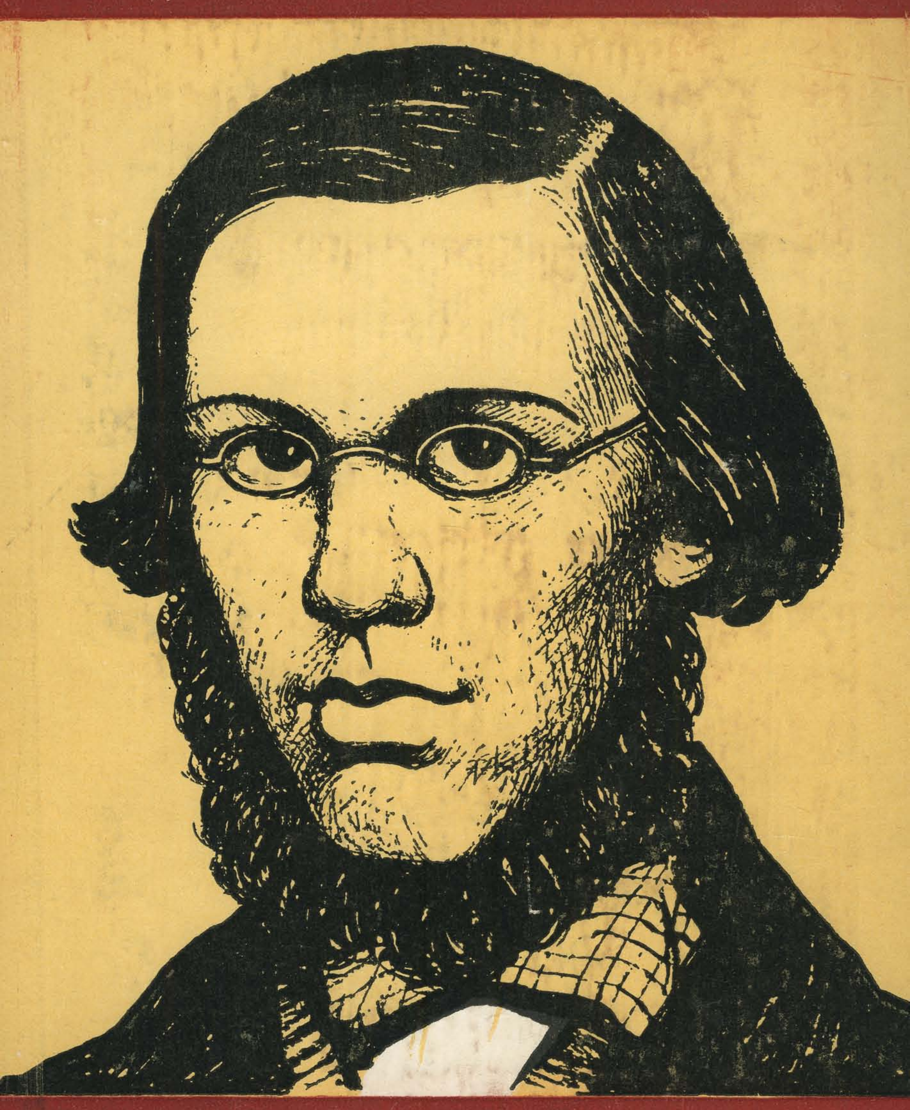
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



В. Жданов

ДОБРОЛЮБОВ


ЖЗЛ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ
Основана в 1933 году М. Горьким

ВЫПУСК
12
[326]

МОСКВА, 1961

В. ЖДАНОВ

ДОБРОЛЮБОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

8Р1(092)
Ж-42

Третье издание

Какой светильник разума погас,
Какое сердце биться перестало!

Этими словами отозвался великий русский поэт-гражданин Н. А. Некрасов на смерть Николая Александровича Добролюбова.

Предлагаемая вниманию читателей книга рассказывает о жизни и кипучей деятельности замечательного русского революционера-демократа, выдающегося литературного критика и философа-материалиста, друга и соратника Н. Г. Чернышевского

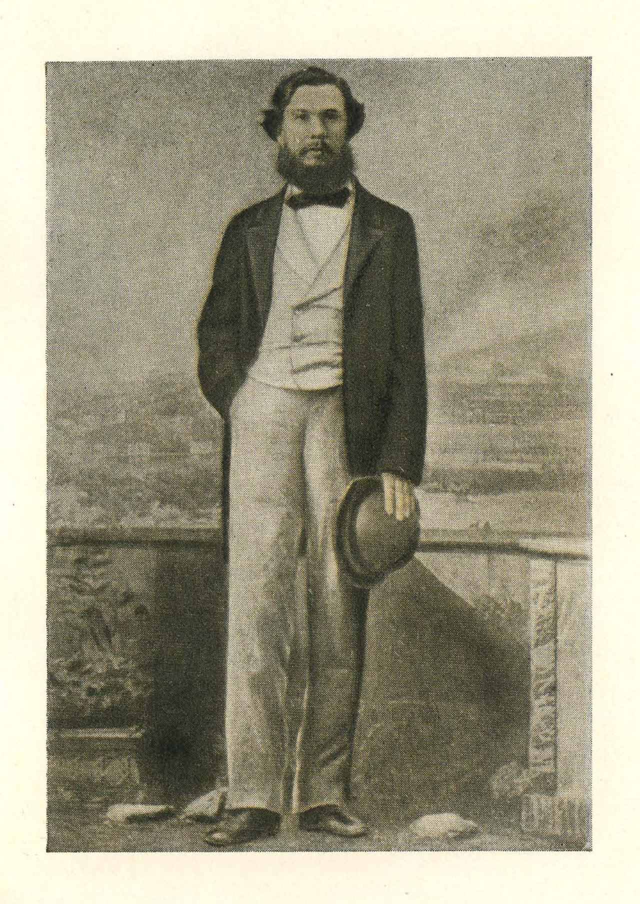
В книге показан жизненный путь Добролюбова — детство, проведенное в Нижнем Новгороде, годы учения в Петербургском педагогическом институте, когда складывались революционные убеждения будущего критика, время работы в «Современнике» (1856—1861), — наиболее яркий период его деятельности.

Преодолевая цензурные препоны, Добролюбов вместе с Чернышевским и Некрасовым пропагандировал идеи демократического преобразования России, подводя читателей к выводу о том, что путь революции — это единственный путь, который приведет страну к освобождению от крепостнической отсталости.

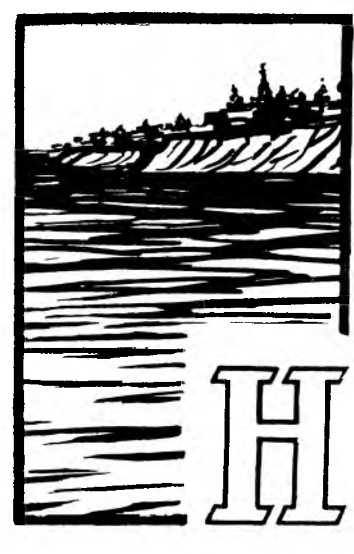
«Всей образованной и мыслящей России, — писал В. И. Ленин о Добролюбове, — дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства».

На боевых статьях Добролюбова воспитывалось несколько поколений революционеров в России и других странах.

Автор книги В. В. Жданов (род. в 1911 г.) — советский литературовед, написавший ряд работ о русской классической литературе (о Гоголе, Лермонтове, поэтах-петрашевцах и др.).



Некрасовъ



О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово но когда ты будешь тем, чем он хотел тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих

Чернышевский

I. ДЕТСТВО И СЕМИНАРСКИЕ ГОДЫ

Николай Александрович Добролюбов родился 24 января (5 февраля по новому стилю)[1] 1836 года в семье нижегородского священника. Его отец Александр Иванович Добролюбов, сын сельского дьякона, служившего в Лукьяновском уезде, в 1832 году окончил Нижегородскую семинарию и был назначен учителем уездного духовного училища. Спустя два года он женился на дочери умершего протоиерея Покровского Зинаиде Васильевне и по тогдашнему обыкновению получил его приход в качестве приданого за женой. Так он начал служить в Верхнепосадской Никольской церкви.

Александр Иванович был человек деятельный, энергичный и для своего времени довольно образованный. Он находил время для чтения, интересовался литературой. Об этом свидетельствует порядочная библиотека, которую он собрал. В ней было немало книг, сыгравших впоследствии свою роль в развитии Добролюбова-сына.

---

[1] Все другие даты в книге даются только по старому стилю

Семья Александра Ивановича увеличивалась чуть ли не с каждым годом. Характера он был строгого, и дети его побаивались, хотя воспитанием их он почти не занимался. Все его время поглощали церковная служба, уроки в духовном училище и хозяйственные заботы — Александр Иванович затеял строительство каменного дома, имевшего коммерческое назначение. Он надеялся, что, сдавая жилье внаймы квартирантам, сумеет покрыть громадные долги, в которые пришлось залезть ради этого дома. Надежды эти, однако, не осуществились: материальные затруднения постоянно сопутствовали семье Добролюбовых.

На развитие старшего сына Александр Иванович, судя по всему, не оказал особенного влияния. Гораздо большая роль в этом отношении принадлежала Зинаиде Васильевне, горячо любившей своего первенца. Судя по воспоминаниям ее старшей дочери Антонины, Зинаида Васильевна была прекрасной матерью и образцовой хозяйкой. Имея на руках огромную семью (у нее было три сына и четыре дочери; рождение пятой явилось причиной смерти Зинаиды Васильевны), она содержала весь дом в необыкновенном порядке. Своих детей она с малых лет настойчиво приучала к труду, чистоте и порядку. Она сама вела хозяйство и работала на всю семью, занимаясь также и первоначальным обучением детей.

Самые ранние впечатления детства были для Добролюбова всегда связаны с нежной любовью к матери, с воспоминаниями о ее постоянных заботах. Мы очень мало знаем о Зинаиде Васильевне. Можно думать, что она получила обычное для того времени домашнее образование. Сохранилось свидетельство о том, что в трехлетнем возрасте Добролюбов знал наизусть басни Крылова, заучив их со слов матери, стремившейся передать сыну все, что знала и умела сама. Это она внушила ему первые понятия о добре, честности, любви к людям. Она в 5—6 лет научила его грамоте, она же пыталась приохотить его к музыке: для обучения сына игре на фортепьяно

Пословицы и поговорки,

употребляющiяся въ Нижегородской Губернiи и не помѣщенныя въ собранiи Снегирева и въ дополненiи къ нему - Афанасьева (въ Арх. Калачова т. I)

А.

- Аника воинъ.
- Арсаканая (*) каша сама себя хвалитъ.
- Арзамасцы (**) гусятники.
- Арзамасъ городокъ - Москвы уголокъ (†)
- Атаманомъ артель крѣпка.
- Ахи да охи не дадутъ подмоги.

(*) Арсаканая - по мѣстному произношенiю вм. расканая.

(**) Арзамасъ уѣздный городъ Ниж. губернiи.

(†) Это передѣлка извѣстнаго присловья объ Ярославлѣ.

Страница фольклорных записей Н. А. Добролюбова.

был приглашен специальный учитель. И спустя много лет, в минуты раздумья, Добролюбов, вспоминая детство и отчий дом, записал в своем дневнике: «Я учился играть на фортепиано и... плохая игра моя утешала мою бедную мать...»

В доме был еще человек, навсегда оставшийся в детских воспоминаниях Добролюбова, — это няня Наталья Осиповна, простая крестьянская женщина, «большая мастерица сказки сказывать и песни петь», искусство которой Добролюбов не забывал, даже будучи петербургским студентом. Она пробудила в его душе любовь к народной поэзии. И недаром еще в юные годы он запечатлел образы ее «дивных сказок» в стихотворном наброске:

Стал я слушать со вниманием,
Как моей сестрице маленькой
Нянька сказывала сказочки —
Сказки дивные, старинные,
Все про храбрых, сильных витязей,
Про дела их молодецкие
И про битвы богатырские,
Про сражения с полканами,
С колдунами, с исполинами,
И про прочие их подвиги,
Все достойные бессмертия...

* * *

Добролюбов развивался очень быстро. Когда мальчику исполнилось восемь лет, отец начал поговаривать о том, что пора бы ему начать учиться как следует. Зинаида Васильевна уже выучила сына всему, чему могла. Разумеется, мысль о светском образовании даже и в голову не приходила Александру Ивановичу. Духовное училище, семинария, а затем, в лучшем случае, духовная академия — вот путь, который намечал он для сына, обычный в те времена путь молодого человека, происходившего из духовного звания. Однако приближались новые времена, и многое должно было измениться в русской жизни; этого не мог учесть Александр Иванович. Планам его не суждено было сбыться.

На первых порах решили не отдавать Николая

в училище, а готовить его дома. Сначала с ним около двух месяцев занимался бывший семинарист Садовский, затем Александр Иванович приглядел в семинарии толкового и развитого юношу лет семнадцати, по имени Михаил Костров, очень нуждавшегося в средствах. Он считался одним из лучших учеников и вдобавок был знаком семье Добролюбовых, потому что жил на квартире у тетки Фавсты Васильевны Благообразовой (старшей сестры Зинаиды Васильевны).

С сентября 1844 года семинарист философского класса Костров начал регулярно бывать в доме Добролюбовых на Лыковой дамбе. С первых же дней молодой преподаватель был поражен дарованиями и любознательностью своего восьмилетнего ученика: с необычайной быстротой он усваивал все, что говорилось на уроках, делая большие успехи в латинском и греческом языках, в географии и священной истории, в русской грамматике и в чистописании — словом, во всех предметах, которые предусматривались программой тогдашних духовно-учебных заведений.

Довольный прилежанием сына, Александр Иванович предоставил Кострову полную свободу в педагогическом отношении. По-прежнему отдавая все время служебным и хозяйственным занятиям, отец изредка заходил в классную комнату, осведомлялся об успехах сына и задавал ему несколько вопросов по тому или другому предмету. Ответы всегда были толковые, обстоятельные, свидетельствовавшие не только о знании предмета, но и о том, что мальчик учился охотно и добровольно, а не «из-под палки».

Общение с Костровым и его уроки, продолжавшиеся около трех лет, принесли несомненную пользу маленькому Добролюбову. Именно в эти годы начали складываться многие черты его натуры — трудолюбие, чувство долга, любовь к науке, необычайная настойчивость в стремлении к знаниям. И если Костров не мог и даже не пытался поколебать патриархально-религиозные основы домашнего воспитания, полученного Добролюбовым, то, во всяком слу-

чае, он содействовал пробуждению его способностей, приучал его свободно и самостоятельно мыслить. По мнению Чернышевского, из всех учителей Добролюбова «ни один не приобрел таких прав на нашу признательность за содействие развитию гениальных способностей его», как Михаил Алексеевич Костров.

Хорошо подготовленный, развитой не по летам, Добролюбов в сентябре 1847 года поступил в уездное духовное училище, сразу в четвертый и последний класс[1].

Когда ректор училища привел скромного и застенчивого 11-летнего мальчика в класс, новые товарищи, в большинстве своем дети мелкого сельского духовенства, удивились и встретили его не слишком дружелюбно. Самые юные из них были старше его на два года, а многим уже стукнуло пятнадцать. Все они, уже четыре года просидевшие в стенах училища, с досадой и завистью смотрели на новичка, поступившего прямо в четвертый класс.

— Да что ему! — говорили некоторые из них. — У него отец-то никольский священник, богатый. Дом какой! Каменный! А наш-то ректор поросенка примет и сделает что угодно...

Прошло немного времени, и эти разговоры сменились совсем другими. Первые ученики класса явно встревожились:

— Говорят, братцы, он подготовлен хорошо. А латинский как знает! Книг много у отца... Он уж Карамзина прочитал...

И первые ученики начали присматриваться к опасному конкуренту. Мальчик показался им на редкость тихим, благовоспитанным, нежной наружности; у него были мягкие руки, он был застенчив, как девочка, и дичился товарищей. Перед приходом учителя и на переменах он обычно не принимал

[1] Четвертый класс училища был двухлетним и состоял из двух отделений — низшего и высшего. Добролюбов поступил сразу в высшее отделение, то есть на второй год четвертого класса

участия в общих играх и возне, а сидел на своем месте и читал книжку.

Можно подумать, что будущие семинаристы должны были невзлюбить тихоню и избрать его предметом постоянных насмешек, как это чаще всего бывает. Но получилось иначе. Николай Добролюбов, несмотря на свою юность, сумел быстро завоевать уважение товарищей своей серьезностью, знаниями, начитанностью. Его присутствие в классе повлияло даже на характер и ход занятий; многие ученики стали лучше учиться. Одноклассник Добролюбова Митрофан Лебедев рассказывает, например, что учитель латинского языка обычно задавал трудные переводы с русского на латинский, заставляя учеников самостоятельно выполнять эту работу. Добролюбов всех поразил тем, что представил не только полный перевод текста, но и дополнил его новыми материалами. После первого же опыта он получил высокую отметку.

Наиболее удачные из его упражнений учитель, отличавшийся суровостью и даже жестокостью, сам с удовольствием читал и разбирал в классе. Многие ученики стали тянуться за Добролюбовым, изучение трудного латинского языка сделалось гораздо интереснее, как вспоминает тот же Лебедев. Очевидные успехи показывал Добролюбов и в священной истории, которая считалась одним из главных предметов, а также в географии и арифметике.

Так прошел год. Летом Добролюбов окончил училище и перешел в семинарию, на второе отделение словесности. С сентября 1848 года начались занятия в семинарии, где Добролюбову пришлось провести пять лет.

* * *

Улицы и площади старинного русского города были живописно разбросаны на гористом берегу Волги при слиянии ее с Окой. В центре, на вершине холма, возвышались стены древнего Кремля, украшенные многочисленными башнями, окаймленные бульваром.

В годы детства Добролюбова Нижний Новгород был купеческо-мещанским городом; он играл заметную роль в экономике тогдашней России, вступавшей на путь буржуазного развития. Самое расположение Нижнего, стоявшего на берегу большой судоходной реки и знаменитого своей ежегодной ярмаркой, определяло многие особенности этого быстро растущего торгового города. Впрочем, к середине прошлого века в нем насчитывалось всего 30 тысяч жителей; среди них подавляющее большинство составляли мещане и ремесленники, затем — купечество, духовенство, чиновники. Сравнительно небольшой прослойкой являлось дворянство, жившее в своих особняках на центральных улицах. Владельцы окрестных поместий и обедневшие дворяне, перебравшиеся на жительство в город, держались обособленной кастой, тщательно оберегая сословные традиции и предрассудки.

Культурная жизнь города была по тем временам довольно оживленной. Среди местной интеллигенции наиболее заметным лицом был Александр Дмитриевич Улыбышев, музыкант и историк музыки, из библиотеки которого мальчик Добролюбов постоянно брал книги. Своей биографией Моцарта (1843) Улыбышев приобрел всемирную известность. В молодые годы он жил в Петербурге и, между прочим, играл видную роль в знаменитом литературном кружке «Зеленая лампа»; на собраниях кружка он встречал юного Пушкина.

Известное сочинение Улыбышева «Сон» (1817), содержавшее утопическую картину будущего общества, явилось одним из основных литературно-политических документов движения декабристов. Вряд ли можно сомневаться в том, что Добролюбову была известна эта сторона деятельности Улыбышева, человека, в свое время близко стоявшего к дворянским революционерам.

В доме Улыбышева, жившего на Малой Покровке, неподалеку от Добролюбовых, часто собирались музыканты (среди них бывал молодой композитор М. А. Балакирев, приезжал начинающий А. Н. Се-

ров); здесь исполнялись произведения классической музыки. В местном театре Улыбышев пользовался непререкаемым авторитетом, как критик и знаток искусства.

В 1848—1852 годах в Нижнем жил Михаил Ларионович Михайлов, будущий известный поэт и публицист, соратник Чернышевского и Добролюбова. Он занимал скромную должность в Соляном управлении, писал театральные рецензии и заметки в нижегородской газете. В 1850 году Михайлова разыскал и навестил Чернышевский, остановившийся в Нижнем на обратном пути из Саратова в Петербург; они познакомились еще в университете, где Михайлов посещал лекции в качестве вольнослушателя.

Глубокие социальные сдвиги, назревавшие изнутри, еще не были видны на поверхности. Казалось, ничто не нарушало веками установившегося порядка вещей. Как всегда, по утрам сонные улицы Нижнего оглашались колокольным перезвоном множества церквей — их было в городе не менее четырех десятков. Как всегда, неторопливо, крестясь на колокольни, шли по улицам обыватели, направлялись к своим лабазам и лавкам купцы. Возле трактиров несколько извозчиков торчали около своих кляч в ожидании седоков. Мостовых в ту пору в Нижнем почти не было. Историк города замечает, что купцы и чиновники сопротивлялись постройке мостовых из опасения, что грохот колес по камням будет тревожить их сонное спокойствие. Поэтому какой-нибудь лихач, промчавшийся по тихой улице, обычно окутывал редких прохожих облаками густой пыли. По вечерам главные улицы скудно освещались фонарями с конопляным маслом. На самых людных перекрестках стояли полосатые будки — символ порядка, а возле них дремали стражники, вооруженные длинными и бесполезными секирами.

Летом город оживал на два месяца, когда открывалась нижегородская ярмарка. В это время сюда

съезжалось множество купцов и промышленников, товары привозили из самых дальних мест. Сюда являлись купцы из Индии, Персии, Китая; из Европы приезжали дельцы и авантюристы, жаждущие наживы. Громадная ярмарка с бесконечными рядами лавок и магазинов, с балаганами, бродячими фокусниками, разношерстным людом представляла собой шумное и пестрое зрелище.

Изредка в Нижний наезжали «высочайшие» гости — члены царской фамилии, и им устраивалась пышная встреча. Однажды, в 1834 году, местное дворянство было взбудоражено приездом самого Николая I. Царь вместе с Бенкендорфом совершал путешествие по стране и решил «осчастливить» Нижний Город огласился барабанным боем, начались парады и смотры. Уезжая, самодержец распорядился построить новые казармы на берегу Волги. Николай приезжал сюда и позже, посещал ярмарку.

Была в Нижнем и другая жизнь — жизнь городской окраины, где ютились беднота, бурлаки, кормщики, рабочие. Каждый год в весеннее время сюда стекались толпы людей в поисках заработка. Здесь были и беглые крестьяне, и городская беднота, и просто бродяги. По Волге в ту пору плавали деревянные парусные расшивы. В ветреную погоду они шли на парусах, а когда не было ветра, их тащили бурлаки. Этот изнурительный труд требовал громадного физического напряжения, а оплачивался он медными грошами. Однако недостатка в рабочей силе не было, потому что купец, нанявший артель бурлаков, чтобы доставить судно с солью или рыбой, скажем, из Нижнего в Рыбинск, так или иначе обязывался прокормить артель. Бесприютная голытьба, крепостные, сбежавшие от помещика, не могли и мечтать о лучшей доле В Нижнем, на Софроновской площади, бывали целые бурлацкие базары, где перед началом судоходства на Волге купцы и их приказчики осматривали и выбирали живой «товар», стараясь нанять людей рослых и крепких.

В 1846 году на Волгу был спущен первый пароход, который начал совершать дальние рейсы. Он

представлял собой плоскодонное судно, посредине которого стояла громадная машина, производившая такой шум, что он был слышен за несколько верст Двигалось это судно со скоростью пять верст в час (с грузом). Однако предприимчивые купцы поняли выгоды, которые сулила им паровая машина На Волге скоро появились крупные судовладельцы и пароходчики. В 1849 году неподалеку от Нижнего, вблизи деревни Соромовой, было оборудовано большое по тем временам промышленное предприятие с двумя тысячами рабочих — первый на Волге судостроительный завод, которому впоследствии суждено было видеть и баррикады и мощные революционные демонстрации. Это было будущее Сормово. Рождение завода не могло не отразиться на всей экономике края и не могло не вызвать интереса нижегородцев. В городе говорили о чудовищной эксплуатации, которой подвергались полукрепостные сормовские рабочие. Они жили в смрадных казармах, окруженные строгим надзором, целиком зависящие от прихоти хозяина

Таким был мир, окружавший Добролюбова в пору его детства. Правда, ему тогда еще не приходилось испытывать острых столкновений с этим миром. Условия домашней жизни и характер воспитания ограничивали сферу его наблюдений, и именно поэтому в позднейших воспоминаниях, особенно в стихах, сам Добролюбов нередко в идиллических тонах рисовал картины своего детства·

Мне отчий дом рисуется во сне
Я вновь дитя с доверчивой душою
Под отческим надзором я расту,
Не ведая ни страсти, ни сомнений,
Заботливой рукой лелеемый, цвету
Вдали от горя и людских волнений

(Из стихотворения «Сон»)

Однако он уже знал, что где-то рядом есть и горе и людские волнения. Он был удивительно восприим-

чив, наблюдателен, необычайно быстро развивался. Мы располагаем драгоценным автобиографическим признанием (в статье «Когда же придет настоящий день?»), где говорится о том, как рано начали волновать мальчика чужие страдания: «Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же все так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело?..» Впечатления окружающей жизни оставляли глубокие следы в сознании Добролюбова даже в те годы, когда он еще не умел отнестись к ним критически и когда вместо разумного ответа на запросы ищущего ума наставники преподносили ему готовые прописи в духе христианской морали. Пусть косная среда цепко держала его в своих объятиях, пусть он был подвержен всем предрассудкам этой среды, — все равно картины мрачной и жестокой действительности с ее нищетой, угнетением личности, бесправием масс неизбежно западали в его душу. И когда пришло время кризиса, крутого перелома во взглядах юноши на мир, тогда впечатления детства сыграли свою роль, помогли сложиться его новым убеждениям. Разумеется, это были впечатления не только отрицательного порядка, развивавшие «тяжелое чувство недовольства», но и такие, которые содействовали выработке положительного идеала будущего революционера, воспитанию его патриотического чувства.

Каждое утро в положенное время, никогда не опаздывая, Николай Добролюбов выходил из дому, направляясь в семинарию. Семинарские занятия были для него тягостны и чаще всего бесполезны, но сознание своей обязанности, долга, присущее ему с раннего детства, и боязнь огорчить родителей были так сильны, что все остальное отступало на второй план. Очень развито было в нем и религиозное чувство, внушенное с самых первых дней жизни. Рассказывают, что, идя по улице, он непременно

крестился на все попадавшиеся церкви. И, глядя на этого богобоязненного семинариста, конечно, никто не мог бы предположить, что всего через несколько лет он станет убежденным атеистом и революционером.

В смысле постановки дела нижегородская семинария, существовавшая уже более ста лет, выгодно отличалась от других учебных заведений этого рода. Здесь была довольно большая библиотека (больше четырех тысяч названий), богатая многими старинными книгами и рукописями. При семинарии существовал физический кабинет, где, между прочим, находился замечательный фонарь работы знаменитого нижегородца Кулибина, выдающегося русского изобретателя-самоучки; были кабинеты минералогический и нумизматический.

Но еще более важно, что в нижегородской семинарии не было такой дикости в обычаях, такой грубости и жестокости нравов, которыми вообще отличался семинарский быт прошлого века.

И тем не менее это все-таки была семинария, то есть учреждение, предназначенное для того, чтобы готовить из своих воспитанников грамотных попов, искусных в произнесении церковных проповедей, или законоучителей для духовных учебных заведений В соответствии с этим философия в семинарских условиях превращалась в богословие, а словесность была приспособлена к составлению проповедей Академические занятия носили сугубо схоластический характер, семинарская наука была оторвана от жизни, главным педагогическим приемом была ненавистная Добролюбову зубрежка.

Он пришел в семинарию полный искреннего стремления к знанию, с пытливым умом, с жадным интересом к науке. Но с первых же шагов его постигло разочарование. От учителей он не мог узнать ничего нового, потому что был более их образован и начитан. Товарищи не удовлетворяли его по тем же причинам. Самые предметы, которыми приходилось заниматься, были чужды духовным запросам юноши. Громадное количество времени и умствен-

ной энергии ему приходилось тратить на сочинение длиннейших богословских рассуждений.

В дневнике Добролюбова от 8 января 1852 года можно встретить такую запись: «...перед Рождеством я написал сочинение о мужах апостольских, листов в 35». И это было не самое большое сочинение. Неудивительно, что эта бесплодная, иссушающая разум схоластика скоро опостылела молодому семинаристу. Однако чувство нравственного долга заставляло его педантично выполнять все требования духовного учебного заведения. Он делал это даже в последние семинарские годы, когда относился уже с нескрываемым презрением и к большинству наставников и к самой семинарии. Еще более примерным поведением отличался он в младших классах, в первые два года учебных занятий. Семинарское начальство неизменно давало ему самые лестные характеристики: «Отличается тихостью, скромностью и послушанием»; «Весьма усерден к богослужению и вел себя примерно-хорошо»; «Отличается неутомимостью в занятиях» и т. д.

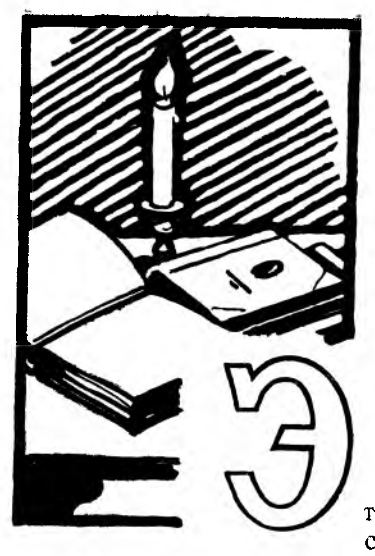
В то же время учителя с некоторой тревогой смотрели на ученика, который явно знал больше, чем они сами, и был необыкновенно начитан. Сперва его подозревали в «сдувательстве», особенно глядя на представляемые им громадные сочинения, отличающиеся обилием рассуждений и множеством цитат из различных авторов. Но потом поняли, что успехи Добролюбова основаны на превосходном знании литературы, чтении русских и иностранных писателей, самостоятельном изучении всеобщей истории, чтении журналов. По словам мемуариста, это открытие «ошеломило» и профессоров и учеников. Первые косились на юношу, нередко пытаясь так или иначе выразить ему свое неудовольствие. Один наставник выговаривал ему за чтение в классе книг, принесенных из дома. Другой «профессор», читавший по учебнику курс догматического богословия, о котором он сам не имел никакого представления, укорял Добролюбова в том, что язык в его сочинениях «слишком чист и напоминает журнальные обо-

роты». Это были чисто формальные придирки, за ними скрывалось чувство неловкости и раздражение, которое испытывали учителя-невежды от сознания, что ученик превосходил их по своему развитию.

Отношения Добролюбова с товарищами были своеобразны. Его знала и уважала вся семинария, но многие считали, что он как бы чуждается товарищей, держится от них в стороне. Действительно, постоянно занятый чтением, много работавший над саморазвитием, писавший стихи, Добролюбов сильно отличался от большинства сверстников. Только немногие из них обладали достаточной силой характера, чтобы пополнять самостоятельным трудом пустоту классных занятий. Поэтому семинаристы чаще всего оставались невежественными людьми даже и после окончания курса наук. Добролюбов, не любивший тратить время на пустые развлечения, по всему складу натуры, даже по внешнему своему облику, конечно, мало подходил к общей массе семинаристов. Тем не менее товарищи вскоре стали с уважением относиться к юноше. Они понимали его превосходство, а если некоторые и упрекали его в излишней «гордости», то в этом, наверное, был оттенок обычной в таких случаях зависти.

В семинарские годы Добролюбову усердно внушали прописные истины христианской морали. Его учили беспрекословно почитать старших, преклоняться перед авторитетами, на пути его развития воздвигали всевозможные препятствия. И надо было обладать незаурядной волей, жадным стремлением найти ответы на те мучительные вопросы, которые уже тогда выдвигала перед ним жизнь, чтобы вопреки уродливому воспитанию преодолеть косные традиции окружающей среды, выработать критическое к ней отношение.

Какие же силы помогли Добролюбову сбросить с себя груз ветхого мировоззрения? Какова была историческая действительность, с ранних лет влиявшая на его мысли и чувства?



II. ИСКАНИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ, ПЛАНЫ

Это было время, когда в русском обществе происходили процессы огромной исторической важности. Все больше углублялся кризис крепостного строя и подходил к своему завершению тот период освободительного движения, в котором ведущая роль принадлежала дворянским революционерам (20—40-е годы). Начинался второй период, когда феодально-крепостнический уклад постепенно уступал место капиталистическому; происходил отмеченный В. И. Лениным процесс «полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»[1] — оно вступало в новую, революционно-демократическую фазу своего развития (50—70-е годы).

В стране, изнывавшей под гнетом дикого крепостного режима, в государстве, где произвол и насилие были возведены в закон, пробуждались общественные интересы, созревали грозные силы протеста Глухо волновались массы закабаленного крестьянства. На Западе в это время — во второй половине 40-х годов — начался подъем революционного дви-

[1] В И Ленин Соч, т 20, стр. 223

жения Призрак коммунизма появился над встревоженной Европой.

Реакционное правительство Николая I выступило в роли международного жандарма, душителя европейских революций. Понятно, что оно еще более решительно боролось с «пагубными учениями социалистов» в пределах своего государства Но эти учения распространялись быстро и неудержимо. В Петербурге конца 40-х годов возник кружок передовой молодежи, где горячо обсуждали политические вопросы, спорили о социализме и коммунизме, вели смелые разговоры о необходимости отмены крепостного права, о ниспровержении монархической власти. Это был кружок, собиравшийся у М. В. Петрашевского. В 1849 году наиболее видные участники кружка были арестованы и приговорены к смертной казни, затем замененной ссылкой в Сибирь, каторгой.

В Петербурге 40-х годов начинал свою революционно-пропагандистскую деятельность молодой Герцен; развертывалось поэтическое творчество Некрасова, в стихах которого зазвучал голос самого народа. На Украине созревал самобытный талант народного певца Тараса Шевченко. В этом движении отечественной литературы по пути народности и реализма нашел свое выражение процесс исторического развития России.

Стихийное волнение порабощенного крестьянства влияло на судьбы русской литературы. Мечты и надежды миллионных масс, их ненависть к угнетателям с особенной силой отразились в могучей проповеди Белинского, оказавшей огромное влияние на умы передовой молодежи. Любовь к народу и вера в его свободное будущее водили пером великого критика-революционера. В 1848 году он писал свои последние статьи о русской литературе, а ему уже готовили каземат в Петропавловской крепости. Идеи его распространялись по всей России. Петрашевцы повторяли на своих собраниях дышавшие гневом строки письма его к Гоголю. Даже в самых отдаленных углах страны были люди, которые выше подни-

мали голову, ободренные или пробужденные свежим словом Белинского.

Приближалось время, когда на арену общественной жизни должно было выйти новое поколение революционных разночинцев, людей, поднявшихся из толщи народной, пробужденных к большой деятельности всем ходом исторического развития страны. Этому поколению суждено было подхватить знамя русского освободительного движения и одновременно занять командные высоты в литературе, науке, искусстве, во всех областях общественной и культурной жизни. Добролюбов явился одной из самых характерных фигур этого процесса, в его облике слились воедино и выразились с необычайной полнотой наиболее яркие и типичные черты передового деятеля 60-х годов — революционного демократа и просветителя.

* * *

Большая деятельность была впереди, а пока в далекой глуши, за сотни верст от Петербурга скромный провинциальный юноша набирался сил, готовясь к будущему поприщу. Огромную роль в его развитии сыграли традиции передовой русской мысли и наследие русской литературы.

Чтение было его первой страстью с детства. Чернышевский указывает, что к началу 1849 года мальчик уже «имел большой запас знаний, приобретенных неутомимым чтением всяких книг, попадавшихся ему в руки». При крайней скудости семинарского образования Добролюбов своим ранним развитием был обязан только собственному, самостоятельному труду.

Чтение его было лишено всякой системы; разумеется, им никто не руководил. Однако среди грубой жизни, чуждой умственных интересов, после семинарской схоластики, иссушающей душу и разум, книги были единственной отрадой для замкнутого, сосредоточенного в себе мальчика.

Он доставал их всюду: перечитав все, что можно было найти в библиотеке отца, он начал брать кни-

ги в семинарии, у родных, знакомых, у семинарских преподавателей и некоторых товарищей. Буквально десятки людей снабжали его книгами; среди них — упоминавшийся выше историк музыки А. Д. Улыбышев, редактор нижегородской газеты А. И. Щепотьев, живший в доме Добролюбовых, семья князя Трубецкого, жившая там же, нижегородский книгопродавец Н. Улитин, библиотека которого восхищала мальчика, и многие другие. Однажды ноябрьским вечером, возвратясь от Улитина домой, он присел к столу и быстро написал на клочке бумаги:

О, как бы желал я такую способность иметь,
Чтоб всю эту библиотеку мог в день прочитать.
О, как бы желал я огромную память иметь,
Чтобы все, что прочту я, всю жизнь не забыть
О, как бы желал я такое богатство иметь,
Чтобы все эти книги себе мог купить.
О, как бы желал я иметь такой разум большой,
Чтобы все, что написано в них, мог другим передать.
О, как бы желал я, чтоб сам был настолько умен,
Чтоб столько же я сочинений мог сам написать...

Эти довольно корявые строки, написанные экспромтом, когда Добролюбову было 14 лет, говорят не только об отношении его к книгам, но, в сущности, содержат целую жизненную программу, включая сюда и стремление быть полезным людям, передать им свои знания, и смутное предчувствие будущего призвания — «авторства».

В одном письме, относящемся к концу семинарского периода, Добролюбов писал своему приятелю о том, что чтение книг сделалось его главным занятием и «единственным наслаждением и отдыхом от тупых и скучных семинарских занятий». «Я читал все, что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы, — всего больше романы. Начиная от Жанлис и Ратклифф до Дюма и Жорж Занд и от Нарежного до Гоголя включительно, все было поглощаемо мной с необыкновенной жадностью. Только почти и делал я во все эти пять лет».

Чтение занимало настолько большое место в жизни Добролюбова, что уже в 13-летнем возра-

сте он ощутил потребность как-то отмечать, регистрировать для себя то, что им прочитано. В 1849 году он начал составлять списки прочитанных книг, называя эти списки «реестрами», и вел их с присущей ему аккуратностью (хотя и с некоторыми перерывами) до самого отъезда из Нижнего в 1853 году. Таким образом, мы можем составить довольно полное представление о круге чтения Добролюбова в семинарский период. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с реестрами, — это огромное количество книг, с которыми успел познакомиться юноша В реестрах зарегистрировано не менее четырех тысяч названий. Если прибавить к этому четыре сотни книг из отцовской библиотеки и если вспомнить, что реестры велись с перерывами, то станет ясно, как неимоверно много прочел Добролюбов в юности и каким разносторонне развитым человеком он был ко времени своего переезда в Петербург.

Первое место в добролюбовском чтении, безусловно, занимала русская художественная литература. Из реестров видно, что нижегородский семинарист успел основательно изучить отечественную словесность. Не говоря уже о ее крупнейших представителях — Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Кольцове, — он читал и знал Державина, Лажечникова, Загоскина, Козлова, Ростопчину, Нарежного, Подолинского, Бенедиктова, Богдановича и многих других писателей. В реестрах также отмечено немало иностранных авторов: Вальтер Скотт, Жорж Санд, Шекспир, А. Дюма, Теккерей и др.

Став известным журналистом и критиком, Добролюбов удивлял многих своим блестящим знанием русской и мировой литературы. Основы этого знания были заложены еще в Нижнем. Позднее, занятый напряженной работой, он, конечно, был бы не в состоянии прочитать так много. Но критик обладал с детства необыкновенной памятью, и это во многом помогло ему впоследствии.

К этому надо добавить, что Добролюбов с огромным интересом набрасывался на журналы, причем охотно перечитывал и старые комплекты, если они

попадались под руку. Журналы он имел обыкновение читать целиком, от крышки до крышки. Нет сомнения, что с особенной жадностью он читал «Отечественные записки» и «Современник», где печатались статьи Белинского. Критика вообще привлекала его еще в ранней юности. В дневнике 1853 года Добролюбов записал: «...я так люблю нынче читать журналы и преимущественно отдел библиографии и журнальные заметки»

Судя по сохранившимся записям, Добролюбов именно в семинарские годы уже хорошо знал Белинского, читал его важнейшие статьи, и они производили на юношу громадное впечатление. Проповедь Белинского открывала новый мир перед Добролюбовым, как и перед всяким честным и мыслящим человеком того времени. «Читая его, — вспоминал он впоследствии, — мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренне надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности... Для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...» Так писал Добролюбов в 1859 году в «Современнике», приветствуя выход первого собрания сочинений великого критика.

Как относился юный Добролюбов к прочитанному? По натуре необычайно впечатлительный и легко возбудимый, он, несомненно, читал очень внимательно и не только усваивал все, что узнавал нового и интересного, но и глубоко переживал прочитанное. Каждая новая книга оставляла свой след в его душе. Характерно, что на первых порах ему нравилось почти все, что бы он ни читал; чуть ли не все книги вызывали у миролюбивого, по-христиански настроенного семинариста чувство восторженности и умиления. С 1850 года он начал делать в реестрах заметки о книгах, фиксируя свои впечатления. Сна-

чала это были только комплименты неразборчивого читателя: «Прекрасно», «Занимательно», «Увлекательно», «Какое милое, добродушное остроумие...», «Прекрасное, грустное произведение» и т. п. Но уже через год мы замечаем попытки критически разобраться в прочитанном. В его оценках все чаще встречаются отрицательные суждения. Например, по поводу романа Дюма «Графиня Салиасбюри» Добролюбов, недавно увлекавшийся «Графом Монте-Кристо», записал: «Если бы не проклятое правило — дочитывать все, что зачитал, — бросил бы с первой же части. Такая дрянь. Ужели это Дюма?»

Удивительной зрелостью мысли отмечено его раннее суждение о гоголевских «Избранных местах из переписки с друзьями». В 1850 году Добролюбов, конечно, еще не знавший письма Белинского к Гоголю, записал: «Гоголь из романиста сделался святошей. Смиряется, хочет путешествовать к святым местам, пишет завещание, в котором проглядывает все-таки авторская гордость прежних времен».

Язвительно-насмешливый отзыв дал Добролюбов о фальшивых писаниях графини Е. П. Ростопчиной. В то же время он высоко оценил роман Некрасова и Панаевой «Мертвое озеро» («прекрасный роман»), роман А. Ф. Писемского «Богатый жених», печатавшийся в «Современнике» в 1851—1852 годах.

Не довольствуясь краткими характеристиками прочитанной книги, Добролюбов пробует писать обстоятельные рецензии. Явно пытаясь подражать журнальным рецензентам (об этом свидетельствует хотя бы заголовок «Библиография»), он разбирает, например, повесть Д. Григоровича «Четыре времени года», брошюру «Статистическое описание Нижегородской губернии», книжку об Александре Невском и др. Он явно не предназначает свои опыты для печати (большинство названных книг — старые) и тем не менее старается придать отзывам и заметкам вполне законченный вид журнальных рецензий. Особенно примечательно суждение о повести Григоровича, где молодой критик, в общем одобряя повесть, справедливо отмечает недостаточное знание писате-

лем народного языка: «Несколько простонародных слов не изменяют целого склада речи, который совсем не походит в этих местах на простую мужицкую речь». Так из читателя Добролюбов постепенно становился критиком.

Знакомство с русской литературой, с ее лучшими образцами имело громадное значение для Добролюбова: оно способствовало и его общему развитию, и формированию его критического таланта, и выработке убеждений. Он обладал способностью извлекать для себя непосредственную пользу из прочитанного. Он без конца размышляет о каждой новой книге, сравнивает себя с ее героями, старается стать похожим на них или, наоборот, осуждает себя за такое сходство. Прочитанный роман или повесть всегда оказывает на его чуткую душу глубокое воздействие. После «Героя нашего времени», прочитанного трижды, ему хотелось походить на Печорина, и он старательно отыскивал в себе печоринские черты. После романа Писемского «Богатый жених» он испытал угрызение совести, обнаружив в себе будто бы сходство с героем романа, богатым бездельником Шамиловым. «Изображение этого человека глубоко укололо мое самолюбие, я устыдился, и если не тотчас принялся за дело, то, по крайней мере, сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-помалу исправляюсь теперь... Чтение «Богатого жениха»... способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня давно спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского».

Еще более существенным для развития Добролюбова оказалось влияние Лермонтова, который был ему особенно близок. Мы знаем, что мятежная лермонтовская поэзия с ее пафосом отрицания и протеста в свое время помогла Белинскому освободиться от некоторых заблуждений в период изживания им так называемого «примирения с действительностью». По словам П. В. Анненкова, «Лермонтов втя-

гивал Белинского в борьбу с собой...». Примерно такой же характер носило и влияние Лермонтова на формирование сознания Добролюбова. Об этом говорит не только обилие лермонтовских цитат, которыми пестрят дневники Добролюбова (он любил с их помощью выражать свои мысли), но и прямое его высказывание, относящееся к 1852 году:

«Лермонтов особенно по душе мне. Мне не только нравятся его стихотворения, но я сочувствую ему, я разделяю его убеждения. Мне кажется иногда, что я сам мог бы сказать то же, хотя и не так же — не так же сильно, верно и изящно. Немного есть стихотворений у Лермонтова, которых бы я не захотел прочитать десять раз сряду, не теряя при том силы первоначального впечатления. Грусть и презрение к жизни нередко были последствием чтения Лермонтова. А это много значит, когда поэт производит такое впечатление: чувство это не мимолетное и довольно глубокое и не скоро преходящее».

Восхищаясь затем романом «Герой нашего времени» и характером Печорина, Добролюбов, при всем своем увлечении этим персонажем, обнаруживает способность критически отнестись к его недостаткам. Самое это увлечение он склонен приписать незрелости своего духа.

Недолгое увлечение «печоринством», а затем преодоление его были одним из этапов на пути стремительного развития Добролюбова. Надо признать, что Лермонтов — и своей прозой и в особенности стихами — помог ему освободиться от юношеской романтики и выработать в себе тот трезвый и осуждающий взгляд на жизнь, то «презрение» к окружавшей его действительности, которые так необходимы были будущему революционеру.

Способность глубоко осмысливать прочитанное и включать книгу в обиход своей духовной жизни Добролюбов сохранил и в более поздние годы. Так, в январе 1857 года, уже заканчивая курс в Петербургском педагогическом институте, он прочитал «Дневник лишнего человека» Тургенева и сделал такую запись в своем дневнике: «...какое ужасаю-

щее сходство нашел я в себе с Чулкатуриным... Я был вне себя, читая рассказ, сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история...»

На страницах нижегородского дневника Добролюбов не раз говорит о своей страсти к книгам. «Я большой библиофил... я люблю книги...» — записал он однажды. Мало-помалу эта страсть к книгам превратилась в страстную любовь к русской литературе, к ее истории, к ее крупнейшим представителям, которым так много был обязан будущий критик. Великие творения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена учили его любить и защищать добро и справедливость, ненавидеть зло, угнетение и бесправие. Они звали его отдать все силы народу, борьбе за его счастье. И он жадно впитывал в себя все, чем сильна была великая русская литература. Наряду с этим у него возникла и с каждым годом все более крепла потребность писать самому. У него сложилось твердое намерение посвятить себя литературе.

* * *

Еще весной 1849 года тринадцатилетний воспитанник духовной школы решил написать пьесу — комедию в духе распространенных в то время водевилей с традиционной любовной историей, неправдоподобной, но хитро запутанной интригой, с вставными куплетами и т. п. Летом комедия была уже готова. При всей наивности многих ее положений надо признать, что она, пожалуй, немногим уступает большинству типичных произведений этого жанра. Язык комедии не лишен выразительности; налицо необходимая для водевиля сюжетная путаница; автор пытается даже наметить черты характеров действующих лиц. Словом, трудно поверить, что все это написано 13-летним мальчиком. Однако на рукописи комедии есть позднейшие пометки Добролюбова: «Первое мое сочинение... План составлен еще на пасхе 1849 г.»

К тому же времени относятся и первые его опыты в стихах и прозе. Стихи он начал писать еще раньше, чем пьесу. Почти одновременно он принялся за прозу: набросал большой диалог («Разговор о пользе зимы»), сочинил рассказ из провинциальной жизни («Приключение на масленице»), начал несколько повестей на нижегородские темы. Тогда же (1849—1850) он попробовал свои силы в критике, разобрав стихи семинариста М. Лебедева, а затем и в публицистике — написал несколько статей для нижегородской губернской газеты, оставшихся ненапечатанными. Он усердно занимался латинским языком и в четырнадцать лет переводил стихи Горация.

Постоянным и прочным был его интерес к фольклору. Уже в первый год поступления в семинарию 13-летний Добролюбов не только изучал народную поэзию по печатным источникам, но и сам с увлечением собирал народные загадки, пословицы, приметы и поверья. В 1851—1852 годах он записал шесть народных песен («С горя ноженьки не ходят», «Еще по мосту, мосту» и др.), в 1853 году — два предания о Пугачеве. В семинарские годы Добролюбов собрал не менее полутора тысяч пословиц и поговорок, около шестидесяти загадок. В апреле 1853 года он написал статью «О некоторых местных пословицах и поговорках Нижегородской губернии», в которой обобщил опыт своей работы по собиранию и изучению народного творчества.

Добролюбов занимался также краеведением и этнографией. В течение нескольких лет он подготавливал обширную работу — «Материалы для описания Нижегородской губернии в отношении историческом, статистическом, нравственном и умственном».

Один только перечень этих трудов Добролюбова говорит о необыкновенной разносторонности его интересов и необычайно раннем развитии. Наряду с чтением литературные и научные занятия заполняли всю жизнь юноши, им посвящал он все время, какое оставалось после ежедневных семинарских уроков.

Разумеется, впервые взявшись за перо, он еще не знал, кем ему суждено быть — поэтом, беллетристом, драматургом или критиком. Но сама настойчивость, с которой он пробовал себя в разных жанрах, говорит о том, как рано зародилось в его душе еще не осознанное стремление к литературе, к писательству.

Стихи — наиболее значительная часть его юношеского творчества. Они интересны прежде всего тем, что в них нашла свое отражение умственная и душевная жизнь молодого автора. У нас нет других документов, из которых мы могли бы узнать, какие мысли и чувства волновали его в ту пору. Позднее Добролюбов вел дневник — драгоценную для нас хронику своей жизни; ранние стихи как бы предшествуют этому дневнику и в некоторой степени заменяют его.

Правда, многое в этих детских стихах идет от литературы, от чтения, а не от жизни, многое в них носит откровенно подражательный характер. Но и сквозь эту подражательность нередко пробиваются черты индивидуальности автора. Показателен уже самый выбор объектов для подражания. Добролюбов особенно охотно пишет стихи в духе народных песен Кольцова. В первых тетрадях стихов встречаются также прямые подражания русским народным песням («Ветры буйные, добрый молодец», «Русская песня» и др.).

В течение некоторого времени Добролюбов был по-детски удовлетворен своими поэтическими успехами. Он писал стихи довольно усердно, представлял свои опыты семинарским наставникам, показывал их знакомым, и те отзывались о них с неизменной похвалой. В семинарии, среди товарищей, он пользовался репутацией поэта. Учителя ставили на его стихах пометки: «Хорошо», «Похвально», «Очень хорошо», «Стихи приятные». Вероятно, именно в это время ему впервые явилась еще смутная мысль о литературе как будущей профессии.

Начитавшись стихов в журналах, Добролюбов начал подумывать о том, что и его сочинения могли бы

появиться в печати В один прекрасный день он решился Несколько старательно переписанных стихотворений были положены в конверт и отправлены в Москву на имя редактора журнала «Москвитянин» М. П. Погодина. Это было осенью 1850 года В сопроводительном письме юный поэт, явно стараясь походить на взрослого, писал, обращаясь к Погодину: «Ваш прекрасный журнал, который год от году становится все лучше и лучше, отличается также особенной любовью к поэзии Между несколькими посредственными произведениями в нем помещено было множество прекрасных стихотворений, замечательных и по мысли и по стиху. У меня также есть несколько стихотворений. Не смея причислять их к последним, могу надеяться, что они не совсем плохи для первых. Если найдете в них что-нибудь годное, прошу Вас поместить их в Вашем журнале» И вслед за этой сдержанной скромностью, обнаруживая всю присущую своему возрасту наивность, Добролюбов прибавлял: «Кроме этих, у меня есть еще до 30 или более стихотворений. Если Вам будет угодно, то я перешлю Вам их. Но прошу Вас в таком случае прислать мне за них 100 рублей серебром, не как плату, но как вспомоществование, потому что я, сказать правду, очень беден »

Очевидно, кроме сладких помышлений о появлении в московском журнале, мальчиком руководили и соображения материального характера. По натуре он вовсе не был корыстолюбив; но, может быть, здесь сказалось естественное для подростка желание помочь семье, постоянно имевшей долги; а может быть, это была столь же понятная жажда известной самостоятельности (вспомним стихотворную запись, сделанную Добролюбовым при виде книг: «О, как бы желал я такое богатство иметь, чтоб все эти книги себе мог купить»). Во всяком случае, размышления о плате за стихи не покидали автора перед тем, как он решился отправить пакет в «Москвитянин». Видимо, он даже вел споры с кем-то из знакомых, утверждавшим, что получать деньги за стихи неприлично.

Нижний Новгород в 50-х годах. Благовещенская площадь.

Дом семьи Н. А. Добролюбова в Нижнем Новгороде.



Н. А. Добролюбов с отцом. Дагерротип 1854 года.

Эти споры настолько взволновали его, что он посвятил им следующие строки:

Не говори, что для певца
За труд свой плату брать не должно.
Что часть его — пленять сердца,
А не корыстью жить ничтожной.

Не говори певец богат
Богов священными дарами!
Ужель не знаешь ты, мой брат,
Что сыту быть нельзя стихами?

Ужель, по-твоему, певец
Живет одним воображеньем?
Ужель всегда стихов творец
Одет и сыт своим твореньем?..

. Без средств и гений не творит,
Без средств погибнет он для света.
И часто бедностью убит
Бывает весь талант поэта.

Это стихотворение было также приведено в письме к Погодину. Но молодой автор напрасно ждал ответа из «Москвитянина»: ответа не последовало. А впоследствии он очень стыдился своего поступка. Вспомнив о нем через два с лишним года, он отметил в дневнике: «Это давно лежит у меня на совести, и если когда-нибудь выведут меня на чистую воду, то я не знаю, что еще может быть для меня стыднее этого?..»

Неудачи заставили молодого автора строже отнестись к себе, к своему дарованию. Продолжая много писать, он теперь яснее видит свои недостатки. Стихи, которыми он еще вчера был доволен, сегодня кажутся ему никуда не годными. Пересматривая листки с прошлогодними плодами своей музы, он сам дает им уничтожающие оценки: «Ужели это я писал? Как глупо!..», «Жалко читать такие вирши», «Каждая строка по ушам дерет!..», «Стихотвореньишко вышло ничтожное» и т. п. В этой способности критически отнестись к своему творчеству нашел выражение процесс быстрого созревания юноши.

Каковы же были стихи, о которых так резко отзывался сам автор? То, что он писал в классе сло-

Обложка тетради юношеских стихотворений Н. А. Добролюбова.

весности (то есть в первые годы семинарского обучения) и представлял своим невзыскательным учителям, можно назвать рифмованными размышлениями на заданную тему — о природе, о временах года, о бренности человеческого существования; нередко

это были стихотворные упражнения на религиозные сюжеты, переложения молитв и т. п. Показательны самые заглавия подобных произведений: «Прощание с летом», «Наступающая осень», «Весна», «Летний вечер», «Весеннее утро», «Красота неба», «Солнце», «Звезды», «Жизнь святого Иоанна Златоуста» и т. п.

Сам Добролюбов, называя эти стихи «заказными», жестоко осудил их в том же письме Крылову: «Это просто какая-то галиматья, без складу и ладу, без чувства и меры...»

Конечно, эти школьные стихи, носящие явные следы книжных влияний, весьма слабы по форме и несамостоятельны по существу, хотя даже они говорят о способностях мальчика, о его большой начитанности, о некотором знании основ поэтической техники. Но несравненно больший интерес представляют его «свободные, не заказные» стихотворения.

Разве не характерны, например, для Добролюбова стихи, воспевающие сладость труда («Труд») и осуждающие леность? В его детских тетрадях мы находим и «Эпиграммы на леность», и «Надписи к портрету ленивца», и «Сатиру на леность», где он обличает

...ленивых людей,
Которые жажды познаний не знают,
Бездействие коим труда веселей.

Разве не примечательна его «Молитва за себя», в которой он, провозглашая отказ от легкой жизни, от «пирушек и побед», заявляет: «Хочу по смерть мою работать и трудиться, пока могу полезным быть»?

Интересны и стихи о любви к книгам («Импровизация») и размышление над неразрезанным журналом, кстати вполне самостоятельное по замыслу:

...Разрезывать ли мне твои листы?
Что обещают мне твои страницы?
Изображенье ли столичной суеты,
Или поездку за границу?
Или уездный мелкий городок,
Иль сельской скуки описанье?
Представишь ли ты мне наказанный порок,

Иль добродетели страданье?
Иль о преданьях старины
Разговоришься ты со мною?
Иль о делах родной страны
Польешься речью медовою?
...Иль будешь книги новые ругать?
Или иметь к ним снисхожденье?
Мораль ли дашь ты мне читать?
Роман ли — нравов развращенье?..

В этих ранних стихах уже слышатся иронические интонации, столь характерные для зрелого Добролюбова. Склонность к сатире, к иронии, к насмешке вообще проявилась у него удивительно рано, уже в самых первых стихах, и навсегда осталась одной из ярких особенностей его литературного дарования — и как поэта и как критика. Эпиграммы то и дело мелькают в его детских тетрадях. «Теперь свою настроим лиру на Ювеналовский манер», — восклицает юный семинарист в наброске 1849 года, задумав сделать сатирическое описание своего класса. Это «ювеналовское» настроение сказалось также в обличительном стихотворении «Один из моих знакомых», где самыми мрачными красками нарисован неприглядный портрет семинариста — «прямой образчик бурсака». Интересно в этом же смысле и почти программное стихотворение «Насмешка», в котором молодой сатирик заявляет:

...как рад я, если прямо
Враля, педанта, гордеца
Заденут ловкой эпиграммой
И опозорят, как глупца!..
Вот прямо рыцарское дело:
Порок казнить, изобличать...

Наконец, может быть, самое ценное в юношеской лирике Добролюбова — это стихи, отражающие его идейные искания, начало сомнений в истинах религиозного мировоззрения, а также раздумья его о себе, о своем призвании, своем будущем. Конечно, эти стихи еще очень далеки от совершенства, но все же они отчетливо рисуют перед нами облик молодого человека, живущего напряженной душевной жизнью,

полного благородных стремлений. Примечательно, что мысль его постоянно возвращается к поэзии. Он говорит о поэте, не понятом людьми, задумывается над судьбой писателей, тонущих в Лете[1] со своими книжками в руках, рассказывает о вдохновении, о муках творчества («А иногда сидишь весь вечер за стихами... упорно борешься, как с лютыми врагами, с цезурой, рифмою, стопою и стихом»).

Почему так влекут к себе юношу эти темы? Да потому, что его любимая мечта — стать поэтом, прославиться на этом поприще. Недаром он упоминает в дневнике о своих «планах славолюбия» (правда, пытаясь осудить их по религиозным мотивам). С этими планами связаны и его думы о будущем, то мрачные и тяжелые («безотрадно, мрачно в будущность гляжу...»), то светлые и полные надежды.

«Надежды» — так и называется стихотворение, написанное 6 октября 1850 года. Здесь в довольно наивной форме высказаны очень серьезные мысли и прежде всего — уверенность в своих силах, которые мальчик надеется посвятить какому-то большому делу. Он говорит об «огне» в своей душе, о своих способностях, которые не должны пропасть даром; его волнует предчувствие, что он не проведет жизнь, «как и все»:

Нет, я буду полезен и нужен отчизне,
Нет, не сгиб я, и люди прославят меня!..
Еще я на заре моей жизни,
Еще много надежд у меня!..

Какую же пользу надеялся он принести отчизне, какому делу мечтал посвятить свои силы? Вряд ли можно сомневаться в том, что это были мечты об общественной деятельности, о литературе, о служении отчизне пером поэта или писателя. В этом убеждает не столько само стихотворение «Надежды», сколько общая устремленность всех ранних стихов, с их двумя постоянными темами — участь поэта и тревожные раздумья о будущем. Здесь уместно вспомнить слова Чернышевского, которому было «извест-

[1] Лета — река забвения (в мифологии).

но доподлинно», что Добролюбов «уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно наметил цель своей жизни и деятельности...».

Есть в детских тетрадях и еще очень важное стихотворение, написанное весной 1851 года. Оно так и озаглавлено — «Будущее». Автор говорит здесь о тяжелых днях, которые ждут его впереди, и вместе с тем заявляет о своей готовности выдержать «смертельный бой» с судьбой, сохранить свой «великий дух» в неравной борьбе. Что же это за борьба, за что собирается сражаться молодой поэт? Ответ на эти вопросы содержится в самом стихотворении:

Я в броню терпенья облекусь,
Истины мечом вооружусь
И, с сознаньем правды и добра,
Буду жить и завтра, как вчера.

Несмотря на отвлеченный характер этих признаний, мы вправе сделать вывод, что в юношеских мечтах о своей будущей судьбе Добролюбову рисовался — пусть еще неясный — образ мужественного деятеля, готового пострадать за свои убеждения, образ поэта — борца за правду. Если даже этот образ сложился не без влияния каких-то литературных источников, в частности лермонтовской поэзии, все равно он характерен для Добролюбова.

Страстное стремление стать литератором неудержимо крепло в его сознании. Знаменательно, что, даже решившись ехать в столицу и мечтая об университете, он видел в этом только средство к достижению заветной цели. Он так и записал в дневнике: «Главным образом соблазняет меня авторство, и если мне хочется в Петербург, то не по желанию видеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования: это все на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами ..»



III. НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Представим себе глухую провинцию николаевского времени. Сотни верст до культурных центров. Косный быт и поповская среда, где на юношу-семинариста смотрят как на будущего священнослужителя, церковного проповедника. А юноша давно уже знает, что ему предстоит совсем другая судьба. В груди его зреют необъятные силы, в голове теснятся смелые замыслы. Но они так не вяжутся со всем тем, что его окружает! Вокруг плотной стеной стоят невежество, пошлость, грубость и темнота. Он сам еще далеко не свободен от власти привычного быта, от цепких «предрассудков старины». И тяжелые сомнения проникают в его душу, находят выход в стихах, в дневниковых записях: хватит ли у него сил, чтобы пробить эту стену? «На что ты надеешься?» — говорит ему внутренний голос. «Что тебя здесь ожидает? — записывает юноша в дневнике. — Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы, обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя... И ничего ты не сделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою

самонадеянность...» В такие минуты ему вспоминался «желчный стих» Лермонтова:

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой[1]..

Это было не только сомнение в своих силах. Это было начало душевного кризиса, который должен был привести к решительному разрыву с традициями и понятиями среды, с патриархальным мировоззрением. В сознании юноши зародилась мысль о необходимости такого разрыва. Вместе с тем росла его уверенность в своих силах, вытеснявшая настроения безнадежности и уныния. Это был сложный процесс, сопровождавшийся мучительными колебаниями, раздумьями, поисками друзей, на которых можно было бы опереться.

Август и сентябрь 1852 года были бурными для его душевной жизни. «Во мне происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей ее силе», — так записал Добролюбов в дневнике. Внешним поводом к этой борьбе были разговоры и споры с отцом на тему о своем будущем. Добролюбов не хотел медлить. Решив для себя вопрос об университете, он не мог и подумать о том, чтобы провести еще два года в опостылевшей ему семинарии. Семинария стояла на пути всех его планов.

И вот однажды, набравшись духу, он заговорил с отцом об университете. Но его проект был немедленно отвергнут. Отец сказал, что столичная жизнь слишком дорога и если уж ехать в столицу, то поступать надо не в университет, а в духовную академию. Затем он начал подробно перечислять преимущества духовного образования, ссылаясь на своих знакомых, которые успешно учились в академиях, причем не только в Петербурге, но и в Москве и в Казани.

Еще несколько раз Добролюбов заводил с родными разговор на ту же тему, но по-прежнему безуспешно.

Все это, конечно, очень его волновало и тревожило. Но вряд ли можно думать, что только здесь был заключен источник той душевной борьбы, о которой он вспоминает в дневнике. Подлинные ее причины лежали гораздо глубже: юноша начал сомневаться в тех истинах, которые считались непреложными и

незыблемыми в окружающем его мире, он начал сомневаться в справедливости устоев этого мира и впервые ощутил ту пропасть, которая вскоре должна была лечь между ним и воспитавшей его средой.

Вполне закономерно, что этот назревавший конфликт принял прежде всего форму столкновения с религией. Религиозные представления, словно паутиной, опутывали ищущее сознание, тормозили развитие этой активной натуры, жаждущей найти реальное и справедливое мировоззрение. И здоровый инстинкт подсказал необходимость отрешиться прежде всего от религии, моральной и идейной основы, на которой покоилась окружающая жизнь.

Юношеские стихи, в которых выражалось самое сокровенное, сохранили следы этой внутренней борьбы: здесь и стремление сбросить обветшавшие одежды, и последние попытки удержаться на старых, привычных позициях. В сентябре 1852 года, то есть как раз в том месяце, который Добролюбов назвал «бурным» для своей душевной жизни, им были написаны стихи о неверии, о начале разрыва с богом:

Немало сомнений
В душу мне запало!
Многих убеждений
Будто не бывало!

. . . .

Вера колебалась,
Путался рассудок...
Все — мне представлялось —
Глупый предрассудок...

. . . .

И к какой-то новой
Мысли я стремился,
Новою основой
Я руководился.
Все узнать желал я,
Ничему не веря,
Наобум искал я
Разуменья двери...

Эти поиски истины «наобум» при отсутствии всякой поддержки извне давались нелегко, но неверие явно побеждало веру. Из дневника мы знаем, что в труд-

ную минуту он уже не молится, как бывало прежде. Он даже отмечает, что сердце его «черство и холодно к религии». А потом внезапно им снова овладевает тревога, и он пытается искусственно поддержать и подогреть в себе чувство остывающей религиозности. С этой целью он заводит даже особый дневник под названием «Психаториум», что означает «углубление в душу», и в течение месяца изо дня в день заносит туда тщательно составленные отчеты в своих «прегрешениях» перед богом.

С чего началась и чем питалась ненависть к религии у юноши, выросшего в среде, пропитанной религиозными представлениями и традициями? Конечно, именно эта среда и была первым источником его будущего атеизма. Близкое соприкосновение с изнанкой религии, с поповским бытом привело мальчика, отличавшегося острой наблюдательностью, к мысли о том, что бог сделан руками людей. Скептическое отношение к обрядности, сложившееся в ранней юности, в дальнейшем превратилось в последовательное отрицание религии.

Одна только семинария давала ему громадный материал для размышлений на эти темы. Вспомним хотя бы стихотворение «Один из моих знакомых», где нарисован портрет семинариста. Поэт не жалеет красок, изображая развязного, хвастливого, самонадеянного человека, который к тому же отличается грубостью, невежеством, склонностью все критиковать, ничего не зная. И это, по мнению Добролюбова, не случайное явление:

В своем лице он представляет
Прямой образчик бурсаков.

Таковы были и многие другие будущие служители бога, которых видел вокруг себя Добролюбов. Недаром он с тоской ходил в семинарию, недаром прибегал к различным выдумкам, инстинктивно стараясь оградить себя от господствующей там тупости, пошлости и невежества. Иной раз он пытался опереться на свое врожденное чувство юмора, и оно служило для него своего рода самозащитой. Тогда он сочинял сатиры

на бурсаков и пародии на наставников. Однажды он завел, например, тетрадь, озаглавленную «Летопись классических глупостей», куда записывал всевозможные нелепости, услышанные в классе.

Безотрадное зрелище представляло собой и семинарское преподавание. Многие наставники, особенно носившие духовное звание, были людьми невежественными и во всех отношениях ничтожными. Примечательна, например, фигура отца Паисия, инспектора семинарии и профессора догматического богословия; о нем в дневнике Добролюбова, давно забывшего свое детское намерение беспрекословно уважать авторитет начальства, написано немало язвительных и горьких слов.

Гнев семинариста вызывала не только глупость профессора богословия, но и отсталость, реакционность его суждений, его «допотопные понятия о науке и литературе». Добролюбов с возмущением писал о совершенном отсутствии здравого смысла у Паисия, о его «отвратительных претензиях на подлое остроумие», о бездарности его преподавания. «Скоро ли то я избавлюсь от этого педанта, глупца из глупцов?..» — записывал он в дневнике, когда перед ним заблистала надежда покинуть семинарию.

Нетрудно догадаться, что невежды и шарлатаны в рясе, подобные отцу Паисию, никак не могли укрепить религиозное настроение юноши. Если большинство семинаристов мирилось с ними и принимало как должное всю их богословскую премудрость, то Добролюбов с его критическим умом, с его чуткостью к дурному и хорошему страдал от сознания ничтожности людей, его окружавших. Он так и записал в дневнике: «Во мне есть порядочный запас ненависти против людей...» Этот запас рос с каждым днем и постепенно превращался в острое чувство ненависти ко всему укладу жизни, который мешал ему развиваться, который руками отца Паисия сковывал молодые силы, обрекал на одиночество и душевные страдания. Разве не об этом говорят трагические интонации дневниковой записи, сделанной Добролюбовым 3 сентября 1852 года:

«...И опять осужден я вращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиогномиями, в этой душной атмосфере педантских выходок, грубых ухваток и пошлых острот... И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости, ни одного отрадного дня за дни и месяцы тоски и горя».

* * *

«Душная атмосфера» окружала будущего критика не только в семинарии, но и дома. И здесь его не покидало ощущение одиночества, даже обострявшееся при мысли о том, что близкие и, казалось бы, любящие его люди не понимают его стремлений, стоят слишком далеко от всего, что его так волнует. Ему не с кем поделиться, некому доверить свои тайные думы. В стихах он постоянно сетует на это:

И родни и друзей
Не сочтешь у меня,
Только грусти моей
Им поверить нельзя...

В отношениях юного Добролюбова к семье в пору начинавшегося идейного кризиса преобладали те чувства, которые он сам называл бессознательным влечением друг к другу людей, связанных узами родства. Но трещина в этих узах уже намечалась. Мы можем судить об этом хотя бы по тому, что спустя несколько лет, как бы подводя итоги давним размышлениям на эту тему, Добролюбов утверждал, что человек, пошедший «по пути разума», уже не может подчиняться только непосредственному влечению родства. «Голос крови» становится для него все менее слышен, ибо «его заглушают другие, более высокие и общие интересы».

Наверное можно сказать, что такие мысли приходили ему в голову еще в семинарские годы, когда он уже развился настолько, что почувствовал себя чужим в родном доме, среди любящих его людей. «Жить

их жизнью он перестал еще до отъезда в Петербург», — свидетельствует Чернышевский.

Дома ему по-прежнему внушались те принципы христианской морали, которым он был предан в детстве: не надейся на свои силы, почитай старших, будь терпелив и послушен. Он успешно преодолевал в себе мертвящее действие этой морали: он начал верить в свои силы, перестал уважать тех, кто не заслуживает уважения. Все это было результатом громадной внутренней работы, незаметной для близких. В их глазах он был по-прежнему тихим, молчаливым мальчиком, послушным сыном. И необходимость таить в себе работу деятельного ума, проблески нового понимания жизни, скрывать свое скептическое отношение к религиозной обрядности была тягостной для юноши. Может быть, именно поэтому он в «Психаториуме», перечисляя свои «грехи», упомянул среди них «ложь, хитрость и притворство». Ему приходилось скрывать свои сомнения и холодность к религии. Ему казалось, что он обманывает старших, исполняя обряды, в святость которых он с каждым днем верил все меньше.

Отчуждению от домашней среды способствовали те люди, которых юноша встречал в доме своего отца. Это были прежде всего представители нижегородского духовенства — сословия, отличавшегося такими свойствами, как стяжательство, жадность, лицемерие. Добролюбов близко узнал все это. Он тяготился кругом знакомых своей семьи и не раз уходил заниматься в семинарию, когда в доме собирались гости. В своих позднейших обличениях церкви и реакционной сущности религии он, несомненно, опирался и на собственные детские впечатления. Вспомним, что ему принадлежат хотя бы следующие беспощадные по отношению к поповщине строки:

Покорны будьте и терпите,
Поп в церкви с кафедры гласил,
Молиться богу приходите,
Давайте нам по мере сил...

По страницам дневника можно проследить, как суждения его автора становились все более резкими и

определенными. Ирония и сарказм в отзывах о людях все решительнее вытесняли прежние мотивы христианского всепрощения и любви к ближним.

Однако окружающим он по-прежнему казался робким, молчаливым, почти нелюдимым. Его считали человеком холодным, рассудочным, чуть ли не флегматиком. Но это была только внешность. Он сам горячо опровергал подобные суждения, заявляя, что «самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой холодной оболочкой всегдашнего равнодушия». И с этим нельзя не согласиться, перелистывая страницы дневника, где Добролюбов являлся самим собою. Достаточно вспомнить, какими проникновенными словами рассказал он о своей любви к людям, о страстных поисках родственной, близкой души, о жажде большой, искренней привязанности. Прекрасный образ настоящего человека с благородным сердцем возникает перед нами в этих строках.

Одни люди, говорит Добролюбов, преклоняются перед красотами природы, другие восхищаются картинами и статуями, третьи гонятся за деньгами. Его же влечет к себе прежде всего человек. «Чем же виноват я, что привязываюсь к человеку, превосходнейшему творению божию? Чем я несчастлив, что моя душа не любит ничего в мире, кроме такой же души? Ужели преступление то, что я инстинктивно отгадываю ум, благородство, доброту человека и, отгадавши, всеми силами души моей привязываюсь к нему... Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни было...»

Эти слова написаны тем же самым пером, которое всего днем раньше писало о ненависти к людям. И здесь, разумеется, нет даже тени противоречия. Юноша вырабатывал в себе способность по-разному относиться к разным людям, ценить одних и ненавидеть, презирать других. И чем тяжелее было ему в душной атмосфере семинарского быта, среди пошляков и педантов, чем острее становилось ощущение одиночества в родительском доме, тем более настойчиво искал он дружбы, понимания, сочувствия.

* * *

Добролюбов принадлежал к числу людей, которые обладают способностью, увлекаясь чем-либо, отдаваться предмету своего увлечения безраздельно. Такой всепоглощающей была его страсть к книгам. Так непреодолимо и всегда влекло его «авторство». Так же искренно было его чувство, если он привязывался к человеку.

Едва ли не первой в его жизни сильной привязанностью (после матери) была Фенечка Щепотьева, дочь видного нижегородского чиновника и редактора «Нижегородских губернских ведомостей». Семья Щепотьевых жила в доме Добролюбовых. Николай брал у них книги для чтения; обращался он к отцу Фенечки и по делу, несколько раз пытаясь писать для газеты.

Фенечке было всего 12 лет, когда Добролюбов испытал безотчетное влечение к ней. Шестнадцатилетнему подростку, до крайности не избалованному знакомствами и дружбой, она вдруг показалась каким-то неземным созданием, чуть ли не ангелом, появившимся среди грубых людей, олицетворением добра и красоты.

О своем чистом и искреннем первом чувстве Добролюбов прекрасно рассказал на страницах дневника. Когда Щепотьевы на время уехали из города, он записал: «И вот два дня прошло без них, и я не исцеляюсь от тоски моей, а только все больше и больше грущу и печалюсь. Редко-редко я на минуту забуду о ней, но потом тотчас же снова что-нибудь напомнит, или просто сердце само скажется и так жалобно заговорит о ее очаровательной прелести. Я не могу назвать, не могу прибрать имени для этого мрачного, грустного чувства, которое постоянно ощущаю в себе с тех пор, как расстался с ней. Что-то подобное должно быть, кажется, после смерти близкого или нежно любимого человека. Какая-то пустота кругом, как будто в мире нет более людей; какое-то безотрадное горе, как будто бы нет более на свете радостей; какое-то отвращение ко всякому занятию, как будто бы все

предметы слишком ничтожны, когда не одушевляет их ее присутствие».

Он считал, что Фенечка не может ответить на его чувство не только по молодости лет — это еще полбеды, годы придут, но и по многим другим причинам. Во-первых, она была ослепительно прекрасна, а его «мачеха-природа» сделала неловким и некрасивым («Нынешний вечер я пожалел, что я так дурен лицом, а это со мной не часто бывает»). Во-вторых, размышляя о возможности женитьбы в будущем, он пришел к выводу, что у него нет никаких перспектив, потому что Фенечка ему «не по плечу». Дело в том, что она принадлежала к более высокому социальному кругу, к так называемому «порядочному обществу», в котором — Добролюбов это знал — пошлый светский любезник и глупый болтун пользовались неизмеримо большим успехом, чем «мрачный ученый» или «гордый талант».

Бывая у Щепотьевых, Добролюбов, может быть впервые, довольно остро ощутил свое «разночинное» происхождение и пожалел, что его воспитание было начисто лишено светского лоска.

Второе увлечение Добролюбова, о котором мы должны теперь вспомнить, связано с именем семинарского преподавателя Ивана Максимовича Сладкопевцева. История привязанности к нему Добролюбова может показаться почти неестественной, настолько напряженными переживаниями она сопровождалась. Однако эта история помогает нам понять всю меру одиночества Добролюбова и представить себе всю силу его влечения к людям.

Случилось так, что Сладкопевцева назначили учителем немецкого языка в параллельное отделение того класса, в котором учился Добролюбов. Поэтому он долго не мог с ним познакомиться. Наконец Добролюбов нашел подходящий предлог и отправился к нему с визитом. Смущаясь, он переступил порог казенной квартиры Ивана Максимовича. Сладкопевцев так рассказывает об этом в своих воспоминаниях: «Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из 70 учеников своего класса; но его

необычайная робость, какая-то угрюмость, даже будто забитость, прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. «Это ли, — думал я, — сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником: но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?» Я принялся, однако, шевелить эту, как мне казалось, запуганную натуру; говорил что-то много, и особенно старался говорить ласково... Но гость не поддавался... Закончу я, — он и подавно молчит, опустив глаза; заговорю — он поднимет голову и слушает...»

Так произошло первое знакомство (в июне 1852 года). С осени, после каникул, дружба упрочилась. Добролюбов робел уже гораздо меньше, хотя и был попрежнему малоразговорчив. Он стал часто бывать у Сладкопевцева. Иван Максимович охотно рассказывал ему о своем учении, о Петербурге, где только что окончил духовную академию.

Иван Максимович настойчиво советовал своему молодому другу как можно скорее оставить семинарию и поступить в университет.

— А если не удастся в университет, — говорил он, — тогда можно поступить и в духовную академию, только, конечно, в петербургскую. В конце концов академия вас не стеснит, потому что, окончив ее, вы в столице всегда найдете подходящее для себя занятие...

Эти слова запомнились Добролюбову и сыграли свою роль в тех решениях, которые ему предстояло принять в ближайшее время.

Несмотря на его обычную замкнутость, Сладкопевцев все-таки сумел подметить, что в душе юноши постоянно таилась насмешка над горькой действительностью. Но эта насмешка «была глубоко закупорена в его сосредоточенной натуре, была слишком не размашиста и холодно-скромна».

Для Добролюбова дружба со Сладкопевцевым была одной из немногих попыток ближе сойтись с людьми. Нет сомнения, что Сладкопевцев был неизмеримо лучше, интереснее большинства тех, кто окружал Добро-

любова в нижегородские годы. Чернышевский свидетельствует, что он «по своему уму и характеру был действительно человек, достойный уважения и любви». И все же, признавая достоинства Сладкопевцева, надо сказать, что Добролюбов сам создал себе этот кумир, наделил его теми свойствами, какие ему хотелось в нем видеть. Так сильна была жившая в душе юноши мечта о настоящем человеке, достойном уважения и дружбы.

Общение с ним было полезно для Добролюбова. Правда, на развитие его понятий и убеждений Сладкопевцев не мог оказать влияния (об этом говорит и Чернышевский), но в то же время пример честного, доброго и разумного человека благотворно действовал на юношу, на его нравственный облик, укреплял в нем добрые чувства. Сам Добролюбов склонен был очень высоко оценивать ту роль, которую играл Сладкопевцев в его жизни.

В ноябре 1852 года стало известно, что Ивана Максимовича переводят из Нижнего в Тамбов преподавателем тамошней семинарии, в которой он сам когда-то учился. Добролюбов долго не мог забыть этого человека, к которому испытывал такую искреннюю и горячую симпатию. Он писал ему в Тамбов длинные письма, служившие как бы продолжением дневниковых записей. В одном из таких писем Добролюбов признавался: «Никогда не забуду я этих вечеров, проведенных с Вами наедине, этой живой, одушевленной речи, в которой я участвовал только тем, что слушал ее. И мог ли я после этого не привязаться к Вам всеми силами молодой души, которая находила в Вас приближение к своему идеалу?..»

Получив отказ отца относительно университета, Добролюбов не мог примириться с необходимостью остаться еще надолго в семинарии. Он без конца перебирал в памяти все, что слышал от Сладкопевцева о Петербурге и об академии, которую тот окончил, и, наконец, решил, что ему ничего не остается, как пойти на соглашение с отцом. Он понял, что академия для него единственный выход, единственный предлог. Только бы вырваться из Нижнего! Лишь

бы попасть в столицу, в Петербург, а там будет видно...

Оставалось поговорить с отцом. На этот раз «папенька» оказался гораздо уступчивее. Он, правда, сказал несколько слов о молодости Николая, но тот возразил, что молодому еще легче учиться, и вопрос был решен.

В марте 1853 года все бумаги были посланы в Петербург, в академию. Однако сомнения продолжали мучить Добролюбова. Он и радовался предстоящему отъезду, возможности вырваться, наконец, из «грязного омута», расстаться с ненавистной семинарией, и вместе с тем тревожился, вспоминая, что духовная академия — это вовсе не то, о чем он мечтал, к чему себя готовил. «Мысль поступить в университет не оставляет меня», — так писал он уже через день после того, как бумаги были отосланы в столицу, в адрес академии.

* * *

Последнее лето в Нижнем Добролюбов провел, готовясь к предстоящим экзаменам, размышляя о будущем и не забывая своих обычных литературных занятий.

Александр Иванович с удивлением замечал, что его сын с особенным усердием сидел над историей, словесностью и математикой — предметами, которые ему не надо было сдавать при поступлении в академию.

— Да что ты все этим занимаешься, — спрашивал отец, — разве это там требуют?

Он отвечал что-то неопределенное и продолжал свои занятия.

Ему шел восемнадцатый год. Многое изменилось к этому времени в его духовном облике. Не осталось и следа от прежней философии покорности и преклонения перед авторитетами. Процесс бурного умственного развития привел к крушению наивно-идеалистического миросозерцания. Глубокий внутренний кризис нанес непоправимый удар его религиозным

представлениям, впрочем, далеко еще не изжитым окончательно.

Процесс возмужания юноши наглядно проявился в его отношении к собственному поэтическому творчеству. Пересматривая свои прежние стихи, он был разочарован их условной сентиментальностью, риторическим пафосом и резонерством, вычитанным в чужих сочинениях.

Любопытно, что он к этому времени вообще забывает о стихах, хотя до сих пор занимался ими постоянно и неутомимо. В предыдущем, 1852 году он написал около сорока стихотворений, а в 1853 только двенадцать — и все в первой половине года. Его влечет теперь к прозе, к картинам реальной жизни. Он садится за работу и совсем незадолго до отъезда из дома пишет большую повесть «Провинциальная холера», вложив в нее весь запас своих жизненных наблюдений (в Нижнем в то время были случаи заболевания холерой). Молодой автор сделал попытку правдиво рассказать о нравах косной провинциальной среды, которую он хорошо знал, обличить предрассудки и суеверия, распространенные в этой среде. В повести нет больших художественных обобщений, однако Добролюбов предстает перед нами уже как человек, умеющий подняться над изображаемой жизнью, способный отнестись иронически к ее смешным и темным сторонам, осудить их.

В связи с этим надо заметить, что в те годы в Нижнем, по-видимому, все же был какой-то круг передовых людей, с которыми мог соприкасаться Добролюбов. Общение с ними укрепляло в нем чувство неудовлетворенности окружающей жизнью, помогало освободиться от заблуждений. К сожалению, мы можем судить об этом только по нескольким строчкам дневника, где упоминается некий Флегонт Алексеевич Васильков, учившийся в Нижегородской семинарии. Добролюбов встречался с Васильковым перед отъездом в Петербург и вел с ним разговоры, о которых долго потом не мог забыть. Спустя несколько лет он с благодарностью вспомнил своего нижегородского знакомого и рассказал в дневнике, что Васильков го-

ворил с ним умно и искусно, стараясь внушить ему любовь к правде, а не к авторитету и в то же время пытаясь осторожно («не пугая прямым нападением») разубедить его в том, в чем он и сам начал сомневаться, то есть в религии. Добролюбов прибавляет к своему рассказу еще несколько многозначительных слов: «Наши разговоры кончились ничем, но дело было сделано: внутренняя работа пошла во мне живее прежнего». Это позволяет нам заключить, что разговоры носили серьезный характер и что Васильков сумел оказать благотворное влияние на развитие своего собеседника.

Спустя год, уже студентом приехав в Нижний, Добролюбов снова встречался с Васильковым и вместе с ним тайно читал и обсуждал запретное тогда письмо Белинского к Гоголю.

Приближался день отъезда. Зинаида Васильевна хлопотала с утра до ночи. Она приготовила сыну такое количество мятных лепешек на дорогу, что их, по выражению его спутника, хватило бы на целую вечность. В подкладку сюртука — для безопасности! — были зашиты деньги: тридцать пять рублей серебром. В первых числах августа Добролюбов обошел всех родных и знакомых, со всеми простился. Билет на место в дилижансе был куплен заранее.

Ясным августовским утром, провожаемый множеством родных, он погрузился в громадную карету, запряженную шестеркой лошадей и вмещавшую до двадцати человек пассажиров. Вместе с ним в качестве старшего товарища ехал Иван Гаврилович Журавлев, окончивший семинарию и отправленный учиться в Петербургскую академию на казенный счет.

Отец и мать долго смотрели вслед удалявшемуся дилижансу, который увозил их сына от родного крова. А он, уезжавший навстречу неизвестности, мог бы повторить про себя слова поэта, которые совсем еще недавно вспоминал в письме к товарищу:

И предо мною жизни даль
Лежит светла, необозрима...



IV. ПЕРВЫЙ ГОД В ИНСТИТУТЕ

Не напрасно он занимался историей и математикой перед отъездом из Нижнего, — все это пришлось теперь как нельзя более кстати. Дело в том, что по приезде в столицу Добролюбов встретился — почти случайно — со студентами Главного педагогического института, которые без труда уговорили его отказаться от поступления в академию и попытать счастья в педагогическом институте.

Впрочем, его и не надо было уговаривать. Ему так хотелось избавиться от академии, а соблазн попасть в институт, считавшийся равным университету, был так велик, что он почти не колебался. Конечно, его очень смущала мысль о том, что скажет отец: он думал, что своим поступком поставит его в неловкое положение перед архиереем: тот, вероятно, рассердится, узнав, что сын священника Добролюбова поступил в светское учебное заведение. Он тут же написал домой о своих тревогах, уверяя, что будет ждать согласия родителей. Но почта двигалась в те годы медленно, и к тому времени, когда из Нижнего пришел ответ, Добролюбов уже благополучно сдал экзамены и был зачислен в список студентов.

Правда, первый ответ, полученный из дома, был неутешителен. Александр Иванович был недоволен нарушением родительской воли и сетовал на легкомыслие сына. Но в конце концов он понял, что ему придется примириться с институтом, и сообщил об этом в Петербург. К тому же оказалось, что и архиерей «Ерема» не так уж сердится: духовному начальству даже лестно было узнать, что воспитанник семинарии поступает в столичное учебное заведение. Когда все уладилось, Добролюбов в одном из писем к отцу сделал такое признание:

«...Я поехал в Духовную академию только от крайности. Давнишняя мысль моя и желание было поступить в университет; но когда сказали мне, что это невозможно, я старался найти хоть какое-нибудь средство освободиться от влияния отца Паисия и Еремы [1], и это средство я нашел в Петербургской академии. Но и при этом у меня всегда оставалась мысль не только поступить на статскую службу, но даже учиться в светском заведении. Мысль эта глубоко вкоренилась во мне и ничуть не была пустою мечтой... Я уже... давно понял, что я совсем не склонен и не способен к жизни духовной и даже к науке духовной».

Это слова человека, который много размышлял о себе, обрел твердость суждений и наполовину уже освободился от мглы, застилавшей ему глаза, расстался со многими предрассудками.

Вскоре начались учебные занятия, и Добролюбов с головой погрузился в науку, в новую жизнь, которая перед ним открылась.

* * *

Он был так доволен судьбой, что на первых порах ему решительно все нравилось в Петербурге, начиная от климата и кончая институтом. Товарищи, с которы-

---

[1] Эти два имени вычеркнуты в тексте письма Добролюбова, вероятно, его отцом (он давал знакомым читать письма сына) и предположительно восстановлены Чернышевским (в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова»).

ми он жил теперь в одной камере (так назывались комнаты, где жили студенты), профессора, директор представлялись ему людьми необыкновенными: «Директор очень внимателен, инспектор — просто удивительный человек по своей доброте и благородству. Начальство вообще превосходное...» Он в восхищении и от институтской столовой, где студентов кормили (судя по его же описанию) более чем посредственно; в письме домой он даже нашел необходимым отметить, что за обедом каждому ставят особый прибор — это не то, что в академии, где несколько человек вместе «хлебают» из общей чаши... А если хочешь есть, добавлял новоиспеченный студент, подадут еще тарелку — совсем как дома. Но здесь он, судя по всему, покривил душой, чтобы доставить удовольствие матери; а может быть, он еще просто не знал тогда, что в обширном и тщательно разработанном «Наставлении для студентов Главного педагогического института» было прямо указано: «За столом никто не вправе требовать себе другой порции; потому что во всяком благоустроенном казенном заведении всему ведется счет и мера».

Занятиями своими и большинством профессоров Добролюбов также был очень доволен. С интересом слушал он лекции по русской истории Н. Г. Устрялова, университетского профессора, автора многих учебников и многотомной «Истории царствования Петра Великого» (позднее Добролюбов посвятил этому труду своего бывшего профессора обширную статью, в которой критиковал его исторические взгляды, стремление заменить историю народа историей царей). Высоко отзывался он о лекциях Н. М. Благовещенского, который вел курс латинской словесности. «Ах, если бы вы слышали нашего Благовещенского! — писал Добролюбов в Нижний своему бывшему учителю Кострову. — Как живо и увлекательно читает он «Энеиду» и делает объяснения на латинском языке. Просто заслушаешься!..»

«С дивным одушевлением также читает Лоренц», — отмечал Добролюбов; однако его лекции по истории на немецком языке были мало доступны для студен-

та, не овладевшего языком настолько, чтобы свободно понимать живую речь. Неудачны были уроки француза Адольфа де Креси́, который преподавал язык, ни слова не зная по-русски, чем ставил в трудное положение большинство студентов («...Мы сидим и напрасно напрягаем внимание»).

К «темным сторонам» института относил молодой студент и лекции профессора С. С. Лебедева по истории русской словесности. Это был любимый предмет Добролюбова, которым он увлекался с детства; однако лекции принесли ему жестокое разочарование: Лебедев был самым заурядным чиновником с убогими познаниями и жалким кругозором, ограниченным сугубо казенной точкой зрения на явления литературы. Когда позднее Добролюбов, продолжая семинарские традиции, начал писать пародии на лекции профессоров, Лебедеву суждено было стать одним из героев этих пародий, имевших большой успех и гулявших по всему институту.

Особенным уважением студентов пользовался профессор Измаил Иванович Срезневский, известный ученый-славист, академик, который вел курс славянской филологии. Это был человек, горячо преданный науке, он читал с увлечением, интересно рассказывал о своей поездке по славянским странам. В свое время он был также учителем Чернышевского, который слушал его лекции в университете и надолго сохранил с ним дружеские отношения. Срезневский первый заметил Добролюбова в институте, первый обратил внимание на его выдающиеся способности, а затем и подружился с ним. Их сближение началось после того, как студент рассказал профессору о своих этнографических и лингвистических занятиях в Нижнем, о том, как он в семинарские годы собирал областные нижегородские поговорки и пословицы. Это заинтересовало Срезневского, он выразил желание познакомиться с работой студента, дал советы, как систематизировать его собрание. Вскоре Добролюбов представил три тетрадки, содержавшие около пятисот слов с объяснениями их значения. Все собрание состояло из двух тысяч слов, но большую их часть при-

шлось исключить после сличения с существующими словарями. После этого работа Добролюбова приобрела несомненный научный интерес, так как состояла из областных слов, не вошедших даже в академический словарь.

В первые месяцы петербургской жизни Добролюбов чувствовал себя просто счастливым. Его дни наполнились радостным трудом, разнообразными новыми впечатлениями. С громадной охотой, с воодушевлением погрузился он в науки, занялся серьезной работой, о которой всегда мечтал. Он с удовольствием пишет родным о своих занятиях: «Принялся вплотную за греческий язык, за немецкую словесность, за географию, с увлечением читаю латинских классиков». Из множества тем, предложенных для сочинения профессором Благовещенским, он выбрал одну из самых трудных — сравнение перевода «Энеиды» Вергилия с подлинником (от этой темы отказались даже студенты старших курсов). Работа над областным словарем для Срезневского тоже требовала немалой усидчивости. Если прибавить к этому занятия по всем другим предметам, вплоть до политической экономии и законоведения, необходимость изучать языки, древние и новые, то можно представить себе, насколько загружен был рабочий день студента, начинавшийся в шесть часов утра. Неудивительно, что многие новички не успевали справляться с уроками, роптали, жалуясь на полное отсутствие отдыха и свободного времени.

Но как ни много было учебных дел, как ни поглощен был ими Добролюбов, однако он успевал и бродить по улицам, любуясь видами величественного города, и бывать изредка в театре, и осматривать музеи и художественные выставки, и работать в Публичной библиотеке. Каким-то чудом у него хватало времени еще и на то, чтобы подробно описывать свои впечатления в длиннейших письмах, которые он часто писал родным и знакомым — настолько часто, что родителей даже тревожило его пристрастие к письмам и они не

раз просили сына беречь свое время. Отец убеждал его: «Не пиши, дружочек, много и ко многим... Тебе время нужно более на полезное».

Он не очень прислушивался к этим советам, зная, как интересует родных каждая мелочь. Его многочисленные письма этого времени почти все сохранились. На редкость обстоятельные, блещущие юмором, полные интересных подробностей, они как бы заменяют прерванный дневник и служат теперь для нас незаменимым источником сведений о Добролюбове в петербургские годы его жизни. К этому надо добавить, что самый процесс писания писем, судя по всему, нисколько его не затруднял. Уже тогда он писал настолько легко и быстро, речь его лилась так непринужденно, что вряд ли можно думать, будто на письма у него уходило много времени. Писать — это была его стихия, его призвание.

Некоторые земляки Добролюбова удивлялись, что он мало рассказывает в письмах о Петербурге, не делится своими впечатлениями; говорили, что он равнодушен к окружающему, и приписывали это черствости его характера. На самом же деле он проявлял живейший интерес к новой обстановке, которая его окружала, и пользовался каждой минутой, чтобы увидеть что-нибудь новое и интересное. «Я раз пятьдесят, по крайней мере, прошел насквозь весь Невский проспект, — читаем мы в одном из первых петербургских писем, — гулял по гранитной набережной, переходил висячие мосты, глазел на Исаакия, был в Летнем саду, в Казанском соборе, созерцал картины Тициана и Рубенса...»

С волнением осматривал Добролюбов коллекции Публичной библиотеки (раз в неделю читатели допускались в книгохранилище), вглядывался в старинные книги и пожелтевшие рукописи на всевозможных языках.

И, может быть, еще сильнее задели его душу сокровища Эрмитажа, где он в первый раз провел часа четыре, но не нагляделся вдоволь и решил прийти снова при первой же возможности. Восхищаясь картинами Брюллова, мадоннами Рафаэля, портретами

Рубенса и Тициана, он писал: «Это дивные произведения, о которых никакого понятия не дает ни печатный эстамп, ни мертвая ученическая копия, каких несколько случалось нам видать в прежнее время».

Таковы были первые петербургские впечатления Добролюбова. Жадно впитывал он все, что могли ему дать культура и искусство русской столицы. Он страстно хотел все увидеть, все узнать, все понять. Это был год, когда он, напряженно работая над своим развитием, продолжал накапливать силы для будущего.

* * *

Прошло совсем немного времени, и Добролюбов начал понимать, что институт был далеко не так хорош, как ему показалось на первых порах. Мы уже знаем, что некоторые профессора сразу же разочаровали молодого студента. Вскоре он увидел и многое другое. Педагогический институт уже не был рассадником вольнодумства, и профессора его давно перестали упражняться в «расколах и безверьи», по поводу чего в грибоедовские времена негодовали князья Тугоуховские. Казарменные порядки, установленные в закрытом учебном заведении, угнетающим образом действовали на студентов. Суровый режим дня и расписание, которым они подчинялись, были составлены таким образом, что не могли способствовать успешности занятий. Вот как описывал свой день сам Добролюбов в письме к двоюродному брату Михаилу Ивановичу Благообразову:

«В 6 часов раздается пронзительный звонок, и я встаю. Одевшись и умывшись, иду в камеру и принимаюсь за дело (т. е. за уроки) до половины 9-го. В это время новый звонок, и все идем завтракать. На завтрак дается, обыкновенно, булка и кружка молока... Перед завтраком читаются утренние молитвы, дневные — Апостол и Евангелие. Потом в 9 часов начинаются лекции, каждая по полутора часа. В 12 часов приносят оловянное блюдо, нагруженное ломтями черного хлеба: это еще завтрак или полдник. Потом опять лекции продолжаются до 3 часов. До обеда

обыкновенно бывают четыре лекции. В три часа обед, на котором бывает три блюда, а после обеда до 4-х с половиной мы можем и даже должны гулять по городу. В половине пятого еще лекция до 6 часов. В 6 часов пьем чай, свой, не казенный. В $8^1/_2$ — ужин из двух кушаний. В 10 спать отправляемся, как вот и теперь, сейчас отправляюсь. Прощай, брат, спокойной ночи...»

Регламентация институтской жизни была тяжелой и бессмысленной. Достаточно сказать, что по уставу студентам, например, запрещалось пить чай (вместо чая полагался сбитень, горячий напиток на меду). Правда, это правило нарушалось, потому что студенты не хотели отказываться от вполне невинной привычки, но им приходилось покупать чай на свои деньги, а администрация делала вид, что она этого не замечает.

Всего этого довольно долго не видел Добролюбов. Даже родные в Нижнем поняли, что распорядок дня неудобен для студентов и оставляет мало времени для самостоятельных занятий. Но он упорно доказывал, что его время «распределено, как нельзя лучше». Остались позади почти два месяца учения, когда Добролюбов вынужден был, наконец, признаться: «Надобно сказать правду, папаша: Вы совершенно правы. Времени для занятий здесь мало... Я почувствовал это теперь, когда нам дали темы для сочинений. Часы занятий так часто прерываются, что нет возможности втянуться в работу...»

Другой особенностью института был дух религиозного ханжества, пропитывавший насквозь всю его официальную жизнь. Молитвы дважды в день, чтение евангелия, молебны и посещения церкви отнимали так много дорогого времени, что Добролюбов, которого, казалось бы, трудно было этим удивить, досадовал в письме к родным: «А право, здесь больше благочестия, чем в академии».

В «Наставлении для студентов» было сказано: «Молитвы утренняя и вечерняя должны быть совершаемы с подобающим благоговением: о малейшем беспорядке во время молитвы дежурные доносят ди-

ректору». Этим разгулом казенного «благочестия» студенты были обязаны именно ему — директору института Ивану Ивановичу Давыдову, человеку, известному не столько своими учеными трудами, за которые он, однако, получил звание профессора и даже академика, сколько низостью своего характера, угодничеством перед начальством, хитростью и умением казаться совсем не тем, чем он был на самом деле. Добролюбов не раз писал домой об «учености» Давыдова, рассказывал о его удивительной доброте по отношению к студентам, с гордостью сообщал о похвалах, которые ему случалось получать от своего «деятельного, заботливого и благородного начальника»... Студент-первокурсник еще не знал, что в действительности представляет собой директор института. Позднее Добролюбову суждено было вступить в опасную борьбу с всемогущим «Ванькой», пользовавшимся покровительством весьма высоких лиц.

Неопытные студенты-новички принимали за чистую монету мягкость и обходительность Давыдова, говорившего ласковым и вкрадчивым голосом, умевшего даже «пускать слезу» в особо торжественных случаях. Эта фальшивая сентиментальность нисколько не мешала Давыдову притеснять студентов и расправляться с теми, кто был ему неугоден.

Первокурсники через некоторое время начинали ощущать, что они беззащитны и бесправны. Их постоянно корили бедностью, внушали, что они ничто и правительство их облагодетельствовало с ног до головы, допустив на паркетные полы института и позволив слушать лекции знаменитых профессоров. Они должны были испытывать вечную благодарность к начальству, которое окружало их «отеческой любовью» (директор без стеснения сам величал себя «отцом» студентов).

Бесчисленные упреки и оскорбления, по словам друга Добролюбова М. И. Шемановского, сыпались прежде всего на бывших семинаристов, которые во многом отличались от другой части студентов, сохранивших название гимназистов. Эти две группы довольно заметно враждовали между собой. «Гимна-

зисты» были лучше воспитаны в «светском» смысле и происходили из более зажиточных семей. Это давало им возможность подсмеиваться над неуклюжестью и робостью «семинаристов».

Состав первого курса вообще был весьма разношерстный; преобладали здесь разночинцы, но и среди них были люди разного культурного уровня, съехавшиеся из разных городов, и это было одной из причин известной разобщенности студентов, начавшей стираться только на втором году совместных занятий. Добролюбов ощущал эту разобщенность и держался несколько в стороне от большинства, не умея сам сделать первые шаги к сближению. Однако были у него товарищи и в это время — хотя бы его сожители по комнате, которых он нередко угощал чаем и булкой (у многих студентов-«семинаристов» не хватало денег даже на это). Более других подружился он с Дмитрием Щегловым.

Уже к середине первого года пребывания в институте Добролюбов заслужил всеобщее уважение студентов и профессуры. Были замечены его начитанность, знания, литературные способности, умение отлично записывать лекции, склонность к серьезной работе. В это время почти все педагоги вслед за Срезневским поняли, что такого даровитого студента с такими обширными знаниями еще не бывало в институте. Понял это и Иван Иванович Давыдов. Однако для Добролюбова пора первого увлечения профессорами и занятиями быстро миновала. Он начал теперь спокойно готовиться к лекциям — ровно настолько, чтобы никто не мог его упрекнуть в недостатке знаний по программе, и не заботясь о большем; а это не требовало от него особых усилий и прилежания. Главные же усилия он стал тратить на чтение, самообразование и на те немногие институтские работы, которые считал для себя важными (например, изучение перевода «Энеиды»).

Письма Добролюбова позволяют судить о том, как его интересы постепенно становились глубже и многообразнее. Более острым и напряженным делается его внимание к литературе. Он следит за журналами; он

не пропускает ни одного слова, когда Срезневский на лекции излагает литературные новости или читает стихи. Его удручает бедность современной поэзии, в которой он видит мало больших дарований.

События Крымской войны, начавшиеся осенью 1853 года, на первых порах не задели глубоко Добролюбова, хотя его письма к родным пестрят упоминаниями о молебнах за успехи русского оружия и слухами о военных действиях, доходившими до столицы Но знаменательно, что во всех этих откликах ясно выражено его возмущение тем ложнопатриотическим пафосом, который искусственно подогревался в императорском Петербурге. Мало интересуясь действительным положением и нуждами русской армии, героически защищавшей Крымский полуостров от англо-французского флота, петербургское «общество» увлекалось войной как очередной сенсацией, поводом для разговоров, спектаклей и благотворительности. Добролюбов в одном из писем язвительно говорит об этом «Война, после Рашели[1], теперь, кажется, нераздельно занимает умы. Пробудились политики, патриоты, хвастуны, поэты...»; «...Поэты деятельно вооружились рифмами, оседлали Пегаса». Он переписывает и посылает домой с ироническими комментариями стихи Федора Глинки, П. Вяземского, Н. Кукольника, А. Майкова, Е. Ростопчиной, безыменные куплеты, ходившие по рукам. «Всюду разлилась стихотворная горячка.. » В стихах на «злобу дня» он не ищет больших достоинств — они интересны ему только как отражение современных толков и настроений.

И тут ему приходит в голову большая мысль — свидетельство серьезных раздумий о состоянии литературы· «Того и гляди, что из этого хаоса вдруг встанет могучая душа и силою поэтического чувства своего вызовет к жизни нашу упавшую поэзию» (из письма от 1 марта 1854 года). Запомним эти слова, столь характерные для будущего критика.

О новых чертах в облике Добролюбова свидетель-

---

[1] Элиза Рашель — знаменитая французская драматическая актриса, выступавшая в начале 50 х годов в Петербурге.



Н. А. Добролюбов. Фотография 1857 года.



Дом на Литейном проспекте, в котором на втором этаже помещалась редакция «Современника» и квартира Н. А. Некрасова.

ствует и обострение его интереса к Нижнему Новгороду, к его истории и его людям. Он называл это развитием «чувства родины в теснейшем значении этого слова». Однажды студентам предложили описать в сочинении свой город, свою губернию или уезд. Добролюбову очень хотелось взяться за такое сочинение, но он отказался, считая, что не обладает достаточным запасом сведений. Рассказав об этом в письме к родителям, он добавляет: «...всякий должен знать свою губернию как можно лучше во всех возможных отношениях, и я жалею, что совсем не знаю нижегородской статистики».

Тогда же Добролюбова заинтересовала личность его земляка, знаменитого изобретателя Кулибина. Он прочел в «Москвитянине» статью о нем, рассердился на ее неполноту и вспомнил, что слышал от матери какие-то нижегородские предания об изобретателе-самоучке. Он немедленно потребовал от родителей: «...пожалуйста, напишите все, что Вы знаете об этом предмете». Отец ответил, что история Ивана Петровича Кулибина печаталась в «Нижегородских губернских ведомостях» девять лет назад (в 1845 году) чуть ли не на протяжении всего года. Этот ответ не удовлетворил Добролюбова, и на другой же день он писал: «Пожалуйста, ничего печатного. Я все перечитал о Кулибине, знаю и статью «Нижегородских ведомостей»; она не кончена, доведена только до царствования императора Павла I; — ведь после этого-то вскоре Кулибин и удалился в Нижний и жил там. Говорят, что в Нижнем есть или, по крайней мере, было много преданий о его жизни, о его смерти и т. п.».

Спустя несколько лет, перечисляя в одной из своих статей великих людей русского народа, Добролюбов не без гордости отметил: «Наш знаменитый механик, которому удивлялись иностранцы... — Кулибин, был нижегородский мещанин...»

* * *

В середине марта пришло письмо, в котором отец извещал сына о том, что у него появилась новая се-

стрица, названная Лизой, и что мать тяжело больна после родов. Это была отцовская предусмотрительная осторожность: на самом деле Зинаида Васильевна скончалась еще 8 марта. Александр Иванович медлил с извещением, не знал, как сказать об этом сыну.

Большое горе обрушилось на Добролюбова. Утешая в письмах отца, он напоминал ему, что только твердость воли и сила духа, проявленные в несчастьях, возвышают человека и показывают его истинные достоинства. Но сам он не находил себе места и тяжело переживал потерю нежно любимой матери.

В письмах и дневнике, полных скорби о матери, Добролюбов не раз обращается к богу в надежде успокоиться, примириться с утратой. Но это последний взрыв религиозного чувства. «Я редко могу молиться, я слишком ожесточен», — говорит он в одном из писем. И мы узнаем, как велика была его привязанность к матери, как дорожил он материнской любовью. «Знаешь ли, — пишет он двоюродному брату, — что во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал, мечтал всегда с думой о счастье матери? Всегда она была на первом плане; при всяком успехе, при всяком счастливом обороте дела, я думал только о том, как это обрадует маменьку... Мне кажется, что будь она счастлива, я бы тоже был счастлив ее счастьем... Все исчезло для меня вместе с обожаемой матерью... Отчий дом не манит меня к себе, семья меньше интересует меня, воспоминания детства только растравляют сердечную рану...»

В эти трудные дни его поддержали и утешили два товарища, два добрых человека, как он назвал их в письме к отцу, — Александр Радонежский, рыбинский семинарист, сам недавно потерявший мать (она умерла от холеры), и особенно Дмитрий Щеглов, человек неглупый и развитой, имевший, по словам Добролюбова, стремления, до которых «еще не может подняться большая часть наших студентов».

Щеглов не только утешал Добролюбова, — в эту пору он влиял и на его идейное развитие, помогая ему освобождаться от религиозных настроений. Однако в дальнейшем пути их резко разошлись.



V. ПОЕЗДКА ДОМОЙ

Учебный год шел к концу, предстояли экзамены и каникулы Занимался Добролюбов по-прежнему много. «Горе мое не повредило мне в этом отношении», — писал он отцу. Он успешно заканчивал большую работу над сличением с подлинником перевода «Энеиды» И. Шершеневича. Оказалось, что переводчик его «славно надул» — только в процессе работы стала ясна вся сложность задачи: надо было делать замечания решительно «на каждый стих». Но это не могло смутить Добролюбова. В своей статье он обнаружил и блестящее знание латинского языка, и умение критически мыслить, и собственное отношение к принципам перевода (переводами с латинского он сам занимался еще в семинарии).

Профессор Лебедев, разобрав в классе его сочинение об «Энеиде», в заключение сказал, что это «хороший, во всех отношениях образцовый труд».

Как-то само собой сложилось так, что все товарищи отдавали первенство Добролюбову, молча признавали его превосходство. Это в особенности стало заметно во время экзаменов, которые он сдавал с легкостью, недоступной другим студентам. Были

предметы, которыми он мало занимался в течение года: богословие, русская история, психология. Теперь он за два-три дня приготавливал каждый из этих предметов и успешно сдавал их, неизменно получая пятерки. И все считали это вполне естественным.

Остальные экзамены он сдавал так же безукоризненно, получая высшие баллы. Сдал политическую экономию, государственное право, блеснул познаниями в латинском языке. По греческому языку ему пришлось отвечать в присутствии министра просвещения А. С. Норова. Выслушав ответы студента, министр сказал: «Очень хорошо, очень хорошо, Добролюбов!»

На трудном экзамене по славянской филологии Добролюбов привел строгого и взыскательного Срезневского в такой восторг, что профессор тут же при всех расхвалил его за трудолюбие, усердие и любовь к предмету.

О русской словесности нечего и говорить — здесь он чувствовал себя совершенно свободно. Интересно суждение самого Добролюбова об этом экзамене, высказанное в письме к отцу: «...постоянные мои занятия с самых ранних лет и постоянная любовь к этой науке ручались мне за успех. Достаточно приготовленный разнообразным чтением всякого рода книг — и думая себя посвятить русской словесности и в школе, и на службе, и в обществе, — я потому с легкостью и любовью мог заниматься этим предметом...»

Несколько хуже обстояло дело с новыми языками: по немецкому и французскому он не сумел добиться пятерки. «Четыре» поставил ему и Лоренц, — его немецкие лекции по всеобщей истории он мало слушал и плохо понимал. В результате Добролюбов был переведен на второй курс института четвертым. Если бы не языки, ему по праву принадлежало бы первое место.

Итак, год был окончен. В эти дни Добролюбов оглянулся назад и еще раз порадовался тому, что судьба уберегла его от поступления в духовную академию. С ужасом подумал он об академической схо-

ластике, от которой его все-таки избавил институт, несмотря на все свои недостатки. И он написал отцу: «...Я более и более убеждаюсь, что избранный мною путь есть верный и безошибочный. Верно в академии... никогда бы я не выкарабкался из посредственности самой жалкой, будучи принужден писать каждый месяц по два сочинения о том, можно ли научиться логике из рассматривания природы, об отношении между логикой и психологией, и т. п. в том же роде, невыносимо тяжелом, отвлеченном, скучном, нисколько не приложимом к жизни».

* * *

Скоро Добролюбов собрался домой на каникулы. ...Июньское солнце только что взошло над Волгой, когда он, стоя на палубе парохода, издалека увидел сверкающие купола и темные крыши Нижнего. Неподвижно, долго, со слезами на глазах вглядывался он в эти давно знакомые очертания. И горькое воспоминание о матери омрачило ему радость возвращения на родину.

«Я уже совершенно явственно различал церкви, дома, сады, видел церковь, в которой служит мой отец, видел несколько знакомых домов, близких к нашему, и мог определить место, где стоит и наш дом. Горько, брат, быть так близко от счастья и чувствовать его невозможность. Наконец, подъехали к пристани; я сошел, взял извозчика, поехал... Мне страшно было ехать в свой дом... Слышу во всех церквах благовестят к обедне. Наша церковь по дороге; я велел остановиться извозчику и зашел... Папеньки в церкви я еще не нашел, но встретил несколько знакомых, в том числе одну добрую старушку, мою крестную мать, которая любила меня, как родного. Долго не мог я говорить от слез, которых, несмотря на все старания, не мог удержать... Немного побыв тут, я поехал домой... Мрачно как-то посмотрел на меня знакомый с детства переулок, грустно мне было увидеть наш дом. Отец выбежал встречать меня на крыльцо. Мы обнялись и запла-

кали оба, ни слова еще не сказавши друг другу... «Не плачь, мой друг», — это были первые слова, которые я услышал от отца после годовой разлуки... Потом встретили меня сестры. Маленьких братьев нашел я еще в постели... Папаша провел меня по всем комнатам, и я шел за ним, все как будто ожидая еще кого-то увидеть, еще кого-то найти, хотя знал, что уже искать нечего... Отец пошел потом к обедне, а я остался и долго плакал, сидя на том месте, где умирала бедная маменька. Наконец, и я собрался с сестрами к обедне, пришел к концу, но признаюсь — усердно молился. Я искал какого-нибудь друга, какого-нибудь близкого сердца... Все здесь на меня действовало давно знакомым воздухом, все пробуждало давно прошедшие, давно забытые и давно осмеянные чувства».

Так он писал из дому товарищу своему Дмитрию Щеглову. В словах «признаюсь — усердно молился» слышится оттенок смущения. Добролюбов как бы оправдывается перед человеком, который может не понять его настроения. Мы догадываемся, что это отголоски каких-то важных разговоров о религии, которые вели между собой два петербургских студента.

...Время летело незаметно. Он собирался заниматься, думал много сделать на каникулах, наметил разные планы, но из этих «великолепных предположений» ничего не вышло. Прежде всего пришлось наносить визиты родным. К нему домой тоже постоянно приходили товарищи, знакомые — всем хотелось посмотреть на него, поговорить с петербургским студентом. Да и он был рад старым друзьям — Валериану Лаврскому, который окончил семинарию и собирался ехать в Казанскую академию, и Флегонту Василькову, который так хорошо говорил с Добролюбовым перед его отъездом из Нижнего.

Разговоры Добролюбова с друзьями нередко носили строго секретный характер. Дело в том, что столичный гость привез с собой запретные рукописи, ходившие тогда по рукам в Петербурге. Среди них было знаменитое письмо Белинского к Гоголю, продол-

жавшее волновать умы, как и в первые дни своего появления. Чтение письма, сурово изобличавшего полицейско-крепостнический режим николаевского царствования, преследовалось как государственное преступление. Всего пять лет назад чтение этого письма явилось одной из главных причин суровой расправы над петрашевцами, сосланными в Сибирь. Реакция в стране торжествовала по-прежнему.

Добролюбов, запершись с Васильковым, читал ему письмо Белинского. Страстные, жгучие слова будоражили мысль, заставляли новыми глазами глядеть вокруг. «Россия видит свое спасение, — читал Добролюбов, — не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства... А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек... Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания...»

Нет сомнения, что особенно сильное впечатление производили на бывших семинаристов суждения Белинского о «гнусном русском духовенстве». «Неужели же в самом деле вы не знаете, — писал он Гоголю, — что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?.. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?.. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь!»

Множество острых, животрепещущих вопросов было поднято в письме Белинского. И Добролюбов с Васильковым подолгу обсуждали этот документ, взволнованные его смелыми мыслями.

Нередко встречался Добролюбов и со старым приятелем, одним из семинарских поэтов — Митро-

фаном Лебедевым; это был человек самых отсталых взглядов, хотя глаза его «всегда были ясны и умны». И Добролюбов энергично принялся просветлять его сознание: он читал, например, Лебедеву привезенные из Петербурга стихи «Русскому царю». Лебедев «ужасался», слушая эти стихи, анонимный автор которых весьма бесцеремонно обращался к самодержцу со своими претензиями[1]. Позднее, три года спустя, Добролюбов, встретив Лебедева в Петербурге, отметил в своем дневнике (17 января 1857 года), что его земляк стал «не то, что был прежде», и приписал эту перемену общению Митрофана с Флегонтом Васильковым.

В свою очередь, Лебедев в воспоминаниях, написанных позднее по просьбе Чернышевского, отмечает, что Добролюбов всегда стремился оказывать идейное влияние на своих бывших однокашников в Нижнем.

Когда у Добролюбова не было гостей, он возился с братьями, читал им, рассказывал о Петербурге. Любили разговаривать с ним и старшие 13-летние сестры — Антонина и Анна. Они были близнецы, но первая, более развитая и рослая, считалась теперь хозяйкой дома.

Много времени уходило и на разговоры с отцом: Александр Иванович любил подробно излагать нижегородские новости: он постоянно жаловался на тяжелую жизнь и самодурство «преосвященного» Иеремии, притеснявшего духовенство. В один из таких разговоров Добролюбов услышал от отца слова, которые его поразили: отец признался в своих сомнениях относительно религии. Добролюбов заметил его «горькое колебание» и навсегда запомнил этот разговор; можно наверное сказать, что он не прошел бесследно для него, человека, стоявшего на пороге полного освобождения от религиозных представлений.

---

[1] По-видимому, это было стихотворение П Л Лаврова «Русскому царю», ходившее по рукам в списках (опубликовано в журнале «Былое», 1907, № 2).

Времени для занятий, о которых мечтал Добролюбов, собираясь ехать домой, совсем не оставалось, и за целый месяц он с трудом успел прочитать лишь несколько номеров «Современника».

Каникулы шли к концу, когда в семье Добролюбовых случилось новое несчастье: 6 августа утром, почти внезапно, умер Александр Иванович. Ему было всего 42 года. Еще накануне вечером он служил всенощную, а ночью у него появились первые признаки холеры; болезнь продолжалась не больше 10—12 часов.

Нелегко было Добролюбову перенести этот новый удар. Неожиданно он оказался теперь главой огромной семьи: на его руках осталось семеро детей. Вдобавок дела по дому были запущены, у отца остались большие долги. И нет ничего удивительного в том, что сначала у сына опустились руки. Он испытал острое чувство озлобления против несправедливой судьбы: «судьба жестоко испытывает меня и ожесточает против всего, лишая того, что мне было дорого в мире».

В эти дни особенное его негодование вызвало нижегородское духовенство. В то время как многие знакомые, любившие Александра Ивановича, приняли самое горячее участие в делах осиротевшей семьи, духовное начальство покойного повело себя весьма неприглядным образом. «Подличает с нами одно только духовенство и архиерей», — писал Добролюбов Щеглову. «Ерема» теперь полностью обнаружил свою двуличную природу. И впоследствии он также пытался делать гадости сыну своего умершего сослуживца по епархии.

На похоронах Добролюбов не проронил ни одной слезы и был, по его собственным словам, «страшно зол». Да и как было не злиться! Он разругал дьяконов, которые громко хохотали, неся гроб его отца. Потом он сказал резкие слова одному священнику, своему бывшему семинарскому профессору, который произнес глубоко возмутившую его речь; оратор уве-

рял в ней: бог знает, что делает, он любит сирот, и прочее.

Кажется, эта речь и переполнила чашу его терпения. Страшно расстроенный, выведенный из равновесия горестными событиями, которые следовали одно за другим, он вдруг ясно понял, что должен надеяться только на самого себя и меньше всего может ждать помощи от бога — от призрака, которого все почему-то привыкли считать любвеобильным и милосердным.

Смерть отца была последним испытанием его религиозного чувства, и сам Добролюбов позднее прямо связывал эту утрату с окончательным освобождением от власти «мглы» и предрассудков:

Благословен тот час печальный,
Когда ошибок детских мгла
Вслед колесницы погребальной
С души озлобленной сошла...

После похорон он задумался над тем, что же ему теперь делать. Первое, что пришло в голову, — это отказаться от всех планов и надежд, оставить институт и выхлопотать место учителя в каком-нибудь заштатном уездном городишке. К счастью, родные тут же воспрепятствовали этому проекту, справедливо рассудив, что высшее образование скорее поможет ему обеспечить своих малолетних сестер и братьев, чем скромная должность учителя. Все сошлись на том, что Николаю Александровичу надо дать возможность закончить институт. Решили начать хлопоты о пособии для сирот. Опекунами их имущества назначили дядю Василия Ивановича (брата отца), тетку Фавсту Васильевну (сестру матери) и протоиерея П. И. Лебедева.

Когда обсуждали вопрос о том, где и как будут жить дети, над ними внезапно нависла зловещая тень «Еремы»: он предложил поместить девочек в монастырь. Но Добролюбов решительно сказал, что он этого не допустит. Тогда все дети были распределены по родным и знакомым.

Судьба братьев и сестер была хотя бы на первое время устроена, и Добролюбов смог покинуть Нижний.

Возвращаясь в Петербург, Добролюбов был весь еще под впечатлением грустных событий. С тяжелым сердцем увидел он шумный Невский с его пестрыми вывесками и веселой толпой гуляющих. Он вспомнил свой первый приезд в столицу. «Все это как-то болезненно подействовало на меня, потому что я сам был уже не тот. И как-то странно, неловко мне было идти по этому великолепному городу, между этим веселым народом...»

Еще хуже он почувствовал себя, когда появился в первый раз в институте: товарищи встретили его с распростертыми объятиями, с радостными лицами, все они показались ему добрыми, спокойными. Все были такие же, как всегда... А он... Он испытывал тяжелое состояние горечи, тревоги и ожесточения. В это время он очень нуждался в поддержке, в ласковом слове непритворного участия. Он даже не писал к родным, опасаясь, что в первом же письме разразится «дикими воплями отчаяния», и еще больше опасаясь получить в ответ «какие-нибудь пошлые увещания и утешения».

Его беспокоила и удручала судьба маленьких сестер и братьев, которые лишились родного дома, привычного уюта и жили теперь у чужих людей, взявших их из милости, из сострадания. Эта мысль оскорбляла его самолюбие. Он решил немедля искать уроки, чтобы начать зарабатывать.



VI. СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК

Учебные занятия в институте шли своим чередом. К этому времени, к осени 1854 года, многое изменилось и в студенческой жизни Добролюбова и в самом его облике. Он был уже не тем мальчиком без всякого жизненного опыта, каким когда-то переступил порог института. Для него начинался теперь период идейной зрелости. Подготовленный к нему всем предшествующим своим развитием, почти полностью освободившийся от власти идеалистических предрассудков, он стоял теперь перед необходимостью овладеть целостным мировоззрением, такой системой взглядов, которая дала бы ему ключ к разгадке всех явлений жизни и помогла бы стать тем, чем он давно решил стать, — активным деятелем, борцом за справедливость, за свободу, за правду.

Смерть родителей нанесла последний удар давно поколебленной религиозности и дала новый толчок для работы деятельного ума. Он сам писал об этом в дневнике: «Меня постигло страшное несчастье — смерть отца и матери, — но это убедило меня окончательно в правоте моего дела, в несуществовании тех призраков, которые состроило себе восточное во-

ображение и которые навязывают нам насильно вопреки здравому смыслу. Оно ожесточило меня против той таинственной силы, которую у нас смеют называть благою и милосердною, не обращая внимания на зло, рассеянное в мире, на жестокие удары, которые направляются этой силой на самих же ее хвалителей!..»

Мы видим, что его ожесточение против религии росло вместе с ненавистью к злу, рассеянному в мире. Он стал задумываться над истоками этого зла, искать его корни. Он вскоре нашел их и начал готовить себя к борьбе со злом. Перед ним открылись широкие горизонты жизни. Расставшись навсегда с прошлым, он теперь весь устремился к будущему.

Товарищи, съехавшиеся после каникул, заметили что Добролюбов повзрослел, стал самостоятельнее, энергичнее, смелее. В их глазах еще больше вырос его авторитет; они стали относиться к нему с еще большим уважением, чем в прошлом году. У него появились новые друзья, кроме прежних — Щеглова и Ралонежского. Очень скоро Добролюбов занял главное место в том студенческом кружке, который сложился в это время в институте.

На первых порах видную роль в этом кружке играл Дмитрий Щеглов, отличавшийся, по свидетельству современника, «самыми крайними воззрениями в области политики, философии и религии». Он любил вспоминать французскую революцию и времена Конвента, в области философии считал себя материалистом, решительно отвергал религию и совершенно не признавал искусства. Громогласные речи и категорические суждения Щеглова, не терпевшего никаких возражений, довольно долго действовали на Добролюбова, и он сам считал, что общение с Щегловым было полезно для его умственного развития.

Только через некоторое время он понял, что «крайние воззрения» его приятеля были в значительной мере позой, фразерством, рассчитанным на эф-

фект. Расхождения во взглядах, неприметные вначале, на старшем курсе института привели к разрыву между бывшими друзьями. Впоследствии Щеглов, ставший педагогом и писателем по общественно-политическим вопросам (он выпустил книгу «История социальных систем»), занял откровенно реакционную позицию, чем подтвердил дальновидность Добролюбова.

Однако в студенческие годы Щеглов выделялся среди товарищей своим развитием и непринужденностью суждений, которые он выражал обычно во всеуслышание. Вероятно, поэтому он и казался многим как бы первым лицом в кружке. Скромный Добролюбов, во всех отношениях превосходивший Щеглова, тем не менее терялся рядом со своим шумным товарищем.

Активными членами студенческого кружка были также Михаил Иванович Шемановский, отличавшийся, по словам Добролюбова, «благороднейшим направлением» и ставший его близким другом и единомышленником; Игнатий Иосифович Паржницкий, пользовавшийся всеобщим уважением за свои честные убеждения, атеист, презиравший поповщину и имевший в этом смысле некоторое влияние на Добролюбова; Николай Петрович Турчанинов, учившийся у Чернышевского в саратовской гимназии и продолжавший поддерживать знакомство с ним в Петербурге; Борис Иванович Сциборский, человек передовых взглядов, весьма близко стоявший к Добролюбову; Иван Иванович Бордюгов, один из закадычных его друзей; Глеб Михайлович Сидоров, восторженный фантазер, имевший в кружке прозвище «наш Робеспьер», и другие. По-разному сложилась судьба этих людей. Одни из них заслуживают того, чтобы мы с уважением произносили их имена (например, Шемановский, Бордюгов), другие этого не заслуживают (например, Сидоров, позднее враждебно относившийся к Добролюбову). Но тогда, на втором году студенческой жизни, всех их объединяло чувство товарищества, интерес к общественным вопросам, отрицательное отношение к институтскому начальству.

«...Нас было немного, — вспоминал один из членов кружка — Сциборский, — человек десять, преданных делу будущности, сознавших, что сухие лекции большей части наших почтенных профессоров и деспотические требования начальства в исполнении самых мелочных формальностей должны стать у нас далеко на второй план, а что нам нужен самостоятельный труд и прежде всего работа над самими собой... В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Николай Александрович был самым решительным, самым энергическим и чрезвычайно влиятельным деятелем. Вокруг него всегда, бывало, собирался кружок любивших и уважавших его товарищей; даже и враги его по убеждениям всегда относились к нему, как к человеку, который гораздо выше их стоял по своим честным стремлениям и по уму. А врагов у него было немало, особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось...»

Начало собраниям кружка положил один случай, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Шемановский. Студенты имели обыкновение курить, выпуская дым в печную трубу (курение в институте преследовалось). Труба поэтому была переполнена окурками. Однажды перед самым рождеством инспектор Тихомандритский, зайдя в комнату, где жили студенты, заглянул в трубу и, увидев окурки, возмутился, наговорил грубостей. Оскорбленные студенты решили пожаловаться директору. Добролюбов принял в этом горячее участие (хотя он не курил и упреки инспектора к нему не относились). Он сам написал жалобу и сам же вместе со студентом-математиком Тарановским подал ее Давыдову. В результате студенты получили возможность узнать подлинный характер своего «отца» и начальника. По обыкновению заверив студентов в своей отеческой любви, Давыдов тут же потребовал выдачи зачинщиков, грозя в противном случае исключить из института двоих, подававших прошение, то есть Добролюбова и Тарановского.

История продолжалась несколько дней. Давыдов

обещал прощение, если виновные сознаются, и угрожал наказанием, ссылкой в уездные учителя в случае упорства. Студенты уже знали: стоит только Давыдову захотеть, и любой из них мог оказаться уездным или приходским учителем где-нибудь в далекой Якутии. Незадолго до случая с окурками профессор французской словесности пожаловался директору на одного студента, не приготовившего вовремя перевод. Давыдов раскричался в присутствии целого курса и, обращаясь к виновному, закончил свою речь так:

— Если еще будет хоть одна жалоба, я тебя пошлю туда, куда ворон костей не заносил.

Словом, шутки с директором были плохи, и Добролюбов с Тарановским решили признать себя зачинщиками «истории». После этого студентам всего курса пришлось объясниться с инспектором и принести ему извинения за «обиду».

Это было первое столкновение Добролюбова с администрацией, показавшее его решимость и вызвавшее искреннее уважение к нему студенчества.

* * *

История с окурками не прошла бесследно для студентов, она дала им ощущение своего достоинства и помогла сплотиться вокруг Добролюбова. С этого времени студенты и начали изредка собираться вместе.

Строго секретные собрания происходили у Паржницкого и Сидорова, по разным причинам вышедших из института и живших на частных квартирах. Собирались также у знакомых студентов Медицинской академии и Петербургского университета, например у Василия Ивановича Кельсиева, будущего эмигранта и сотрудника Герцена. Первоначально обсуждались вопросы главным образом бытового и религиозного характера. Те, кто уже освободился от традиционных «верований», пытались повлиять на своих более отсталых товарищей, — среди них было много таких, которые «в простоте сердечной считали эти вопросы неприкосновенными», им трудно было рас-

ставаться с привычными заблуждениями, вошедшими в плоть и кровь.

В кружке велась активная работа воспитательного характера, причем главная роль в этом деле принадлежала, конечно, Добролюбову. Сциборский отмечает, что он обычно применял разумные и неотразимые доводы, но особенно успешно действовал в тех случаях, когда ему приходилось прибегать к насмешке: от нее негде было укрыться, она не щадила противника, если речь шла о серьезных вопросах, об убеждениях. В то же время даже люди, не соглашавшиеся с Добролюбовым, боявшиеся его смелых выводов, после спора сохраняли самое искреннее уважение к нему. «Всякий, соприкасавшийся с ним, — говорит Шемановский, — чувствовал то освежающее действие, ту пробудившуюся любовь к честному и скромному труду, ... которые заставляли смотреть на мир светлыми глазами, побуждали действовать, а не терять времени в напрасных сетованиях и бесполезном отчаянии».

Очень скоро интересы кружка переменились, вопросы нравственно-религиозного характера уступили место вопросам политическим. Иначе и не могло быть: как ни стремилось начальство оградить студентов толстыми стенами института от всяких веяний окружающей жизни, однако жизнь властно брала свое, вовлекая молодых людей в круговорот событий, происходивших в русском обществе. Среди разных слоев населения росло недовольство политикой правительства, терпевшего поражение в Крымской войне. Глухо волновалось крепостное крестьянство, повсюду вспыхивали мятежи. Все это накладывало свой отпечаток на состояние русской общественности и культуры. Серьезные процессы происходили в литературе, все более глубоко проникавшейся мыслями и чувствами людей труда. Формировались кадры новой, демократической интеллигенции, выступавшей от имени народа.

Пробуждение общественных интересов в стране не могло не коснуться и Педагогического института. В добролюбовском кружке заговорили о положении

народа, начали горячо обсуждать слухи о предстоящем освобождении крестьян. Возникли споры на философские темы; студенты бросились читать и переписывать запретные книги и прежде всего сочинения Герцена. Но доставать эти книги было очень трудно. Решили, что каждый из членов кружка должен вносить небольшую плату для покупки книг и выписки газет и журналов. Все это делалось по секрету, под угрозой наказания. Даже такую официальную газету, как «Петербургские ведомости», выписывали втихомолку на имя швейцара. Руководил этой работой, разумеется, Добролюбов. Он не только собирал деньги с товарищей, но и вносил из своих скудных сбережений за тех, у кого вовсе не было денег. Он умудрялся доставать некоторые книги, пользуясь своими знакомствами; в частности, его снабжал книгами петербургский библиотекарь Лаврецов, вскоре сосланный в Вятку за распространение запрещенных русских изданий, выходивших за границей. Полученную книгу с жадностью прочитывали в кружке и горячо обсуждали. Если же книга была на одном из иностранных языков, то иногда ее переводили общими усилиями, а потом читали; чаще же кто-нибудь один брался прочесть книгу и перевести наиболее интересные места, а потом в кружке излагал ее содержание и читал переведенные отрывки.

Самым трудолюбивым и энергичным в этом отношении был Добролюбов. Известно, например, что он переводил «Сущность христианства» и другие работы немецкого философа-материалиста Людвига Фейербаха (отрывки из этих переводов сохранились в добролюбовском архиве). Именно Добролюбов знакомил членов кружка с главными сочинениями Фейербаха, имевшими некоторое значение в развитии материалистической критики религии. Разъяснение действительных основ христианства было необходимым звеном в процессе освобождения передовых умов от схоластической косности и метафизики.

Деятельность кружка приобретала все более отчетливый политический характер. Как ни велик был интерес к иностранным книжкам, обладавшим сла-

достью запретного плода, но реальные события окружающей жизни волновали молодежь гораздо больше, чем отвлеченные философские построения. Добролюбов был для членов кружка главным источником сведений о том, что делается в стране, в столице. Он внушал им чувство ненависти к деспотизму, вел смелые разговоры о царе, о неизбежном восстании народа, который изнывает от притеснений, и о том, что скоро терпение народное иссякнет. Он говорил также, что долг каждого честного и мыслящего человека — встать на сторону народа, помогать ему, пробуждать спящих.

Вспоминая эту пору в жизни кружка, Сциборский говорит: «*Вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства...* Мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество по пути разумному. Мы думали, что наскажем миру много-много новых истин, выработанных нами в тесном кружке институтском» (курсив мой.— *В. Ж.*). Первым глашатаем этих «новых истин» и душой кружка был Добролюбов. Поэтому все сказанное Сциборским относится прежде всего к нему, самому решительному и самому влиятельному среди товарищей. Это его деятельность и его мысль позволяли им верить в свое общественное призвание, это он приковывал их внимание к вопросу о судьбе родины.

Стихи Добролюбова начала 1855 года дают представление о том, какие мысли волновали в это время и его самого и группировавшихся вокруг него студентов.

Накануне Нового года в Петербурге произошло событие, вызвавшее множество толков и взбудоражившее немало умов. Дворовые мужики, доведенные до отчаяния, зарезали своего барина — богатого помещика и видного петербургского чиновника А. А. Оленина. Даже власти были вынуждены признать, что помещик отличался безмерной жесто-

костью и довел своих крестьян до полного разорения и нищеты Добролюбов был глубоко потрясен этим происшествием, он увидел в нем предзнаменование грядущих больших событий Трудно представить себе, чтобы убийство Оленина не обсуждалось в кружке, Добролюбов, конечно, делился своими размышлениями об этом с товарищами Вскоре он написал большое стихотворение, озаглавив его «Дума при гробе Оленина» Здесь молодой поэт свободно высказал обуревавшие его мысли

Перед гробницею позорной
Стою я с радостным челом,
Предвидя новый, благотворный
В судьбе России перелом

Так начинались эти стихи, в которых Добролюбов дал волю своему гневу Он нарисовал картину страданий народа — сначала под игом татар, потом под ярмом князей и помещиков-угнетателей Голос Радищева слышался в стихах молодого поэта, обличавшего рабовладельцев

Скажите, русские дворяне,
Какой же бог закон изрек,
Что к рабству созданы крестьяне
И что мужик не человек?

В добролюбовской сатире не забыты и главный рабовладелец — царь, который держит в цепях многомиллионный народ, и поп, защитник рабства, провозглашающий в церкви «Покорны будьте и терпите », и жестокий помещик, избивающий своих крепостных

Добролюбов так подробно говорит о нищете и бедствиях крестьянства, о рекрутчине, о голоде, о тяжелом труде на барина, что нельзя не подивиться его знанию народной жизни Он бичует здесь долготерпение народа, зовет его пробудиться от «летаргического покоя» и восстать на угнетателей Стихи заканчивались гимном в честь будущей свободы, пророческими словами о тех временах, когда народ низвергнет «деспотов уставы».

И пусть злодеи затрепещут
И в прахе сгибнут навсегда,
И ярким светом пусть заблещет
Величья русского звезда

Вставай же, Русь, на подвиг славы, —
Борьба велика и свята!
Возьми свое святое право
У подлых рыцарей кнута .

Она пойдет! Она восстанет,
Святым сознанием полна,
И целый мир тревожно взглянет
На вольной славы знамена

С каким восторгом и волненьем
Твои полки увижу я!
О Русь! с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя,

Когда, сорвав свои оковы,
Уж не ребенком иль рабом,
А вольным мужем жизни новой
Предстанешь ты пред их судом

Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств,

Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин,
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин

Вот какие мысли, какие чувства владели в ту пору Добролюбовым Из этих стихов видно, что идея освобождения родины была близка его кружку В добролюбовских словах, обращенных к России, как бы воскресло патриотическое воодушевление Белинского, который столь же пламенно мечтал видеть свою родину свободной, счастливой и могучей, идущей впереди прогрессивного человечества

* * *

К этому же времени относится первое политическое выступление Добролюбова, которое вышло за пределы института. В конце декабря 1854 года он

написал сатирические стихи «На 50-летний юбилей Н. И. Греча» и в этих стихах дал волю своему негодованию против реакционеров в литературе, против булгаринской «Северной пчелы», где подвизался Греч.

Юбилей рептильного литератора не был заурядным мероприятием — его усердно старались раздуть, превратить в общественное событие. К. Полевой в специальной брошюре, посвященной юбилею, называл его празднеством «первым в своем роде в России». В петербургских газетах было напечатано извещение о том, что «государь император, в милостивом внимании к литературным заслугам действительного статского советника Николая Ивановича Греча, высочайше соизволил разрешить отпраздновать пятидесятилетний юбилей полезной его деятельности...»

Добролюбов, конечно, знал об этом: в его сатире есть недвусмысленный намек на расположение «доброго барина» к своему холопу. Больше того, в стихах, посвященных Гречу, мы встречаем — впервые у Добролюбова — прямое обличение самодержца: следуя традиции вольнолюбивых стихов Пушкина и декабристов, молодой поэт называет здесь Николая I тираном.

В язвительно-насмешливых стихах он вспоминает всю прежнюю деятельность Греча — автора учебников по грамматике и географии, реакционного писателя и журналиста:

. Вы в географии мешали
Восток и Запад меж собой;
Фаддея с Гоголем равняли [1],
Уча словесности родной. .

Вы и историю нам дали,
Чужой издавши перевод [2],
Где много мест вы пропускали,
Чтобы не знал их наш народ ..

---

[1] В одной из хрестоматий, составленных Гречем, были помещены рядом произведения Гоголя и Фаддея Булгарина

[2] Греч издал курс «Всемирной истории» К. Беккера, переведенный с немецкого. Добролюбов познакомился с этим изданием еще в Нижнем.

И на позорище журнальном
Вы подвизались много лет:
Кто чище вас — вы звали сальным,
Ложь правдой звали, мраком — свет.

Заслуг таких не мог, конечно,
Ваш добрый барин позабыть, —
И вот он дал чистосердечно
Свое согласье — вас почтить

Формально громким юбилеем,
Как *генерала* подлецов[1].
«И мы, дескать, ценить умеем
Заслуги преданных рабов!»

. И рад наш Греч.. Но рано, рано
Ты поднял знамя торжества!
Не всем довольно слов тирана,
Чтобы признать твои права!

Очевидно, что сатира, посвященная Гречу, не была простой шалостью или остроумной выдумкой, — это было серьезное политическое выступление, направленное против реакционного правительственного мероприятия в литературе, одобренного и поощренного самим Николаем I.

В «секретном» письме Добролюбова Михаилу Благообразову от 18 июня 1855 года, посланном в Нижний с «оказией», мы можем ощутить то настроение, под влиянием которого возникло юбилейное «поздравление» Гречу. Автор вспоминал здесь о том, что Пушкин и Лермонтов в свое время писали острые сатирические стихи. Несомненно, ему хотелось продолжить эту обличительную традицию. Мечта о подвиге во имя общего блага, во имя справедливости с детских лет жила в его сознании (вспомним ранние нижегородские стихи!). Теперь эта мечта принимала реальные очертания. Добролюбову представился случай «отомстить» (по его выражению) одному из самых видных реакционеров, сподвижнику Булгарина, бывшего в свое время злейшим врагом Пушкина и Лермонтова.

---

[1] Слово «генерал» подчеркнуто Добролюбовым; Греч имел чин действительного статского советника, равнявшийся генеральскому чину.

В добролюбовских стихах патриотическая мысль сочетается с резким осуждением «державного произвола», литературных слуг реакции, врагов «свободы, правды, чести», среди которых названы не только сам Греч, но и его друг «мошенник» Булгарин, и князь Вяземский, и барон Розен, прославившийся нещадным коверканием русского языка, и некоторые безвестные литераторы, группировавшиеся вокруг «Северной пчелы».

Добролюбов заботился о распространении своего «поздравления» Гречу. По-видимому, с помощью Щеглова он разослал экземпляры стихотворения во многие редакции и самому юбиляру. А. А. Краевскому, редактору «Отечественных записок», стихи были посланы вместе с таким письмом:

«Милостивый государь, Андрей Александрович! Получивши недавно из Иркутска стихотворение, написанное в честь Николая Ивановича Греча, и узнавши, что оно уже ходит по Петербургу в рукописях, честь имею сообщить Вам его и просить Вас поместить его в Вашем журнале, чтобы сделать еще более известными заслуги нашего почтенного грамматика. Ваша известная любовь к просвещению и уважение к Николаю Ивановичу позволяют мне надеяться, что Вы не откажете в моей просьбе».

Вполне возможно, что подобные издевательские письма были отправлены и в другие редакции. До поры до времени никто не подозревал, что их автором является скромный студент Педагогического института. Но вскоре некоторые товарищи, неосторожно посвященные в это дело Щегловым, проболтались в нескольких домах; имя автора стали называть все чаще, и, наконец, слух дошел до директора. У студентов Добролюбова и Щеглова сделали обыск. При этом у Добролюбова, по его собственному рассказу (в письме, написанном полгода спустя), «не нашли того, чего искали, но захватили другие бумаги тоже довольно смелого содержания...». Несколько иначе говорит об этом Шемановский. Согласно его воспоминаниям, вообще отличающимся большой точностью, у Добролюбова были найдены черновики стихотворения на юби-

лей Греча с помарками и поправками, выдававшими автора; кроме того, у него нашли несколько печатных и переписанных от руки сочинений Герцена, — а по тем временам хранить или распространять произведения революционного эмигранта было не менее опасно, чем писать антиправительственные стихи. У осторожного Щеглова не нашли ничего предосудительного.

Как бы то ни было, но Давыдов пришел в ярость. Добролюбов был арестован, то есть посажен в лазарет, заменявший карцер. Директор устраивал ему допросы, кричал, грозил исключением из института и даже Сибирью. Он заявил, что, как верный слуга государя, обязан донести о своих находках Третьему отделению (так называлась политическая полиция в николаевской империи). Добролюбов понял, что дело принимает серьезный оборот, грозит крушением его планов на будущее, и решил признаться во всем (этот поступок он позднее признавал малодушным). Сделав вид, что он чистосердечно раскаивается, студент представил директору такое рассуждение:

— Я — погибший человек, заслуживший за свое преступление лютую казнь, но на моих руках большая семья; за что же она будет гибнуть? За мое преступление, по русским законам, следует ссылка в Сибирь. Ваше превосходительство имеет возможность наказать меня ссылкой и в то же время не погубить мою семью. Я подам прошение об определении меня в уездные учителя, и вы можете послать меня в какой-нибудь далекий сибирский город; я буду наказан, но моя семья не будет лишена последнего куска хлеба.

Давыдов согласился и принял прошение. Раздувать историю, которая могла бросить тень на весь институт, было не в его интересах. Кроме того, он понимал, что такие студенты, как Добролюбов, служат украшением учебного заведения, явно переживавшего период упадка. Наконец, за Добролюбова хлопотали институтские профессора (прежде всего Срезневский) и влиятельные люди, вроде Сергея Павловича Галахова, сыну которого он давал уроки.

Несколько дней Добролюбова мучили страхом и неизвестностью; он продолжал сидеть в лазарете, куда

обычно отправляли провинившихся студентов — на том основании, что всякий преступивший волю благодетельного начальства не может считаться нормально здоровым человеком и нуждается в исцелении Однако прошению Давыдов не дал хода, а припрятал его, надеясь, что оно пригодится в будущем: в случае чего поможет держать в руках строптивого и неблагонадежного студента.

Таким образом, первое политическое выступление Добролюбова завершилось его моральной победой. История с юбилейным «поздравлением» Гречу, послужившая для него как бы пробой сил в преддверии будущих сражений, на этом, казалось бы, и кончилась. Но не кончилась борьба Добролюбова с Гречем — молодой революционер не сложил оружия и вскоре, выбрав удобный момент, снова с еще большей силой обрушился на врага.

* * *

18 февраля 1855 года Добролюбов и его друзья считали днем, радостным для России в этот день умер Николай I, злейший враг русского народа, жандарм Европы, палач Пушкина и Лермонтова, снискавший заслуженную ненависть всех честных русских людей Студенты Педагогического института, получавшие газеты, с нетерпеливым ожиданием встречали бюллетени, извещавшие о болезни Николая. Шептались по углам и коридорам, вспоминали 14 декабря 1825 года В один из таких дней в камеру, где жил Добролюбов, вбежал студент с криком «Ванька плачет!» Все высыпали за дверь, чтобы полюбоваться этим зрелищем Действительно, Давыдов ходил большими шагами в профессорской комнате, тихо разговаривал с инспектором и беспрестанно утирал глаза платком Время от времени он громко вскрикивал: «Бедное наше отечество!»

Студенты сразу поняли: Николай умер После обеда Шемановский вышел на Дворцовую площадь. Здесь в разных местах стояли группами мужчины и хорошо одетые дамы. На площади царствовало молча-

ние, только из одной группы по временам слышался смех: оттуда виднелись треугольные шляпы студентов. Шемановский пригляделся к людям, никаких следов слез на лицах не было заметно. К дворцу подъезжала карета за каретой. В больших окнах дворца виднелись лакеи в красных ливреях; они беспрестанно подносили белые платки к глазам, напоминая замашки директора Педагогического института.

Вечером Шемановский встретился с Добролюбовым. Подойдя к своему другу, Добролюбов сказал: «Не хочешь ли прочесть стишки?» — «Твои?» — «Мои». Шемановский взял тетрадь и прочел:

По неизменному природному закону,
События идут обычной чередой
Один тиран исчез, другой надел корону,
И тяготеет вновь тиранство над страной.

..Да, тридцать лет почти терзал братоубийца
Родную нашу Русь, которой он не знал,
По каплям кровь ее сосал он, кровопийца,
И просвещенье в ней цензурой оковал.

...Что жизнью свежею цвело и самобытной,
Что гордо шло вперед, неся идеи в мир,
К земле и к небу взор бросая любопытный, —
Он всё ловил, душил, он всё ссылал в Сибирь.

...И в день всерадостный его внезапной смерти
Сын хочет взять себе его за образец!
Нет, пусть тебя хранят все ангелы и черти,
Но нас не будешь ты тиранить, как отец!

Пора открыть глаза уснувшему народу,
Пора лучу ума блеснуть в глухую ночь,
Событий счастливых естественному ходу
Пора энергией и силою помочь

Не правь же, новый царь, как твой отец ужасный,
Поверь, назло царям, к свободе Русь придет,
Тогда не пощадят тирана род несчастный,
И будет без царей блаженствовать народ

— Ну что? — спросил Добролюбов, когда Шемановский кончил чтение.

— По-моему, хорошо, — ответил тот. — Только зачем ты предрекаешь, что тиранство будет тяготеть над

нами по-прежнему? Ведь, по слухам, новый царь, хоть и пьяница, но человек с хорошим сердцем.

— Дело не в том, какой он человек, а дело в том, что он царь, — уверенно заявил Добролюбов.

Шемановский, из воспоминаний которого заимствован этот рассказ, свидетельствует, что политические стихи Добролюбова в рукописях ходили по Петербургу. Товарищи их переписывали, разносили по своим знакомым, и, таким образом, они широко распространялись. Эти стихи говорят о том, что их автор был убежденным противником самодержавия, считал неизбежной и необходимой борьбу с деспотическим строем. Призывая «энергией и силой» помочь естественному ходу событий, он напоминал о том, что тридцать лет назад, после смерти царя Александра I, началось восстание декабристов, приуроченное к тому моменту, когда «один тиран исчез», а другой еще не успел надеть корону.

Спустя три дня после смерти Николая I Добролюбов прочел в газете «Северная пчела» статью ненавистного ему Греча, начинавшуюся словами: «Плачь, русская земля! Не стало у тебя отца». Глубоко возмущенный этим бесстыдным восхвалением покойного тирана, Добролюбов в тот же день написал гневный ответ на статью Греча. Он начал свое письмо так: «Милостивый государь! Вы, конечно, не стоите того, чтобы порядочный человек стал отвечать вам. Но мое негодование при чтении вашей статьи в «Северной пчеле» о смерти Николая Павловича было так сильно, что я решаюсь позабыть на несколько минут то глубокое презрение, какое всегда питал к вам, и унизиться до того, чтобы писать к вам, имея, впрочем, в виду не столько вас, сколько самое правительство, возбуждающее появление подобных статеек».

В ответ на слова Греча о «правосудии» царя Добролюбов указывал, что при нем «награждалось чинами самое отвратительное подличанье, возвышались казнокрады и люди, торгующие самыми священными чувствами человека. Знают это правосудие, — продолжал Добролюбов, — и те многие благородные мученики, которые за святое увлечение благом России, за

дерзновенное обнаружение в себе сознания человеческого достоинства терзаются теперь в рудниках или изнывают на поселении в пустынной Сибири».

В письме саркастически высмеивались попытки Греча прославить «благочестие» царя, его «народолюбие», «великодушие». «Пожалуй, можно сказать, — писал Добролюбов, — что он любил народ, как паук любит муху, попавшуюся к нему в паутину, потому что он высасывал из него кровь... как тюремщик любит арестантов, без которых ему самому некуда было бы деваться...» В течение тридцати лет самодержец подавлял прогрессивные стремления русского общества. Он «объявил преступлением, — говорилось в письме, — всякое проявление самосознания, всякую светлую мысль о благе и справедливости, всякое покушение защищать собственную честь против подавляющего тиранства и насилия...»

Добролюбов иронизировал, разоблачал, негодовал. Постепенно письмо, обращенное к Гречу, становилось революционной прокламацией, острым памфлетом на николаевское царствование и на самого Николая I. В нем кипело благородное возмущение человека, охваченного ненавистью к царю-деспоту и к прославляющим его ничтожествам. В то же время оно было согрето искренней любовью к страдающему, закованному в кандалы народу. Письмо было насыщено фактами, историческими примерами, что придавало доводам автора неотразимую убедительность. Политическая непримиримость в оценке крепостнического режима, сдержанно-страстные интонации, ясность и сила мысли — все это живо напоминало о Белинском, о письме его к Гоголю. Характерны и стилистические приемы памфлета, идущие от Белинского (например, прямое обращение к адресату: «Знайте же, что для русского мужика царь есть отвлеченное понятие...») Несомненно, что автор памфлета хорошо знал письмо к Гоголю, этот выдающийся документ революционной пропаганды, и сознательно стремился следовать ему не только в манере изложения, но и по существу: он касался многих вопросов, которые были затронуты Белинским. Так, почти дословно повторяя

мысль, выраженную в письме к Гоголю, он писал, что «православная церковь и деспотизм взаимно поддерживают друг друга; эта круговая порука очень понятна».

Добролюбов и не скрывал своей близости к Белинскому, к завещанным им революционным традициям. Закончив письмо, он поставил под ним подпись: «Анастасий Белинский». Имя Анастасий по-гречески значило — воскресший. Отсюда можно заключить, что автор письма не только хотел напомнить врагам грозное для них имя Белинского, — он хотел сказать, что Белинский жив, что его революционное дело продолжает новое поколение борцов, которое в новых условиях будет действовать с непримиримостью, достойной своего учителя.

Через несколько дней Греч получил по городской почте письмо «воскресшего Белинского». Смертельно перепуганный, он немедленно переслал эту «ужаснейшую якобинскую статью» Л. В. Дубельту — управляющему III отделением. Жандармы всполошились и начали энергичные поиски автора. Сначала его пытались обнаружить в литературных кругах. В одной из относящихся к этому времени бумаг Дубельта высказано такое предположение: «...он должен быть не из дюжинных писателей, пишет резко и, по моему мнению, человек бессовестный, но по дерзости и правилам человек весьма опасный и не удивлюсь, если он свою статью пошлет для напечатания в Лондон, в типографию Герцена». Затем автора опасного письма начали искать среди студенчества, в частности III отделение затребовало и получило образцы почерков от 800 студентов Медико-хирургической академии. Однако и эта мера ни к чему не привела и через некоторое время жандармы были вынуждены отказаться от дальнейших поисков.

Письмо «воскресшего Белинского» много лет пролежало в архивах III отделения [1] и не получило рас-

---

[1] Письмо обнаружено в 1950 году Б. П. Козьминым и вместе с другими документами опубликовано им в «Литературном наследстве» (1951, т. 57).

пространения. Но можно почти уверенно сказать, что по замыслу автора оно было предназначено не только для одного Греча. Вряд ли Добролюбов стал бы заботиться о литературной отделке письма, прибегать к образным сравнениям, обогащать свой текст народными выражениями, пословицами, историческими параллелями (например, сопоставление Николая I с Карлом XII и Наполеоном), если бы он думал, что его читателем будет только один человек — столь презираемый им издатель «Северной пчелы». Скорее всего он рассчитывал на гораздо более широкую аудиторию (вспомним, что написанные двумя месяцами раньше стихи на юбилей того же Греча были разосланы во многие редакции), но по неизвестным причинам не сумел распространить свое произведение. Единственный дошедший до нас экземпляр памфлета написан не рукой Добролюбова (видимо, по конспиративным соображениям он поручил переписать текст кому-то из надежных товарищей), однако авторство его не вызывает сомнений: оно подтверждается и анализом материалов письма, которые Добролюбов немного позднее сам же использовал в рукописной газете «Слухи» и в дневниковых записях, и наличием стилистических оборотов, характерных для Добролюбова, и сопоставлением документа с предыдущим выступлением того же автора против Греча (о его «комическом, осмеянном» юбилее дважды упомянуто в письме), и, наконец, тем обстоятельством, что в одном из номеров «Слухов» (от 12 октября 1855 года) Добролюбов сам сослался на письмо «воскресшего Белинского» и даже привел из него цитату.

Ранний политический памфлет Добролюбова исключительно важен для характеристики его идейного развития. Вместе со стихами и другими произведениями середины 50-х годов он наглядно показывает, что еще задолго до окончания института сформировались революционные взгляды будущего критика, отличавшиеся уже тогда необычайной зрелостью и глубиной.



VII. «ВЕЛИКИЕ ВОПРОСЫ»

Добролюбов продолжал напряженно работать, усиленно занимаясь самообразованием. Он много читал, углубляясь в самые различные области знания, изучал языки, особенно французский, давал частные уроки — для заработка. Поглощенный трудами, он старался забыть о своих горестях, о недавних утратах. В феврале 1855 года он писал тетке: «До сих пор я тоскую, мрачно тоскую, если только шумной, кипучей, лихорадочной деятельностью не заглушаю тяжелых своих мыслей.. »

К этой тоске прибавлялась тревога за малолетних сестер и братьев, которых приютили чужие люди. Весной ему сообщили о смерти сестры Юлии, жившей в Нижнем в семье Трубецких.

В течение мая и половины июня продолжались экзамены Добролюбов по всем предметам получил высший бал — пятерку, а по языкам — четыре с половиной. Директор сам поздравил его с переходом на третий курс.

К этому времени Добролюбов, давно освободившийся от религиозных представлений, уже твердо сто-

ял на атеистических позициях. Об этом наглядно свидетельствуют его стихи, особенно большое стихотворение «Царь Николай просил у бога», в котором дана острая сатира и на царя и на слепую веру в бога, а сам бог изображен как оплот темноты и невежества.

Институт сковывал его силы, мешал развиваться его таланту литератора, темпераменту публициста-трибуна. Но и в этих условиях он сумел найти для себя живое дело: он писал политические стихи, вел пропагандистскую работу среди товарищей; наконец, с начала нового учебного года он решил выпускать рукописную газету, явившуюся, по существу, органом добролюбовского кружка.

Студенты, вернувшиеся после каникул, нашли Добролюбова окрепшим за лето, полным энергии. Уже к первой встрече друзей, участников кружка, он приготовил им сюрприз — первый номер рукописной газеты. Шемановский, Сциборский и другие студенты с интересом брали в руки сложенный вдвое листок бумаги, исписанный со всех сторон. Сверху крупными буквами было старательно выведено чернилами: «Слухи» Ниже следовало пояснение: «Газета литературная, анекдотическая и только отчасти политическая». В левом верхнем углу стояла дата — «1 сентября 1855 года».

Издатель и автор обещал своим читателям заносить на страницы газеты только те слухи, в которых отражается действительное настроение людей, проявляющееся не в печати, не в «учено-литературных канцеляриях», а в частной жизни. «Чем более подслушаем мы таких откровенных рассуждений, рассказов, отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет истинный дух народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам картина народной жизни». Далее Добролюбов выражал надежду, что отдельные факты, наблюдения и слухи дадут повод для важных обобщений, «приведут умного человека к открытию какой-нибудь хронической болезни» в русской жизни.

Взяв на себя такие задачи, Добролюбов, конечно, понимал, с какими трудностями связано их осущест-

вление. В обстановке того времени писать на темы, которых не могла касаться легальная пресса, значило прежде всего твердо заявить себя противником официальной точки зрения. Собирать «слухи», правдиво отражающие мнение народа, значило стать сторонником враждебного правительству лагеря, то есть подвергнуть себя серьезному риску. Добролюбов помнил об этом. Приглашая читателей, истинно любящих свое отечество, помогать его газете, он писал в первом номере «Слухов»:

«Дело, которое мы начинаем, легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям. Мы хотим быть беспристрастными, сообщать своим читателям все, что только услышим. А ведь мало ли что говорят... Заочно и про царя говорят, а писать про него еще никто не писал безнаказанно... Таким образом, благоразумный читатель видит, что одно средство спасти нас и нашу газету — молчание. Пусть потомство оценит нас, — мы не хотим громкой славы в настоящем и в этом отношении девизом нашим будут слова поэта:

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней..»

Из этих слов видно, что Добролюбов придавал большое значение своему начинанию.

«Слухи» поражают серьезностью своего содержания, зрелостью политической мысли, резкостью и прямотой в оценке таких вещей, которые вообще не подлежали обсуждению в крепостнической России. Каждый номер газеты мог легко привести Добролюбова в Сибирь. Угнетение народа, крепостное право, реакционный режим самодержавия, личность и поступки самого царя, произвол царской администрации, гнет цензуры — вот главные темы, поднимавшиеся на страницах «Слухов». Это были самые острые вопросы, волновавшие тогда передовых русских людей. Но только немногие в ту пору решились бы, подобно Добролюбову, запечатлеть на бумаге свои тайные мысли и

чувства. Недаром писал он в первом номере «Слухов»: «Пусть потомство оценит нас...»

Второй номер газеты, вышедший в ближайший понедельник, Добролюбов посвятил рассказу о торжественной церемонии в Петербурге по случаю «именин имеющего быть помазанным от господа царя нашего Александра Николаевича». В своем ироническом описании Добролюбов показал себя мастером политического фельетона:

«...От Аничкова дворца до Невской лавры стояла по обеим сторонам улицы длинная шеренга конных воинов... С девяти часов собрались толпы народа... На балконах и из окон были .. вывешены ковры, платки, старые одеяла, халаты и пр. т. п. в знак того, что всем жертвует русский народ ради царя своего. В половине одиннадцатого показался он из Аничкова дворца на рыжем коне, в красных штанах, в казацком костюме... Впереди всего царского поезда ехал церемониймейстер и несколько гусар, приказывавших всему собравшемуся народу снимать шапки и кричать «ура»... Блеск торжества еще более возвышался духовною процессиею с образами и хоругвями. Говорили, что сам государь хотел нести образ, но почему-то это не исполнилось: может быть, он побоялся упасть под тяжестью креста, а может быть, опасался скомпрометировать себя перед важными людьми, сделавшись носильщиком досок. Как бы то ни было, народ проводил его приличным воззванием на татарском языке до Невской лавры, и здесь, у врат этого рая, стали синие и серые херувимы, воспрещавшие профанам лицезрение царское. Только звезды и звездочки пошли во врата святой лавры, и таким образом явилось там настоящее царство небесное. К сожалению, солнца правды там не было ..»

В заключение автор фельетона рассказывал, как в лавре царя встретили петербургские портные-немцы и один из них произнес на ломаном языке речь, до того умилившую державного именинника, что он пообещал оратору какую-то важную должность: «одни говорят — в ведомстве православного исповедания, а другие — в министерстве народного просвещения.

Последнее — вероятнее», — саркастически прибавляет Добролюбов.

Но еще больше, чем новому царю, в «Слухах» доставалось «незабвенному» Николаю I: ему посвящены целых три номера газеты. Стремясь вплести несколько свежих листков «в кровавый венок славы» этого «ужасного тирана», Добролюбов с поразительной осведомленностью изложил множество эпизодов из истории его бесславного царствования (некоторых эпизодов он уже касался в письме «воскресшего Белинского»). Здесь и выходки самодержца во время пребывания его за границей, например в Австрии, где царь — эта трехаршинная колонна со звериной физиономией — лично разгонял народ, собравшийся перед резиденцией австрийского императора; здесь и преследования Пушкина; и ханжеский разговор с молодым поэтом Полежаевым, которого Николай поцеловал в лоб перед тем, как сослать в солдаты; и гнусная расправа с декабристами; и разгул служебного грабительства, никогда еще не достигавшего таких размеров, как в последние годы «благословенного» царствования Николая Павловича. «Мы могли бы привести сотни поразительных примеров, — говорится об этом в «Слухах», — но думаем, что лучше будет представить их впоследствии в некоторой системе, и для того просим читателей припомнить то, что случалось им видеть или слышать об этом, и сообщить в редакцию...»

В одном из номеров «Слухов» Добролюбов писал о Николае I: «Не лист, не два, а несколько томов можно наполнить рассказами его ужасных, отвратительных деяний. Каждое имя из приближенных к нему людей давно уже сделалось символом низости, грубости, воровства, невежества... А сколько произвола, сколько неуважения даже к тем правилам, которые им самим поставлены!..»

Все написанное Добролюбовым по поводу николаевского царствования проникнуто горячей ненавистью к деспотизму, болью за страдания народа.

С напряженным вниманием ловил Добролюбов слухи о малейших проявлениях недовольства и протеста, в особенности среди крепостного крестьянства.

На него произвело громадное впечатление известие о волнениях и мятежах на Украине; он посвятил им два номера «Слухов» и стихи, озаглавленные «К Розенталю». В этих стихах, проникнутых революционной мыслью, Добролюбов писал:

Пусть гибнешь ты для страждущего света
И гибнешь, замысла святого не свершив,
Но верь — речам твоим не сгибнуть без ответа,
Вся Русь откликнется на звучный твой призыв.
Бронею истины, щитом любви одета,
Мечом свободы руку ополчив,
Она пойдет на внутренних врагов
И отомстит им горько за рабов!..

Это стихотворение было помещено в «Слухах»; в специальном примечании разъяснялось, что оно «имеет современный интерес» и внушено «одним из самых важных, животрепещущих вопросов современной жизни русского общества. Этот вопрос — уничтожение крепостного состояния, столь постыдного для европейского государства...»

Действительно, это был самый острый вопрос того времени. Добролюбов решал его как революционный демократ, как выразитель интересов многомиллионных масс русского крестьянства. В третьем номере «Слухов» 11 сентября 1855 года он писал:

«Нужно сломать все гнилое здание нынешней администрации, и здесь, чтобы уронить верхнюю массу, нужно только расшатать, растрясти основание. Если основание составляет низший класс народа, нужно действовать на него, раскрывать ему глаза на настоящее положение дел, возбуждать в нем спящие от века богатырским сном силы души, внушать ему понятия о достоинстве человека, об истинном добре и зле, о естественных правах и обязанностях. И только лишь проснется да повернется русский человек — стремглав полетит в бездну усевшаяся на нем немецкая аристократия, как бы ни скрывалась она под русскими фамилиями».

Эти слова не оставляют сомнения в том, какие мысли зрели в уме Добролюбова. Уверенный в богатырских силах народа, он видел свою задачу в том,

чтобы всеми средствами вызывать к жизни эти скрытые силы, будить людей, убеждать их в необходимости и неизбежности борьбы против «внутренних врагов», против «немецкой аристократии» (Добролюбов намекал на немецкое происхождение династии Романовых).

В «Слухах» рассказывалось о жизни и трагической гибели Полежаева на основе материалов книги Герцена «Тюрьма и ссылка». Попутно Добролюбов сообщал читателям о большом успехе за рубежом произведений великого эмигранта и обещал посвятить «несколько статей обозрению его заграничной деятельности» (обещание это осталось невыполненным).

Отдельную статью посвятил издатель «Слухов» политической лирике Пушкина. В то время, в середине 50-х годов, пушкинские вольнолюбивые стихи звучали так же призывно, так же волновали сердца, как и в годы своего появления. Герцен печатал в «Полярной звезде» «Вольность», «Кинжал», «Послание в Сибирь», эпиграммы на Александра I, на Аракчеева и другие стихи, до тех пор распространявшиеся только в списках. Добролюбов, подобно Герцену, также собирал и помещал в «Слухах» запретные пушкинские строки. Он писал здесь: «По рукам до сих пор много ходит произведений Пушкина, которые показывают нам свежего, энергического, свободного поэта...» Перечислив несколько революционных стихотворений и среди них «Мою родословную», Добролюбов с сожалением отмечал: «Говорят, что есть еще несколько насмешливых стихотворений, писанных им в 20-х годах. Но мы не знаем даже названий их. .»

Понятно, почему молодой революционер так интересовался стихами, в которых Пушкин являлся «энергическим, свободным поэтом». В те годы были в ходу лживые легенды, превращавшие мятежного автора «Вольности» и «Пророка» в смиренного служителя муз, проповедника «чистого искусства». Вот почему, стремясь восстановить его подлинный облик, будущий критик-трибун обращался именно к пушкинской политической сатире. Это было начало борьбы Добролюбова за Пушкина, борьбы против литера-

турной реакции, пытавшейся завладеть великим наследием «главы литературы нашей» (так Пушкин был назван в «Слухах»).

* * *

Политическая острота и разнообразие тематики делают рукописную газету «Слухи» одним из самых значительных документов нелегальной литературы 50-х годов, выражающей настроения демократической молодежи и в особенности студенчества. Газета пользовалась успехом в добролюбовском кружке, ее читали с большой охотой. Всех поражала осведомленность издателя и его умение поднимать такие вопросы, которые горячо интересовали молодежь. В конце сентября 1855 года в одном из писем в Нижний Добролюбов отмечал, что он окружен «всеобщей, полной любовью товарищей»; эти слова относились как раз к периоду наиболее интенсивной работы над выпусками рукописной газеты.

Какими материалами пользовался Добролюбов для «Слухов»? Главным источником сведений для него служило общение с людьми, принадлежащими к самым различным кругам. В том же письме он сам говорил, что знакомства у него развелись «в необыкновенном количестве во всех слоях общества: и между чиновниками, и между профессорами, и между духовными, и между офицерами, и между студентами, и даже между купцами, впрочем не торгующими...». К этому надо добавить, что, бывая в доме Галаховых, где он давал уроки, Добролюбов узнавал новости, исходящие из придворных и светских кругов. Разумеется, издатель заносил на страницы газеты прежде всего факты, имевшие известное общественное значение; он выступал со статьями, которые представляли собой обобщение этих фактов и, по-видимому, нередко обсуждались заранее в товарищеском кружке.

Работая над «Слухами», Добролюбов стремился распространять среди студентов самые передовые убеждения, заботился о том, чтобы воспитывать своих товарищей, готовить единомышленников и даже

«сообщников», как он выразился в дневниковой записи от 18 декабря 1855 года.

Несмотря на все это, издание «Слухов» прекратилось 8 декабря, на № 19. Добролюбову и наиболее энергичным из его друзей не удалось преодолеть инертность большинства «подписчиков», которые ограничивались ролью читателей газеты и не хотели взять на себя более сложные функции. В первую очередь это можно объяснить тем, что студенты в массе своей стояли намного ниже Добролюбова по своему политическому развитию и, конечно, не были достаточно подготовлены к тому, чтобы ответить на его призывы. Вероятно, играла немалую роль и простая боязнь: Добролюбов был врагом всякой умеренности, и резкость тона его газеты пугала многих: все понимали, какому риску подвергает себя не только редактор, но и каждый, кто стал бы сотрудником такой газеты.

Последний номер «Слухов» еще не появился, когда Добролюбов сделал знаменательную запись в своем дневнике. Вернувшись однажды от Паржницкого, где был очередной разговор на политические темы, Добролюбов записал:

«Мы затрагиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно...»

Вопрос о бескорыстном труде во имя великой цели — будущего родины — был для него «великим вопросом». О каком труде говорит здесь Добролюбов? Та же страничка из дневника убеждает нас в том, что речь идет о революционном труде, то есть о необходимости готовить насильственное свержение существующего режима. Добролюбов прямо говорит здесь о себе: «...что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбой к великому делу переворота!..» И, оглянувшись на прошедшие годы, он в немногих словах рассказывает в дневнике всю историю своей духовной жизни:

«Сын священника, воспитанный в строгих прави-

лах христианской веры и нравственности, — родившийся в центре Руси, проведший первые годы жизни в ближайшем соприкосновении с простым и средним классом общества... собственным рассудком, при всех этих обстоятельствах, дошедший до убеждения в несправедливости некоторых начал, которые внушены были мне с первых лет детства; понявший ничтожность и пустоту того кружка, в котором так любили и ласкали меня, — наконец, вырвавшийся из него на свет божий и смело взглянувший на оставленный мною мир, увидевший все, что в нем было возмутительного, ложного и пошлого, — я чувствую теперь, что более, нежели кто-нибудь, имею силы и возможности взяться за свое дело...»

Так на страницах своего дневника редактор «Слухов», автор революционных стихов, обличавших режим рабства и угнетения, доказывал самому себе, что он вполне готов к великому делу переворота.

* * *

Добролюбов прекратил работу над своей рукописной газетой, но по-прежнему внимательно присматривался к тому, что происходило в окружавшем его мире. И настолько велик был его интерес к жизни русского общества, что он продолжал с прежним усердием собирать факты и материалы, правдиво отражающие «мнение народное». Присущая ему потребность фиксировать на бумаге свои мысли и наблюдения не уменьшилась, а, наоборот, возросла еще больше. В течение всего января 1856 года, день за днем, он записывал в дневнике все, что приходилось ему услышать интересного, рассказывал о встречах с людьми, разговорах с товарищами. Этот дневник явился естественным продолжением «Слухов» — и по манере изложения и по отбору материала.

Наряду с некоторыми незначительными анекдотами (попадавшимися и в «Слухах») мы находим здесь рассказы об административном произволе, о чудовищных преступлениях должностных лиц и придворных; литературные новости, почерпнутые из журналов; яз-

вительные эпиграммы на директора института Давыдова и сообщения о его низких поступках; слухи о военных действиях, записи солдатских песен, певшихся в Крыму (между прочим, автор дневника поместил здесь и песню «Как четвертого числа», написанную в Севастополе молодым офицером Львом Толстым; в этой песне высмеивались действия военного начальства). По-прежнему доставалось от Добролюбова Николаю I, — о его деспотизме и диких выходках он собрал множество новых сведений и анекдотов. По-прежнему критиковал он порядки в области просвещения, рассказывал о безобразиях в Харьковском университете, о профессорах-взяточниках, о невежестве и грубости начальствующих лиц, вроде попечителя Петербургского учебного округа Мусина-Пушкина, которому случалось с палкой в руках гоняться по Невскому за гимназистом, не снявшим перед ним фуражки.

Записывая все эти сведения и факты в своем дневнике, Добролюбов как бы продолжал традиции «Слухов».

В некоторых записях нетрудно заметить настороженно-внимательное отношение автора к известиям о мнимо-либеральной политике Александра II. В первые месяцы его царствования в обществе распространялись легенды о гуманности нового монарха. Многие надеялись, что после жестокого владычества тупого солдафона Николая I для России наступит пора всеобщего благоденствия. Даже Герцен, поддавшись либеральным иллюзиям, обращался с письмами к Александру II, призывая его стать добрым и разумным правителем. Это был неверный, ложный шаг.

Некоторые факты дают повод предположить, что и Добролюбов в какой-то мере поддался общему настроению. Это записи в дневнике, где приведены идиллические примеры монаршего великодушия: то царь помиловал студента, позволившего себе острить по поводу его нововведений, то царь пощадил человека, занимавшегося агитацией против правительства, и т. д. Подобные рассказы ходили тогда в публике, причем вполне возможно, что само правительство поощ-

ряло их распространение. В том, что Добролюбов упоминал обо всем этом в дневнике, нет ничего удивительного. Важно другое: как он к этому относился?

В дневниковой записи, сделанной 3 января 1856 года, есть строки, достаточно выразительно говорящие об отношении Добролюбова к Александру II. Рассказав об освобождении по царскому приказу «государственного преступника» Мордвинова, Добролюбов замечает:

«Не знаю, что и думать о таком образе действий. Это всех поражает в высшей степени. И так привык русский народ к казням и ссылкам, что теперь почти никто не хочет верить бескорыстию и искренности Александрова великодушия. Одни говорят, что все эти рассказы вздор, пуф, сети, расставляемые тайною полициею для новичков, которые, поверив им, начнут болтать теперь все, что у них есть на уме. Другие делают ужасное, сверхъестественное предположение. Теперь, говорят они, не будут заключать и ссылать вольнодумцев, но... их будут уничтожать».

Трудно после этих слов представить себе, что Добролюбов хотя бы на мгновение мог надеяться на царя, как на человека, призванного «обновить Россию». В действительности неясные интонации дневника 1856 года говорят не о «примирении» и не о либеральных иллюзиях. Они говорят только о том, что Добролюбов остановился в раздумье перед политическими провокациями правительства, заигрывавшего с обществом; и мы знаем, что он быстро осознал их подлинный смысл. Убежденный противник самодержавия, он твердо стоял на избранном пути, хотя и очень рано понял, что этот путь «приведет когда-нибудь к погибели»...

Дневниковые записи 1856 года показывают, что в этот период еще больше увеличился интерес Добролюбова к Герцену. Это вполне понятно, если вспомнить, что для юноши, мечтавшего об участии в «перевороте», Герцен был олицетворением всех сил протеста, назревавших в русском обществе. В эту пору Добролюбов еще не мог критически отнестись к не-

которым колебаниям Герцена, которые вызывали осуждение со стороны Чернышевского. Герцен был единственным человеком, который в те годы имел возможность открыто бичевать самодержавный строй и крепостнические порядки. Мог ли Добролюбов, с его резкими взглядами, не восхищаться деятельностью Герцена, не следить внимательно за каждым его шагом? Он не только сам прочитал все доступные ему книги великого эмигранта, но усердно знакомил с ними своих товарищей, пропагандировал их в студенческом кружке. Ему не раз случалось переписывать своей рукой герценовские статьи из зарубежных изданий. Страницы дневника говорят о том, что Добролюбов с величайшим интересом прислушивался ко всяким известиям и слухам о Герцене. Он записал историю Н. А. Мордвинова, человека, когда-то причастного к делу петрашевцев, а позднее лично знакомого с Герценом. «Он ездил по России, распространял сочинения и идеи Искандера...» Мордвинов был арестован в Тамбове, где он осмелился публично выступать с чтением запрещенных сочинений.

В другой раз Добролюбов записал свой разговор с каким-то чиновником из Вятки, который встречал Герцена в дни его вятской ссылки; чиновник подтвердил, что ни одного слова, ни одного факта не выдумано и не преувеличено в книге «Тюрьма и ссылка» (речь шла о той части книги, где Герцен описывал вятские нравы). Со слов того же чиновника восторженный почитатель Герцена записал отзывы о его наружности, выражении лица, манере вести себя.

Политическая деятельность Герцена и самая его личность были предметом постоянных размышлений Добролюбова. В мечтах о своем будущем поприще ему неизменно рисовался героический образ Искандера — борца против крепостнического царства, основателя вольной русской печати, хранителя традиций русской революции. Вспомним здесь, что и молодой Чернышевский еще в Саратове мечтал пойти по стопам Герцена.

Мысль о бедственном положении народа начинала все больше и больше волновать и тревожить Добро-

любова. Не случайными были его слова о «великих вопросах», о будущем «родной Руси», о «великом деле переворота». Страницы дневника запечатлели его обострившееся внимание к народной жизни. Он тщательно следит за всякими проявлениями недовольства, за малейшими выражениями протеста.

Страницы дневника показывают, что студент Добролюбов, которому еще не исполнилось двадцати лет, отнюдь не был кабинетным затворником, одержимым донкихотскими мечтами о подвигах; это был человек, стоявший в гуще современной жизни, знавший эту жизнь, чутко откликавшийся на ее призывы и у нее же учившийся ненавидеть зло и несправедливость.

VIII. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ В «СОВРЕМЕННИКЕ»



В новом учебном году, на третьем курсе института, с особенной силой проявились академические склонности Добролюбова — его любовь к науке, способность проникновения в изучаемый предмет. В нем складывались черты большого ученого.

По русской словесности Добролюбов взялся за изучение журнала XVIII века «Собеседник любителей российского слова». Эта работа настолько увлекла его, что далеко переросла — и по объему и по характеру изложения — рамки студенческого сочинения. Из-под пера молодого ученого выходило серьезное исследование, посвященное забытому журналу давних времен. Это исследование приобретало публицистический характер, ибо автор стремился насытить современным содержанием, казалось бы, узкоакадемическую тему. Он заглянул в старый журнал глазами нового человека — демократа и революционера.

Ему пришла мысль, что если бы соответствующим образом доработать сочинение, то его можно было бы поместить, например, в «Современнике». Этот журнал он читал теперь особенно охотно, тем более что с конца 1855 года в нем начала печататься большая

работа Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы».

Добролюбов уже слышал его имя. Оно стало известно еще в прошлом году, когда Чернышевский защищал свою диссертацию на степень магистра — «Эстетические отношения искусства к действительности». Добролюбов тогда же прочел диссертацию; он с большим интересом относился к новой эстетической теории и ее манифесту, провозглашенному Чернышевским. Диссертация, в которой доказывалось, что прекрасное есть жизнь и что искусство должно быть орудием общественной борьбы, произвела громадное впечатление на студенческую молодежь: разговоров о ней было очень много. Добролюбов слышал, вероятно, и о том, что хорошо известный ему Давыдов пытался встать на пути Чернышевского, — в литературных кругах рассказывали, что почтенный академик, познакомившись с диссертацией, бегал к министру Норову с доносом, торопясь предупредить его о появлении нового опасного вольнодумца. Но, кроме всего этого, Добролюбов знал об авторе «Очерков» из более близкого ему источника — из восторженных рассказов студента Николая Турчанинова, который учился у Чернышевского еще в Саратовской гимназии, где тот преподавал по окончании университета. Теперь Турчанинов продолжал знакомство с Чернышевским, бывал в его доме.

Судя по всему, Добролюбов начал помышлять о том, чтобы отнести свою большую статью Чернышевскому. Чтение «Очерков гоголевского периода» могло только укрепить его в этом намерении. В конце марта 1856 года, обсуждая вопрос о предстоящей поездке в Нижний на каникулы, он писал тетке: «А может быть еще напечатают одно мое сочинение, которое я кончу в следующем месяце, и за него дадут рублей 50—60...»

Весной у него появилась еще одна работа, требовавшая много усидчивости и времени: профессор Срезневский попросил лучшего своего студента заняться сличением нескольких древних рукописей, которые он готовил к изданию. Это были древние славянские переводы известной хроники византийского историка Ге-

оргия Амартола. Тяжелый, кропотливый труд, отнимавший много времени, показался Добролюбову совершенно бесполезным, отвлеченно-академическим, никому не нужным. Поработав некоторое время довольно усердно, он в конце концов пришел к печальному выводу. «Георгий Амартол просто дурак, которого издавать не стоит, а переписчики его — болваны, которых совсем нет надобности сличать. Я жалею, что взялся тратить время на такое бесплодное занятие...» — так писал он одному из товарищей.

Тем временем очередные каникулы приближались, а Добролюбов еще не знал — ехать или не ехать ему в Нижний. Поразмыслив, он все-таки решил провести каникулы в Петербурге, хотя и знал, что это очень огорчит сестер. Он писал Антонине: «У меня предположено много дела на каникулы. Чтобы выполнить некоторые планы в будущем, я должен, во-первых, хорошо знать языки французский и немецкий. Французский я знаю теперь так, что понимаю всякую книгу и всякий разговор... но немецкий еще я знаю мало, так что и книги читаю только с лексиконом. В эти вакации я хочу заняться немецким языком... Вот видишь ли, какое важное дело меня удерживает. Кроме того, у меня здесь, если не будет уроков, то будет ученая работа, за которую могу я выработать рублей 100 серебром в продолжении каникул...» (эта работа также была предложена Срезневским).

В письме же к двоюродному брату Николай Александрович сообщал и о других, может быть еще более серьезных, причинах, заставивших его остаться в столице на время каникул: «...Самое важное, — писал он, — в Нижнем я боялся перессориться со многими из благодетелей... Нужно было всем им кланяться в ножки, целовать ручки, ласкаться по-собачьи, уверяя, что по гроб обязан, тогда как в душе чувствуешь только невыносимое презрение. А это для меня так тяжело теперь, что я готов откупиться от этого всем блаженством будущей жизни». В этих словах нашла выражение та ненависть к нижегородскому духовенству и обывателям, которая давно уже положила рубеж между Добролюбовым и породившей его средой.

Итак, он решил не ехать на родину и, покончив с экзаменами, принялся за дела. Их было очень много: и языки, и Амартол, и статья о «Собеседнике», которую он решил приготовить для печати, и многое другое. Как только начались каникулы, Измаил Иванович Срезневский предложил своему любимому студенту поселиться на лето в его квартире.

Уезжая, Измаил Иванович поручил ему вести вместо себя корректуры ученых записок, издававшихся Академией наук (под редакцией Срезневского), и составить указатель к ним, за что Добролюбов должен был получить деньги — первый свой гонорар. Из писем Срезневского к Добролюбову видно, что профессор дорожил его знаниями, считался с его мнениями по научным вопросам. Помимо всего прочего, Добролюбову предстояло разобрать и привести в порядок обширную библиотеку Измаила Ивановича (он попросил его об этом перед отъездом).

Занимаясь разбором книг, Добролюбов удивлялся тому, как богато представлена здесь славянская филология, чешская, сербская, болгарская литература (это была специальность Срезневского). Но когда дело дошло до русской литературы, удивление его уступило место ужасу: здесь не было не только Лермонтова и Кольцова, но даже Карамзина (за исключением «Истории»), Державина и Ломоносова. Пушкин и Гоголь оказались только в новых изданиях — значит, до прошлого года и их не было. «Мертвые души» профессор брал читать из академической библиотеки, о чем свидетельствовала расписка, найденная между книгами. Добролюбов был поражен и огорчен этим. Для него, воспитанного на прогрессивных идеях русской литературы, то или иное отношение к ней служило характеристикой человека, мерилом его достоинств. Равнодушие к лучшим отечественным писателям говорило о том, что его профессор далек не только от литературы, но вообще от современных вопросов, от идейной борьбы. Правда, неожиданно для себя Добролюбов обнаружил в бумагах Срезневского довольно много запретных поэтических произведений, которые не могли быть напечатаны и ходили по рукам в списках. Среди

них были «Демон» и «На смерть поэта» Лермонтова, стихи о новгородской вольнице. Попалось здесь и переписанное женой профессора стихотворение «Русскому царю».

Размышляя по поводу этого, Добролюбов сделал в письме к Турчанинову такое любопытное замечание: «Срезневский оказывается человеком весьма добродушным и благородным. Я даже думаю, что он был бы способен к некоторому образованию, если бы не имел такой сильной учености в своем специальном занятии и если бы в сотнях своих статеек не находил точки опоры для своего невежества в вопросах человеческой науки». Эти слова характерны для Добролюбова. Его раздражала приверженность ученого к «чистому» академизму, далекому от жизни. Под «невежеством в вопросах человеческой науки» он, конечно, разумел равнодушие к общественной борьбе, аполитичность. Термин «образование» («был бы способен к некоторому образованию») на условном языке, понятном для друзей Добролюбова, обозначал интерес к политике, способность стать на сторону передовых людей, разделить демократические взгляды. Впоследствии, бывая в кружке Срезневского, где собирались многие тогдашние ученые, Добролюбов неизменно иронизировал над их академической отрешенностью от «современных вопросов».

* * *

У профессора Срезневского довольно часто бывал Николай Гаврилович Чернышевский, его бывший ученик, теперь один из руководителей «Современника». Однажды, еще в начале 1855 года, Измаил Иванович рассказал ему, что с двумя студентами Педагогического института, где он читал лекции, стряслась беда: у них были найдены заграничные издания Герцена, и директор хочет предать это дело огласке, что, конечно, погубит студентов. Им угрожала Сибирь.

Срезневский говорил, что одного из этих студентов, по фамилии Щеглов, ему жаль, как было бы жаль всякого погибающего молодого человека; но это юноша посредственный и даже скорее плохой, чем хороший;

СОВРЕМЕННИКЪ

1856

№ VIII АВГУСТЪ

Санктпетербургъ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ГЛАВНАГО ШТАБА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ

Титульный лист журнала «Современник», в котором появилась первая статья Добролюбова.

другой же, по словам профессора, был человек необыкновенно даровитый, благородный и не по летам образованный. Он назвал и его фамилию, прибавив, что профессора института пытаются убедить Давыдова переменить гнев на милость и не раздувать историю.

Так Чернышевский впервые услышал о своем будущем друге и соратнике. Он уже успел забыть его имя, когда года через полтора о нем напомнил студент Николай Турчанинов, бывший ученик Николая Гавриловича по саратовской гимназии, юноша, отличавшийся, по его словам, «благородным характером и возвышенным образом мыслей».

Турчанинов, как и многие другие саратовцы, часто бывавший у Чернышевского, однажды пришел с толстой рукописью в руках и сказал, что его товарищ Николай Добролюбов просит посмотреть, не годится ли эта статья для «Современника».

Когда через несколько дней Турчанинов пришел снова, рукопись была уже прочитана, и Чернышевский сказал ему:

— Статья хороша, она будет напечатана в «Современнике», и я прошу передать автору, чтобы он побывал у меня.

Можно представить себе, как билось сердце Добролюбова, когда он шел в первый раз к самому Чернышевскому! Но волнение его быстро прошло. Чернышевский оказался очень простым, радушным и выглядел очень молодо — ему с трудом можно было дать его двадцать восемь лет. Он был небольшого роста, худощавый, белокурый, даже чуть рыжеватый, с умными, добрыми голубыми глазами, в золотых очках. По словам современников, в его облике было что-то влекущее и располагающее, в нем чувствовалась особая душевная мягкость и в то же время какая-то нервная сила, которая подчиняла ему.

Он встретил Добролюбова как давнего знакомого, поил его чаем, расспрашивал. Сам говорил мало, но задавал вопросы, стараясь выяснить взгляды и понятия студента, узнать, что он думает о том, о другом, о третьем. Статья о «Собеседнике» так понравилась

Чернышевскому, в ней так ярко сказалось выдающееся дарование автора, что он решил привлечь его к работе в журнале. После долгой беседы, убедившись, что не ошибся в выборе, Чернышевский, наконец, сказал:

— Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Современника»; теперь вижу, что вполне подходят. Я скажу Некрасову, что вы будете постоянным сотрудником журнала.

Добролюбов давно уже понял, почему ему задано так много вопросов. И он рассказал Чернышевскому о своих домашних делах, о смерти родителей, о тяжелом положении сирот. Потом он дошел до института, описал свое положение там, вражду с Давыдовым, упомянул и об обыске, во время которого были найдены и крамольные стихи и запретные заграничные издания.

— Так это были вы, Николай Александрович, вот оно что! — воскликнул Чернышевский, сразу вспомнив рассказ Срезневского. — Тогда ничего не выйдет сейчас из вашей журнальной работы, хотя я и очень нуждаюсь в помощнике. Эту статью мы, конечно, поместим — постараемся утаить ее от Давыдова. Но больше не годится вам ничего печатать в «Современнике», пока не кончите курса. Беда вам будет, если Давыдов узнает, что вы сотрудничаете в нашем журнале...

Чернышевский хорошо знал, что представляет собой директор Педагогического института. Еще совсем недавно академик Давыдов и реакционная профессура хлопотали о том, чтобы ему не было присуждено звание магистра. Вот почему Чернышевский сразу понял, что участие в «Современнике» может погубить студента, и без того уже испортившего свою политическую репутацию в глазах начальства.

Они просидели до глубокой ночи, до третьего часа, и расстались друзьями. Счастливый и взволнованный возвращался Добролюбов тихими ночными улицами к себе на Васильевский. Наверное, он не спал в ту ночь совсем: ведь было ясно, что в его жизни открылась новая страница...

Чернышевский тоже был под впечатлением нового знакомства. Несмотря на молодость Добролюбова, он понял, какую силу приобретает в его лице «Современник». И он радовался появлению союзника, единомышленника и друга.

Статья Добролюбова, положившая начало его работе в «Современнике», появилась в августовской и сентябрьской книжках журнала (1856 г.). Она была подписана псевдонимом, образованным из последних слогов имени и фамилии автора: *...лай...бов.* Этой подписи (Н. Лайбов, Н.-бов) вскоре суждено было приобрести громкую известность в русской журналистике

Несмотря на свою, казалось бы, академическую историко-литературную тему — подробный анализ одного из журналов XVIII века, — статья Добролюбова отличалась публицистической остротой и во всех своих принципиальных положениях совпадала с позицией «Современника» в литературных вопросах. В то же время в оценке литературно-общественных явлений прошлого автор резко расходился с их общепринятой трактовкой, установившейся в академической науке.

На первых же страницах Добролюбов со всей резкостью, на которую только был способен, обрушился на представителей этой схоластической «науки», оторванной от жизни и чуждой массе читателей. Он жестоко высмеял критику, которая забыла о своих прямых задачах, перестала влиять на судьбы литературы и погрузилась в тесный мир библиографических подробностей, интересных разве лишь немногим специалистам. «...В каком доме бывал известный писатель, с кем он встречался, какой табак курил, какие носил сапоги..., на котором году написал первое стихотворение, — вот важнейшие задачи современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений...» — с иронией писал Добролюбов.

Высмеивая «библиографическое» направление в критике, то есть, по сути дела, выступая против лож-

ноакадемической дворянско-буржуазной науки, он заявлял: «позвольте же мне более уважать критика, который дает нам верную, полную, всестороннюю оценку писателя или произведения, который произносит новое слово в науке или искусстве, который распространяет в обществе светлый взгляд, истинные благородные убеждения... И долго будет в обществе отзываться звучный, ясный голос этого критика, долго будет чувствовать народ благотворное влияние его убеждений, его горячей, смелой, задушевной проповеди».

В сущности, Добролюбов рисовал здесь образ Белинского, говорил о его благородной деятельности. Это была программа и самого Добролюбова, давно намеченная им для себя.

За внешней академичностью и сухостью добролюбовского исследования мы ощущаем революционную устремленность критика; его оценки явлений далекого прошлого насыщены политическим темпераментом бойца-шестидесятника. Замечательна та последовательность, с которой он дает отпор крохоборческой «библиографической» критике, тот сарказм, с которым он рисует литературную деятельность Екатерины II, возглавлявшей «Собеседник». Портрет императрицы, кокетничающей своим знакомством с вольнодумцами Западной Европы и в то же время панически боящейся проникновения этой гибельной «заразы» в Россию, нарисован Добролюбовым яркими сатирическими красками.

Тонко маскируя смелые мысли, искусно обходя цензуру, Добролюбов в своей статье раскрывает перед читателем дворянско-помещичий характер литературы екатерининского времени, показывает беззубость тогдашней сатиры, бесплодность ее обличений, не выходящих за пределы дозволенного императрицей. Самые предметы обличения — французское воспитание, плохие стихотворцы, женское легкомыслие — говорят о том, что действительные и главные пороки крепостнического общества не пользовались вниманием сатириков. Да и можно ли искать у них настоящих обличений, спрашивает критик, если на страницах «Собеседника» «нет почти ни одного произведения, в кото-

ром бы как-нибудь, кстати или некстати — все равно, — не выразились чувства благоговения к государыне», причем именно «сатирики особенно отличались этим, и даже чем острее, чем резче была сатира, тем с большим чувством говорилось в ней о благодеяниях, изливаемых на народ императрицей».

* * *

Статья о «Собеседнике», по словам И. И. Панаева, поразила читателей «своим здравым взглядом и едкой иронией. Статья эта наделала шум. Она была прочтена всеми. «Какая умная и ловкая статья!» — восклицали люди, никогда не обращавшие никакого внимания на литературу... «Скажите, кто писал эту статью?» — слышались беспрестанные вопросы...»

Первое выступление Добролюбова немедленно вызвало отклики в лагере, враждебном «Современнику»: в ближайшем (октябрьском) номере журнала «Отечественные записки» появилась громадная статья А. Галахова, известного составителя популярных хрестоматий по литературе и педагогике, который поставил своей целью доказать «односторонность или неверность выводов» г. Лайбова, относящихся к «Былям и небылицам» Екатерины II. «Отечественные записки», руководимые буржуазным дельцом А. А. Краевским, таким образом решили дать бой «Современнику», лицемерно спрятавшись за такой вопрос, который трудно было обсуждать в печати: речь шла о значении общественно-литературной деятельности императрицы.

Добролюбов отнюдь не склонен был преувеличивать ее заслуг, — наоборот, в своей статье он всячески старался показать ничтожество литературных опытов Екатерины и связать беспомощность тогдашних сатириков, печатавшихся в «Собеседнике», с тем непосредственным влиянием, которое она оказывала на это издание. Характеризуя отношение императрицы к Фонвизину, Добролюбов рассказал о тех злобных и грубых окриках, которыми она ответила автору смелых и честных «вопросов», резко осудив его «свободоязычие». Вслед за этим критик писал: «Вообще нуж-

но сказать, что Фонвизин не умел вполне понять великой Екатерины и, конечно, вследствие этого, он не пользовался расположением при дворе...» А затем Добролюбов говорит о Фонвизине следующее: «Это был, конечно, один из умнейших и благороднейших представителей истинного, здравого направления мыслей в России; ...но его горячие, бескорыстные стремления были слишком непрактичны...» Проницательный читатель, умевший читать между строк, конечно, лучше либеральных историков расшифровывал подлинный смысл этого сопоставления «горячих стремлений» Фонвизина с отсутствием расположения к нему при дворе. Отлично разобралась в этом вопросе и редакция «Отечественных записок», решившая «заступиться» за Екатерину, то есть сделать провокационный выпад против «Современника», поставив его перед невозможностью отвечать своим оппонентам.

Однако «Современник» ответил, и ответил с достоинством и блеском. В конце октября, тотчас же по выходе номера «Отечественных записок», Добролюбов принес Чернышевскому свой ответ на статью Галахова. Ответ был короткий, убедительный, насыщенный убийственной иронией по адресу незадачливого апологета екатерининской сатиры. Молодой критик показал себя блестящим мастером литературной полемики. В статье неопровержимо доказывалось, что Галахов «погубил свой труд даром». Найдя повод для того, чтобы поставить критика «Отечественных записок» рядом с Иваном Давыдовым, да еще установив близость их «понятий», Добролюбов уже не церемонился со своим оппонентом. Как будто бы отдав должное его верноподданническим чувствам («вполне уважаем в г. Галахове этот благородный порыв благоговения к великой монархине»), он в то же время язвительно высмеял Галахова. Вдобавок он сумел еще раз — с помощью эзоповского языка — намекнуть на то, что его прежнее отношение к Екатерине ни в чем не изменилось.

Авторство Добролюбова и на этот раз старательно скрывали; это было тем более легко сделать, что ответ Галахову не был напечатан самостоятельно, а во-

шел целиком в обзор Чернышевского, озаглавленный «Заметки о журналах», и молва снова приписала его Николаю Гавриловичу. Ответ имел большой успех.

Надо сказать, что не только «Отечественные записки» были встревожены статьей Лайбова. Лагерь реакции явно почуял появление новой могучей силы в стане передовой русской журналистики; вот почему ее немедленно попытались скомпрометировать и по возможности обезвредить. Вслед за органом Краевского подала голос газетка «Сын отечества», заявившая, что статья Лайбова «производит неприятное впечатление, как труд человека не хорошо знакомого с предметом, который он взялся исследовать, и дурно оценившего издание, которым должна гордиться русская литература... Г. Галахов ясно и подробно указал на всю ошибочность мнений г. Лайбова и все достоинство «Былей и небылиц» [1].

Здесь полемика уже прямо свелась к необходимости поддержать репутацию Екатерины II и во что бы то ни стало опорочить автора статьи; его обвинили во всем, вплоть до невежества, хотя статья о «Собеседнике» и теперь поражает беспристрастного читателя своей научной обстоятельностью, исчерпывающим знанием предмета.

Так уже первые шаги Добролюбова в литературе были ознаменованы журнальными бурями. Три его статьи, появившиеся в «Современнике» во второй половине 1856 года (исследование о «Собеседнике», памфлет по поводу двух брошюр о Педагогическом институте и ответ Галахову), не только были замечены читающей публикой, но вызвали острую полемику, они больно задели враждебный «Современнику» лагерь и сыграли свою роль в литературной борьбе того времени. Подготовленный всем своим предшествующим развитием, Добролюбов вступил в литературу не робким учеником, а зрелым писателем-публицистом, обладающим твердыми убеждениями, своей манерой письма, своим голосом. Этот голос прозвучал свежо и сильно. Он был услышан всеми.

---

[1] «Сын отечества» № 30 от 28 октября 1856 года.



IX. БОРЬБА С «ВАНЬКОЙ»

Еще в начале лета 1856 года разнеслась молва о чрезвычайном происшествии в Педагогическом институте. В нескольких редакциях были получены по почте записки такого содержания: «В ночь с 24-го на 25-е июня сего года студенты Главного Педагогического института высекли розгами своего директора Ивана Давыдова за подлость, казнокрадство и другие наглые поступки» (24 июня был день именин директора).

А. А. Краевский, получив такое объявление с просьбой напечатать его в «Петербургских ведомостях», отправился с ним к министру просвещения. «Оказалось, — рассказывает Добролюбов в письме к Турчанинову от 1 августа, — что министр тоже получил безыменное уведомление об этом и молчал только, думая, что, кроме его, никто ничего не знает. Теперь, видя, что ничего не скрыто от света, он послал за Давыдовым, и тут произошла картина, которую, конечно, легче вообразить, нежели описать, тем более что единственными ее свидетелями были вышеописанные два действующие лица. Чем все это дело кончилось между ними, осталось неразгаданной тайной. Но на другой

день Ванька призвал старших и младших учителей[1], и опять произошла сцена, которую я и мог бы описать, да не хочу, потому что слишком отвратительно...»

«Сцена», по словам Шемановского, состояла в том, что Давыдов сказал трогательную речь, горько сетуя, что иногда на людей заслуженных, осыпанных царскими милостями падает дерзкая клевета. Потом он вынул пасквиль, прочел его вслух и залился слезами (на этот раз, видимо, вполне искренними). Едва удерживая слезы, он начал просить студентов письменно опровергнуть клевету.

В тот же день несколько выпускников, отличавшихся кротостью духа и относившихся к директору гораздо более терпимо, чем студенты добролюбовского курса, писали «любовное письмо» Давыдову. В простоте душевной они начали это письмо так: «Сегодня поутру Ваше Превосходительство изволили призвать нас и объявить, что его Высокопревосходительству г. министру сделалось известным, что Вас высекли студенты института; считаем долгом объяснить...» Кто-то догадался, что это будет нечто вроде новой экзекуции над «Ванькой». Пришлось писать заново. В конце концов письмо, удостоверявшее, что директора не могли высечь в силу приверженности к нему студентов, было написано, и «Ванька» отправился с ним к министру, чтобы посрамить клевету. Норов, видимо, был успокоен, тем более что Давыдов заверил его, будто все студенты пылают негодованием против неизвестного оскорбителя и в знак особой любви к директору умоляют его отпечатать для них свой портрет.

Действительно, не прошло и недели, как портрет был отпечатан, и эконом, выдававший выпускникам прогонные деньги, получил приказ навязывать им директорское изображение, вычитая за него по два целковых. Несколько человек попались на эту удочку, но большинство запротестовало, и эконому пришлось от-

---

[1] То есть студентов, только что окончивших институт со званием старших и младших учителей и еще не успевших разъехаться.

ступиться; тогда институтские надзиратели начали носить по камерам давыдовские портреты, прозрачно намекая, что студентам следует поспешить с их приобретением. Студенты же, как вспоминает Шемановский, соглашались, что портреты весьма схожи с оригиналом, но от покупки воздерживались. Вероятно, именно тогда Добролюбов написал сатирические стихи «К портрету Давыдова» (к сожалению, они не дошли до нас).

Во всем институте только два человека знали историю выдумки, столь оскорбившей директорское самолюбие. Это были Добролюбов, разославший сенсационные объявления по редакциям, и Шемановский, которому он во всем признался.

Какие же события предшествовали решению Добролюбова разослать извещение об «экзекуции» над директором?

Не будет преувеличением сказать, что в лице институтского начальства Добролюбов и передовые студенты видели воплощение худших сторон тогдашней правительственной и административной системы. Вся атмосфера закрытого учебного заведения с его казарменной дисциплиной, деспотизмом по отношению к студентам и духом ханжества была типичным порождением николаевского режима. И недаром всякое проявление недовольства институтскими порядками Давыдов без стеснения называл бунтом против правительства, не раз угрожая «бунтарям» Третьим отделением и Сибирью.

В «давыдовской вотчине» процветали казнокрадство, хищения, всевозможные ущемления студентов. Крали решительно все — от последнего повара до самого директора. И без того скромный студенческий стол становился все более и более скудным. Давыдов, по выражению Добролюбова, умел распространять вокруг себя какой-то священный страх. Он вел себя как деспотический властитель, единолично распоряжался судьбой студентов и привел в совершенный упадок хозяйственную и учебную жизнь института. В то же время ежегодные отчеты неустанно твердили о процветании учебного заведения, опекаемого Давыдовым.

И студенты негодовали по этому поводу. Они знали, что денежные суммы, предназначенные для пополнения библиотеки, употреблялись на натирание паркетных полов и прочие мероприятия, направленные к тому, чтобы придать внешний лоск институту. На оставшиеся деньги покупались сочинения самого директора в громадном количестве экземпляров. Стол, обмундирование студентов, учебные пособия — все было доведено до самого жалкого состояния.

«Мера терпения студентов, наконец, истощилась, и они вздумали восстать против злоупотреблений Давыдова... Решили... действовать путем законным. В несколько дней общими силами составили подробное и откровенное описание положения института и отослали к князю Вяземскому[1] в виде письма», — так рассказывает Добролюбов историю этой вспышки студенческого гнева в статье-памфлете «Партизан И. И. Давыдов, во время Крымской войны» (статья появилась в 1858 году в герценовском «Колоколе»). Описание института «с закулисной его стороны» было составлено, по словам Шемановского, умно и полно: это был результат не столько общих усилий, сколько энергии и решимости Добролюбова. Здесь указывались многочисленные случаи, когда студенты бросали учиться, не закончив курса, или в течение двух лет погибали от чахотки. Здесь говорилось и о том, что начальство учебных округов недовольно учителями, вышедшими из института. Почему же учиться в нем так трудно, а результаты так плохи? Потому, объяснял автор описания, что начальство притесняет воспитанников, препятствует их развитию. И идут в институт теперь только те, кому некуда деваться.

В заключение студенты просили Вяземского приехать к ним неожиданно для директора, чтобы своими глазами убедиться в справедливости их жалоб и назначить ревизию.

Через некоторое время товарищ министра действительно без предупреждения явился в институт, чем

---

[1] П. А. Вяземский незадолго до этого был назначен на должность товарища министра просвещения.

привел в изумление Давыдова. Он приехал прямо к обеду, потребовал суп, съел кусок пирога, нерешительно побродил между столами, сходил на кухню. Давыдов, усердно расшаркивавшийся перед начальством, омрачился и насторожил уши. Студенты ликовали, полагая, что Вяземский наконец-то начнет действовать. Он приезжал и еще несколько раз, недовольно посматривал на заискивающего директора, неопределенно мычал, но открыто выразить свое мнение не решался. Студенты терпеливо ждали, ждало ревизии и начальство. Но никаких перемен не было видно, хотя Вяземский и обещал кому-то, что в институте будут преобразования. Давыдов быстро ободрился: он уже понял Вяземского и обходился с ним полушутливо. Тому скоро это надоело, и он прекратил свои посещения. А одному из студентов, бывшему у него по личному делу, товарищ министра прямо признался в своей беспомощности: «Что я могу сделать с вашим Давыдовым, когда он сильнее меня!»

Студенты ждали до конца учебного года, но так ничего и не дождались. Давыдов, читаем мы в статье Добролюбова, опубликованной в «Колоколе», продолжал властвовать, кормил студентов по-прежнему дурно и на экзаменах по-прежнему переправлял профессорские отметки по своему усмотрению. В конце концов «это студентов взорвало донельзя и вызвало на штуку, не совсем хорошую», — говорит Добролюбов. Именно тогда, исчерпав легальные способы борьбы и поняв, что законным путем ничего добиться нельзя, Добролюбов решился на крайнюю меру: он написал и разослал уже известный нам «пасквиль» — лаконическое сообщение о том, что студенты высекли тайного советника и академика Ивана Давыдова. По мысли автора, это должно было скомпрометировать директора в глазах общественности и министерского начальства. Как мы видели, из этой затеи тоже ничего не вышло: честолюбию Давыдова был нанесен чувствительный удар, но удостоверение о том, что его не секли, представленное Норову, успокоило министра, и все осталось по-прежнему. Впрочем, предвидя ревизию, студентам в начале июля наняли на Неве

могутъ обращаться во всякое время въ контору мою, состоящую Рогожской Ч. въ Дурномъ переулкѣ, въ д. купчихи Коровиной.-1

10) Объявляется симъ, что Московскій купецъ Иванъ Давыдовъ Сѣченый съ большою пользою на выгодныхъ условіяхъ принимаетъ подряды, спросить возлѣ 1-го Кадетскаго Корпуса, въ квартирѣ Өедора Ильина, въ С.-Петербургѣ.

11) КЛЕЕНКА АМЕРИКАНСКАЯ, ЗАМѢНЯЮЩАЯ САФЬЯНЪ,

употребляемая для экипажей, мебели и т. п. Господамъ, желающимъ имѣть тако-

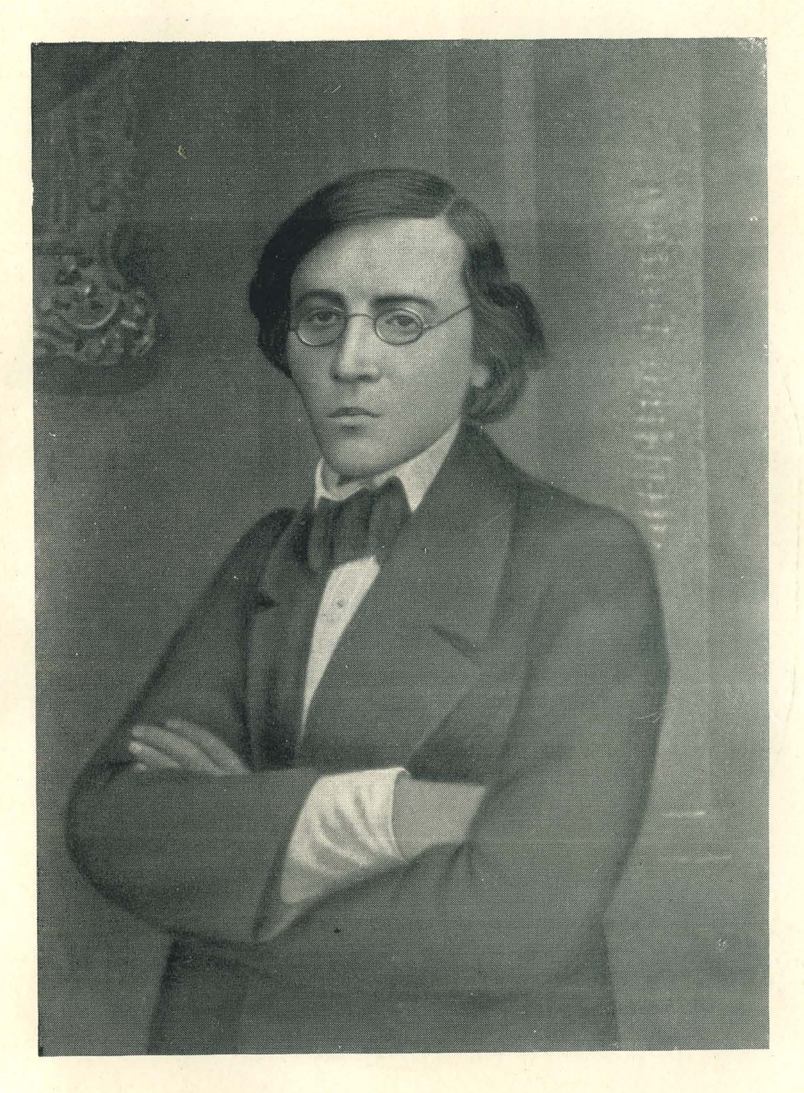
Объявление из газеты «Московские ведомости» за 15 сентября 1856 года, посвященное И. И. Давыдову.

купальню, но серьезных перемен в их жизни от этого не произошло.

Однако Добролюбов был неутомим и изобретателен в изыскании методов борьбы за то, что считал справедливым. Судя по всему, он не очень долго раскаивался в совершенном поступке, хотя и считал его «не совсем хорошим». Во всяком случае, через некоторое время, снова убедившись в прочности давыдовских позиций, он придумал еще одну «штуку». 15 сентября 1856 года в газете «Московские ведомости» появилось объявление следующего содержания:

«Объявляется сим, что московский купец Иван Давыдов Сеченый с большою пользою на выгодных условиях принимает подряды; спросить возле 1-го Кадетского корпуса, в квартире Федора Ильина, в С.-Петербурге».

Мы не знаем в точности, при каких обстоятельствах «объявление» было отослано Добролюбовым в редакцию «Московских ведомостей». Но несомненно, что этот номер газеты пользовался большим успехом в Петербурге. Шутка била прямо в цель. И кличка «Сеченый» и упоминание Федора Ильина, институт-



Н. Г. Чернышевский.



О. С. Чернышевская.

ского эконома, обладавшего большой властью и усердно занимавшегося вместе с директором «темной экономией», — все это не оставляло сомнений в том, кого имело в виду замысловатое объявление, неожиданно появившееся в правительственном органе. По воспоминаниям Шемановского, оно всех «пробудило» в институте и доставило много забавы и студентам и профессорам.

Мысль прибегнуть к помощи печати в борьбе с «Ванькой» пришла Добролюбову уже давно. Вскоре после истории с Вяземским он начал размышлять о том, чтобы использовать для этой цели начавшееся знакомство с «Современником». Правда, как мы помним, Чернышевский настойчиво предостерегал молодого автора от открытого участия в журнале, известном своим прогрессивным направлением. Но это не могло удержать Добролюбова, тем более что он был заранее уверен в поддержке Чернышевского: во всем, что касалось борьбы с мракобесом Давыдовым, «Современник» не мог не встать на сторону передового студенчества.

Чернышевский вовсе не удивился, когда Добролюбов пришел к нему с предложением печатно выступить против Давыдова и давыдовского режима. Это произошло всего через несколько недель после первого знакомства. Статья о «Собеседнике» была давно принята и должна была появиться в августовской книжке журнала. Теперь Добролюбов принес новую статью; он написал рецензию на две только что вышедшие брошюры, посвященные Педагогическому институту: «Описание Главного Педагогического института в нынешнем его состоянии» и «Акт девятого выпуска студентов... 21 июня 1856 г.». Рецензия, по выражению самого Добролюбова, была наполнена «злокачественными выписками» из этих брошюр: она была задумана как удар по Давыдову, но удар неизмеримо более серьезный, чем анонимный «пасквиль» или веселое объявление в газете. И Чернышевский, опасаясь за судьбу студента, долго колебался, прежде чем уступил его настоятельным просьбам. «Если чего не следовало для его безопасности печатать до окон-

чания им курса, то, конечно, именно такой статьи»,— писал он в своих воспоминаниях о Добролюбове.

Несомненно, редакция «Современника» была заинтересована в этой рецензии и рассматривала ее как острое политическое выступление. Именно поэтому она была помещена очень быстро — в ближайшем же номере журнала, в том самом, где печаталась принятая гораздо раньше первая часть статьи о «Собеседнике».

На первый взгляд рецензия Добролюбова не содержала в себе ничего предосудительного; в ней спокойно излагалось содержание брошюры, приводились большие цитаты из устава института. Цензор Бекетов, известный своей «либеральностью по глупости», принял все это за чистую монету и разрешил статью к печати. Добролюбов, торжествуя победу, радостно сообщал Турчанинову в письме от 1 августа 1856 года: «В «Современнике» пропущена уже статейка о нашем последнем акте, наполненная самыми злокачественными выписками из него... Разумеется, Бекетов ее не понял».

Однако, приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что «статейка», по существу, носила издевательский характер. Под искусным прикрытием из цитат и громких слов о «правдивости» институтского отчета и «совершенстве» самого института автор давал почувствовать читателям весь ужас мертвящей атмосферы, окружавшей студентов. Вначале он разбирал латинскую речь профессора Лоренца, произнесенную на торжестве по случаю девятого выпуска студентов. Речь была на тему «о том, с какой целию император Николай учредил Педагогический институт». Добролюбов иронически отмечал, что речь Лоренца «написана очень красноречивым слогом, но тем не менее в ней встречается несколько мыслей, в которых мы узнаем проницательный ум историка..» Какие же это мысли? Оказывается, Лоренц, излагая «педагогические» замыслы Николая I, между прочим, сказал, что, по мнению самодержца, главная задача воспитания состоит в том, чтобы укоренять в душе людей «страх божий» и «повиновение начальству».

Опираясь на эти слова своего профессора, Добро-

любов с невозмутимым видом дальше писал: «К достижению этих высоких целей направлено все устройство Института... Строжайший надзор и поверка всех действий студентов, предупреждение всякого случая, где бы студенты могли действовать сами по себе, подведение всех возможных случайностей под неизменные правила Устава доведены здесь до изумительного совершенства. Студенты ни в чем не предоставлены самим себе; попечительное начальство следит за ними на каждом шагу и определяет их действия до малейших подробностей...»

Все это внешне выглядело как похвала заботливому начальству. Приведя несколько примеров, рисующих его необыкновенную «предусмотрительность», Добролюбов заключал: «Из всего этого читатели могут видеть, как ревностно стремится Педагогический Институт к своей цели». Издевательский смысл имела и выраженная в конце статьи уверенность, что питомцы института в будущей деятельности окажутся достойными «места своего воспитания»: «После всего этого справедливо можно надеяться, что вышедшие из института сеятели соберут обильную жатву на поприще службы и гражданского благочиния».

Таким образом, Добролюбов подводил проницательного читателя к мысли о том, что реакционная педагогическая система и вся организация подготовки будущих педагогов губительны для молодых людей и направлены к тому, чтобы лишить их всякой самостоятельности, превратить в послушных исполнителей воли «начальства», то есть, иными словами, сделать из них покорных слуг самодержавно-полицейского государства. Таковы были действительные задачи института, поставленные перед ним его венценосным основателем и ревностно осуществлявшиеся Давыдовым.

Статья Добролюбова была первым и блестящим опытом применения эзопова языка молодым публицистом. Скрытый политический смысл его выступления, сразу разгаданный Чернышевским, обеспечил статье шумный успех в передовых общественных кругах. Имя автора, к счастью для него, осталось неизвест

ным, но не потому, что было хорошо скрыто, а главным образом потому, что молва немедленно приписала статью Чернышевскому. Он сам 24 сентября 1856 года писал об этом Некрасову, уехавшему за границу: «Статья (в библиографии) о Педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне)».

Много позднее Добролюбов узнал, что администрация института усердно разыскивала автора статьи, обращалась к Панаеву и Бекетову, пытаясь обнаружить его через редакцию или через цензуру.

* * *

Выступление «Современника» в самом деле не прошло бесследно. Это было время, когда к голосу передового журнала внимательно прислушивалось русское общество. В какой-то степени вынуждены были считаться с ним и в правительственных кругах. Поэтому рецензия Добролюбова не только произвела «эффект» среди людей, близких к «Современнику», но и повлияла на положение дел в Педагогическом институте. Шемановский прямо указывает в своих воспоминаниях, что рецензия подорвала авторитет Давыдова «и в министерстве, и в публике». Его стали бояться гораздо меньше, хотя на первых порах он и пробовал новыми угрозами удержать прежний институтский порядок. Но угрозы теперь мало помогали, студенты начали смелее отстаивать свои права; они молча выслушивали директорские речи, в которых звучали уже не только приказы, но и просьбы, а затем предъявляли свои требования, касавшиеся главным образом тех пунктов устава, которые не хотелось выполнять Давыдову. Разумеется, он еще пользовался властью, но все же атмосфера в институте несколько разрядилась, и студенчество подняло голову, ощутило свою силу.

Однако перемены начались далеко не сразу, они стали заметны только зимой последнего учебного года (1856/57). А до этого произошло еще одно столк-

новение Добролюбова с директором, которое окончательно обострило их отношения и еще более озлобило «Ваньку». Судя по всему, это было или перед самым выходом книжки «Современника» со статьей об институте, или вскоре после ее появления. Началось с того, что студенты четвертого курса, возмущенные голодным рационом, решили затеять «борьбу за стол». 25 августа Добролюбов от имени всего курса написал прошение, в котором весьма скромно предлагалось ввести некоторые меры для улучшения питания (дежурства на кухне, записи отзывов об обедах в специальной книге и т. п.). Прошение было всеми одобрено, но возник вопрос: кто подаст его Давыдову?

Долго шли споры, никто не хотел брать на себя рискованное поручение. Тогда Добролюбов не выдержал, взял прошение и сам понес его к директору. «В делах такого рода, — замечает по этому поводу Шемановский, — ...в нем являлась решимость, стремительность действий, готовность итти вперед даже и тогда, когда толпа смешалась при виде предстоящей опасности и готова уже отступить назад. Так целен, так верен с самим собой был этот человек».

Притихшие студенты долго ждали его возвращения, наконец он пришел бледный, расстроенный, со сжатыми губами. Никто не знал, что произошло в кабинете Давыдова, но было ясно, что дело плохо. Добролюбов тут же сел писать какую-то бумагу и через час отправился с нею к Вяземскому, в министерство просвещения.

Оказалось, что, наслушавшись угроз разъяренного директора, Добролюбов решил, что ему нельзя больше оставаться в институте, и написал заявление с просьбой немедленно перевести его в университет, а если это невозможно, то выпустить в младшие учителя гимназии. Заявление сохранилось, и мы теперь знаем из него о том, что произошло в директорском кабинете. Давыдов назвал прошение студентов «тяжким преступлением» и обвинил во всем одного Добролюбова. Не слушая никаких объяснений, он сказал, что давно уже следит за его возмутительным поведением и при первом же малейшем проступке против ин-

ститутских правил выгонит его из института. Мы знаем, как легко было оказаться нарушителем этих казарменных правил: для этого достаточно было не застегнуть одну пуговицу на мундире. И Добролюбов резонно писал в своем заявлении Вяземскому: «Я не могу быть уверенным, что в продолжение целого года, который остается мне провести в Институте, никогда не подам повода заметить меня в упущении какой-нибудь мелочи, особенно если за этими мелочами будут нарочито следить... Я не чувствую в себе довольно сил для того, чтобы вынести безвредно целый год такой жизни».

По словам Шемановского, Вяземскому стоило больших трудов уговорить Добролюбова отказаться от своего намерения покинуть институт. Он не принял прошения и убедил студента, что ему необходимо закончить образование, хотя бы ввиду его сложного семейного положения. Вполне вероятно, что Вяземский при этом принимал в расчет уже пошатнувшуюся репутацию Давыдова и охлаждение к нему со стороны высшего начальства. Слишком уж большую огласку приобрели служебные злоупотребления директора Педагогического института и его враждебные отношения со студентами. Институт явно приходил в упадок. Слух об этом дошел даже до провинции, где в особенности была ощутима плохая подготовленность учителей, оканчивающих институт.

В связи с этим интересно вспомнить один документ, сохранившийся в архиве Добролюбова и известный под названием «Письмо к директору Пензенской гимназии». Той же осенью 1856 года, когда в институте происходили описанные события, Давыдов получил анонимное письмо из Пензы, автор которого, выступая от имени пензенской интеллигенции, осуждал деятельность Давыдова и доказывал, что характер институтского воспитания должен быть решительно изменен «сообразно современному состоянию общества». В письме содержались также серьезные упреки по адресу окончивших институт студентов.

Давыдов собрал воспитанников и прочитал им свой ответ, обращенный к директору Пензенской гим-

назии, в котором яркими красками описывались достоинства института и отвергались все упреки по его адресу. Попутно Давыдов позаботился о том, чтобы пензенский директор имел возможность отыскать автора анонимного письма и передать его в руки жандармов; позднее стало известно, что директор справился с этой задачей: автор был найден, представлен в Третье отделение и, по слухам, сослан в солдаты на Кавказ.

Студенты были возмущены оправданиями директора и решили сами написать в Пензу. Как всегда, за дело взялся Добролюбов. Он начал писать большое письмо (сохранился только черновик его первых страниц), где объяснял, что студенты совсем не разделяют директорской точки зрения. «Студенты стыдятся, что защита их интересов досталась на долю человеку столь недостойному, и решаются сами сказать слово за себя», — писал Добролюбов. Полемизируя с ответом Давыдова, он высмеял его попытку доказать совершенства института тем, что в нем есть ученые профессора и что за 28 лет из его стен вышел десяток порядочных людей. С негодованием отвергая «жалкие, бесстыдно ложные фразы» Давыдова, Добролюбов отсылал пензенского директора к своей недавно появившейся рецензии в «Современнике», содержавшей правдивую характеристику состояния института. В полном согласии с этой рецензией, открыто развивая мысль, которая там была высказана между строк, Добролюбов доказывал, что смысл десятилетней ревностной работы Давыдова на посту директора сводился к одному: «Он хотел держать студентов как мальчиков, стараясь всего более сделать из них бессловесные, покорные, немыслящие существа...»

И как подлинный гражданин, для которого во всем и всегда на первом плане интересы его родины, Добролюбов писал здесь от имени студенчества:

«...Мы, студенты нового времени, люди молодого поколения, сами более всех видим те гадости, те злоупотребления, которыми отличается Институт в последнее время. И мы не только не оскорбляемся негодованием пензенского общества, но еще радуемся,

находя в нем сильного союзника в наших собственных усилиях к уничтожению зла. Мы всегда гласно говорили пред обществом и даже пред высшим начальством, что нынешний институтский порядок не может привести ни к чему доброму... Из этого письма министерство может увидеть, что были правы мы, а не наши ближайшие начальники, на которых одних лежит ответственность за все тяжкое, неискупимое зло, которое потерпела Россия от Института...»

«Мы, студенты нового времени...» Да, Добролюбов имел право говорить так — и не только от имени студентов, но и от имени целого поколения передовой русской молодежи, ибо он выражал ее мысли и чувства. Он становился ее вождем уже на студенческой скамье. Сколько достоинства, сколько мужественной честности звучало в его словах, когда он с горечью указывал на вопиющие недостатки института. По всей стране разъезжались педагоги — питомцы Давыдова, искалеченные дурным воспитанием, зараженные реакционной идеологией и неспособные служить делу народного просвещения так, как представлял себе это служение Добролюбов. Главную ответственность за позорное падение института нес Давыдов.

Борьба Добролюбова с ненавистным «Ванькой», еще далеко не законченная, носила в своей основе политический характер, она отражала глубокие противоречия, присущие тогдашнему русскому обществу. Это была борьба передового человека, демократа и социалиста, против одного из зубров реакции, убежденного представителя охранительной идеологии, защитника принципов казенной педагогики. В этой борьбе успели проявиться все лучшие качества Добролюбова: его честность, смелость, принципиальность — качества, с такой изумительной силой сказавшиеся в дальнейшей деятельности знаменитого критика-трибуна. В этой борьбе он испытал свои силы, приобрел опыт, пригодившийся ему впоследствии.



X. ДРУЖБА С ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Описанными событиями было ознаменовано начало последнего учебного года, который явился важным этапом в духовном развитии Добролюбова. Это был год усердных академических занятий; студентам предстояли трудные выпускные экзамены, во время которых Давыдов имел возможность — по примеру прошлых лет — отомстить тем, кто был ему неугоден. В течение этого года Добролюбов был поглощен также большой литературной работой для «Современника», с которым он сближался все больше и больше. Тесная дружба уже в это время связала его с одним из руководителей журнала — Николаем Гавриловичем Чернышевским.

«Великие вопросы» продолжали с прежней силой волновать Добролюбова. Он еще чаще, чем прежде, задумывался над судьбой своей страны, над участью ее обездоленного народа. Общественное возбуждение, начавшееся во второй половине 50-х годов, захватило целиком его страстную, жаждущую большого дела натуру. Слухи о крестьянских волнениях, разговоры о предстоящей отмене крепостного права создавали напряженную атмосферу ожидания серьез-

ных перемен в русской жизни. Записи в дневнике, относящиеся к зиме 1857 года, говорят о том, с каким обостренным вниманием следил Добролюбов за развитием «крестьянского вопроса», как близко он принимал к сердцу все, что относилось к положению народа.

Основными чертами нравственного облика Добролюбова были непоколебимое чувство долга, верность тому делу, которое он считал для себя главным и единственным. Сохранившиеся сведения о некоторых эпизодах его студенческой жизни рисуют перед нами образ человека высокой принципиальности, честности, твердости. А. Радонежский вспоминает такой случай: однажды вечером, после ужина, студенты, жившие вместе с Добролюбовым, сидели в своей камере, собираясь скоро ложиться спать. Сам Добролюбов, сдвинув на лоб очки, читал книгу. В это время вернулся из гостей один студент, считавший себя аристократом (он происходил из помещичьей семьи), и начал рассказывать новости: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян. Студент говорил об этом с оттенком неудовольствия. Добролюбов, продолжая читать, стал прислушиваться к его речи, но пока еще довольно спокойно. Когда же студент заявил, что, по его мнению, подобная реформа преждевременна для России и что его личные интересы как помещика от этого пострадают, — тут Добролюбов не выдержал. По словам Радонежского, он «побледнел, вскочил с своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собой, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестие нашей камеры!» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю».

Был и еще случай, когда Добролюбов поссорился со студентами по такому же поводу. В конце 1856 года появился правительственный указ, в котором говорилось что-то о крепостных. Не разобравшись, в чем дело, и решив, что это указ о вольности, толпы извозчиков, дворников, мастеровых бросились в сенатскую книжную лавку, где продавался указ.

Произошла давка, шум, смятение, рассказывает в дневнике Добролюбов. А вечером студенты обсуждали этот случай, и один из них, по имени Николай Авенариус, думая сострить, самодовольно заметил, что для студентов Педагогического института эта новость не может быть интересной, потому что у них нет крестьян... «Я, — продолжает Добролюбов, — видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, горячо заметил Авенариусу неприличие его выходки... Я сказал, что его острота обидна для всех, имеющих несчастие считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа гораздо ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье... Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость, ...но начало было сделано...»

Таким решительным, таким беспощадным в своей непримиримости был 20-летний Добролюбов, отличавшийся, по словам Антоновича, «непреклонной энергией и неудержимой страстью убеждений». Естественно, что авторитет его среди студенчества к этому времени вырос в огромной степени. Автор смелых политических стихов, чуть было не поплатившийся за свое свободомыслие, участник всех студенческих историй, наконец начинающий литератор, вхожий в редакцию лучшего и наиболее популярного журнала, — вот кем был в это время Добролюбов в глазах студенческой молодежи. «Каждый из нас, — вспоминает Шемановский, — уже смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу — в то время все студенты действительно любили эту могучую и талантливую натуру, а наш кружок просто-напросто гордился им. Не раз ставили его в параллель профессорам, и это сопоставление наполняло гордостью наши молодые сердца».

Б. Сциборский в своих воспоминаниях добавляет к этому, что у Добролюбова было немало и врагов, «особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось». Но даже

враги по убеждениям относились к нему, как к человеку, который стоял гораздо выше их по своей честности и по уму. Его решительно все уважали, хотя и не все любили. Не любили же за резкость приговоров и откровенность суждений, за ту прямоту, которой не переносит умеренная посредственность. Ведь Добролюбов «не скрывал никогда и ни к кому своей антипатии». Эта черта его характера проявилась с еще большей силой в позднейшие годы.

Добролюбова знали не только его однокурсники. Студент Иван Конопасевич, поступивший в институт годом позднее, рассказывал Чернышевскому, что на его курсе влияние будущего критика на умы молодежи превосходило влияние всех воспитателей и профессоров.

Особый ореол вокруг Добролюбова создавало его общение с «Современником», с Чернышевским и Некрасовым, о чем, конечно, знали студенты. «С жадным любопытством расспрашивали мы его об этих личностях, так занимавших нас и так возбуждавших к себе наши симпатии», — рассказывает тот же Шемановский.

В это время Добролюбов действительно уже мог многое рассказать своим товарищам о таком замечательном человеке, как Чернышевский. Один из его рассказов сохранился в виде большого письма к Николаю Турчанинову, уехавшему домой на каникулы. Здесь Добролюбов откровенно и подробно рассказал о своей глубокой привязанности к Чернышевскому, о своем преклонении перед ним.

Добролюбов начал часто бывать у своего нового друга, засиживаясь до глубокой ночи, иногда даже оставаясь у него ночевать. Уже 1 августа он писал Турчанинову в Саратов: «С Николаем Гавриловичем сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов был бы исписать несколько листов похвалами ему... Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему, кроме него, не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек мо-

жет примирить с человечеством людей самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но не предполагал найти. Я до сих пор не могу различать время, когда сижу у него...»

Быстро поняв друг друга, убедившись в полном единстве взглядов и мнений, они вели долгие беседы, откровенно обсуждая те самые «великие вопросы», которые стояли в центре внимания всех передовых людей той эпохи. «Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно». Если бы и не дошли до нас эти слова Добролюбова, все равно мы бы не сомневались: они говорили о крепостном праве, о тяжелом положении народа, о произволе властей, о возможности революции в России.

Эти разговоры имели большое воспитательное значение для Добролюбова. Правда, основы его революционно-демократического мировоззрения сложились еще до личного знакомства с Чернышевским, который уже при первой встрече был поражен зрелостью и самостоятельностью суждений молодого студента. Однако Чернышевскому, несомненно, пришлось сыграть немалую роль в его развитии. Добролюбов учился у него, когда читал диссертацию об эстетике и «Очерки гоголевского периода»; он продолжал учиться у него и теперь, когда в личном общении пополнял свои философические и экономические познания, а главное, углублял свое понимание жизни, укреплялся в своем революционном отношении к ней. Перед ним был живой пример человека, сознательно посвятившего себя большому общественному делу, преданного народу, проникнутого высоким пониманием идеи патриотизма. В России того времени Добролюбов не мог бы выбрать для себя лучшего учителя и воспитателя. Ведь именно Чернышевский олицетворял собой наиболее высокий уровень общественно-политического сознания эпохи, в нем на-

шли самое полное воплощение лучшие черты нового поколения передовой демократической интеллигенции, к которому принадлежал и Добролюбов.

Сам Чернышевский впоследствии настойчиво отрицал свое влияние на Добролюбова. В этом была и скромность—характернейшая черта великих шестидесятников — и напрасное опасение набросить хотя бы маленькую тень на человека, перед достоинствами которого он беспредельно преклонялся, и справедливое признание того факта, что Добролюбов в основном сформировался и установился самостоятельно. Но не подлежит сомнению, что Чернышевский очень много значил для всех, кто с ним соприкасался, не исключая и такого выдающегося человека, каким был Добролюбов. Интересное свидетельство об этом оставил Шемановский; он писал, обращаясь к Чернышевскому: «На Добролюбова может быть прямого влияния вы не имели, да на него такое влияние едва ли кто производил: он развивался вполне самобытно; но косвенное влияние, так сказать, пробуждающее, имели многие, как Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев и вы». Это утверждение будет гораздо точнее, если мы перенесем имя Чернышевского на одно из первых мест.

В упоминавшемся письме Добролюбова к Турчанинову есть такое знаменательное признание: «С Николаем Гавриловичем толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский —Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем смысле вся честь сравнения относится к Николаю Гавриловичу...»

В общении с Чернышевским, в беседах, происходивших летом 1856 года, Добролюбов приобретал ту духовную закалку, ту зрелость мысли, которая так поразительна в этом молодом человеке. Эта ранняя зрелость, несомненно, была не только результатом гениальной одаренности, но и следствием плодотворной учебы у Чернышевского и у других идейных вож-

дей передового русского общества — Белинского, Герцена, Некрасова.

Наблюдая за идейным развитием Добролюбова в этот период, мы можем обнаружить прямые следы воздействия Чернышевского. Оно заметно и в литературно-критических работах Добролюбова и в его отношении ко многим важным вопросам общественно-политической борьбы того времени. Признание правоты Чернышевского как идеолога крестьянской революции — таков был один из ярких признаков наступившей идейной зрелости молодого критика. Она сказалась также в глубоком осознании им своей духовной независимости, в том чувстве удовлетворения, какое он испытывал при мысли о полном освобождении от власти религиозных авторитетов, от веры в «незримого покровителя». Это чувство он выразил в стихах, написанных осенью 1856 года, видимо в связи со второй годовщиной со дня смерти отца:

Теперь я сам могу идти неутомимо
И действовать — не как его[1] покорный раб,
Не по его таинственным приказам,
Чрез сотни уст дошедшим до меня,
А как велит мне собственный мой разум,
Как убежден я сам, при полном свете дня.

Свидетельством идейной зрелости Добролюбова явилось также окончательное и принципиальное расхождение его со Щегловым. На первый взгляд можно подумать, что этот эпизод не имел большого значения в жизни Добролюбова, однако он показателен в том отношении, что в нем отразился процесс осознания критиком своих политических стремлений. Записи в дневнике на эту тему интересны еще и потому, что в них обнаруживается отношение Добролюбова к вопросам дружбы и товарищества.

Охлаждение между бывшими друзьями началось давно; с тех пор как стало заметно различие их взглядов, Добролюбов уже не мог относиться к Щеглову с прежней откровенностью и доверием. Он так

---

[1] Речь идет о боге.

и записал в дневнике 15 января 1857 года: «...в дружбе его я уже давно не нахожу особенной отрады». И, поясняя это, он прибавлял: «Приятно быть дружным с тем, кто нам сочувствует, кто может понимать нас, кто волнуется теми же интересами, как и мы... Мое самолюбие удовлетворяется, когда я нахожу одобрение моих мнений, уважение того, что я уважаю, и т. п.» Очевидно, всего этого Добролюбов не находил теперь в Щеглове, поэтому и дружба между ними пошла на убыль.

Что же разделило двух студентов, в чем состояло различие их убеждений? Добролюбов ответил на этот вопрос с полной ясностью: они расходились в самом главном, в определении «последних целей» своей жизненной программы. «Я — отчаянный социалист, — читаем мы в дневнике, — хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов; а он — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний... Идеал его — Северо-Американские Штаты. Для меня же идеал на земле еще не существует...»

Добролюбов, конечно, заблуждался, называя своего товарища революционером. Щеглов был типичный буржуазный фразер: недаром он находил свой ограниченный «идеал» в американской буржуазной республике, основанной на неравенстве прав и состояний. Но Добролюбов был совершенно прав, когда делал вывод, что ему, социалисту и демократу, было не по пути со Щегловым, к тому же еще отъявленным эгоистом: «...разница наших характеров и направлений все более рисуется перед моими глазами, а его своекорыстие все более меня от него отталкивает...» Интересно, что в этом разрыве также сыграл свою роль Чернышевский, отрицательно относившийся к Щеглову. Как-то раз он заметил Добролюбову, что его приятель «похож на бойкого гимназиста» и «довольно узко смотрит». Да и сам Добролюбов был возмущен заносчивостью и самодовольством Щеглова. В дневнике 28 января 1856 года по этому поводу

записано: «Своей личностью он меряет все на свете... Это, право, жалкое состояние...»

В своих суждениях о людях, в определении своих собственных стремлений Добролюбов — студент последнего курса — предстает перед нами как вполне сложившийся человек с твердыми взглядами и убеждениями. Сознание честности этих убеждений наполняло гордостью его сердце. Он радовался своей внутренней свободе, которую обрел вместе с новым мировоззрением. Перед ним ясно определилась высокая цель его жизни. Над ним не тяготела, его не подчиняла себе тяжелая, рабская мораль крепостнического общества. Вот почему так искренне звучали его слова, когда он восклицал на страницах дневника: «Что бы было из меня, если бы я не вышел из-под опеки церковной, державной и других властей?..»

Да, он вышел из-под власти старого мира и примкнул к тем, кто готовил себя для борьбы с этим миром, к лагерю новых людей, порожденных и выдвинутых общественным развитием России. У него возникла потребность размежеваться с прошлым, выяснить свои отношения с прежними друзьями И он написал письмо своему старому товарищу по семинарии Валериану Лаврскому, который учился теперь в Казанской духовной академии.

Добролюбов не встречался с ним с тех пор, как побывал в Нижнем во время первых каникул (летом 1854 года), но был уверен, что Лаврский попрежнему религиозен и далек от всяких передовых веяний; вот почему добрую половину своего письма он посвятил довольно язвительным насмешкам: «...утешаюсь надеждою, что Вы крепки в своих верованиях, что Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений...» И все же он счел нужным в этом же письме объявить своему бывшему товарищу о серьезных переменах, которые произошли с ним за те годы, что они не виделись. «Я доволен своей новой жизнью, — писал Добролюбов, имея в виду свои убеждения. — ...Я живу и работаю для себя в надежде, что мои труды могут пригодиться и другим». В этих скромных словах сквозила его излюб-

ленная мысль о необходимости слияния личного и общественного: настоящее удовлетворение человеку может доставить только такой труд, который будет полезен и нужен людям, обществу. Так всегда думал Добролюбов.

Но, не довольствуясь этим, он с замечательной правдивостью рассказал в письме к Лаврскому историю своих исканий, которые привели его к «новой жизни»: «В продолжение двух лет я все воевал с старыми врагами, внутренними и внешними. Вышел я на бой без заносчивости, но и без трусости, — гордо и спокойно. Взглянул я прямо в лицо этой загадочной жизни и увидел, что она совсем не то, о чем твердили отец Паисий и преосвященный Иеремия. Нужно было итти против прежних понятий и против тех, кто внушил их. Я пошел сначала робко, осторожно, потом смелее, и наконец перед моим холодным упорством склонились... враги мои. Теперь я покоюсь на своих лаврах, зная, что не в чем мне упрекнуть себя, зная, что не упрекнут меня ни в чем и те, которых мнением и любовью дорожу я».

Эти слова были написаны 3 августа 1856 года, после летних встреч и бесед с Чернышевским, через день после письма к Турчанинову, где было подробно рассказано об этих беседах. Добролюбов, всегда жаждавший «родной души», весь находился под обаянием личности Чернышевского и, конечно, именно его имел в виду, когда упоминал о людях, чьим мнением и любовью он дорожил. Между ними уже установилась полная взаимная откровенность и единомыслие, хотя не прошло еще и двух месяцев со дня их первого знакомства. Чернышевский приковывал внимание своего друга к вопросу о революции, рисовал перед ним перспективы будущих народных волнений, участия в них демократической интеллигенции.

В немногих строчках письма к Лаврскому Добролюбов как бы подвел итог своим идейным исканиям предыдущих лет. В последний раз он оглянулся назад и обозрел весь путь своего развития, путь, ведущий от отца Паисия к Чернышевскому. И он

имел право сказать, что достиг того, к чему стремился. Ему в самом деле не в чем было упрекнуть себя. Он хорошо понимал, что означает его окончательное и бесповоротное решение отдать себя делу общественной борьбы, делу революции. Об этом они говорили с Чернышевским. Последний предупреждал своего молодого друга о том, какие трудности ждут революционера, с какими опасностями сопряжена его деятельность. И под свежим впечатлением этих разговоров Добролюбов писал в том же письме к Лаврскому: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной мое всегдашнее неотъемлемое утешение — что я трудился и жил не без пользы...»

Поразительно, как эти слова напоминают признание Чернышевского, сделанное на восемь лет раньше и сохранившееся в его дневнике: «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства...»

Для нас должно быть ясно, что означают на языке Добролюбова слова «путь смелой правды»: речь идет о борьбе с социальной несправедливостью, о революционной деятельности. Размышления о возможной будущей гибели вовсе не случайны в это время у Добролюбова; их можно обнаружить не только в письмах, но и в дневниковых записях и в стихах. Эти размышления тесно связаны с разговорами о будущей революции, о народном восстании, о необходимости принять в нем участие. Такие разговоры постоянно велись между Добролюбовым и Чернышевским. И не потому ли теперь Добролюбов, возвращаясь к теме собственной гибели, всякий раз не забывает прибавить, что найдутся люди, которые сумеют оценить его подвиг? «Я уже успел себя очень хорошо поставить между людьми, которых уважение мне дорого, — записывает он 25 января 1857 года. — Если я сгибну, то они обо мне искренно пожалеют, и перед концом меня не будет

мучить мысль, что вот были у меня силы, да не успел я их высказать...»

Предчувствие тяжелой участи борца за правду нашло отражение и в стихах этого времени; вот начало стихотворения «Сон» (черновой вариант):

Испытанный судьбой, в тревожном сне моем
Не убаюкан я роскошными мечтами,
Все буря снится мне, все молния и гром,
Тюрьма да стон, да кровь, да изверги с цепями...

Все эти мысли и настроения — несомненный результат общения с Чернышевским, который помог молодому революционеру укрепиться на избранных им позициях. Добролюбов, как мы уже знаем, давно решил для себя вопрос об участии в будущем народном восстании против самодержавия; вспомним, что еще год тому назад он записал в дневнике знаменательные слова: «Я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!..» Но только теперь, благодаря Чернышевскому, эти слова наполнились для него конкретным содержанием, ибо Чернышевский устремил его внимание непосредственно в сторону близкого и вполне реального, как ему казалось, революционного взрыва. В кругу «Современника» Добролюбов нашел революционную среду, которая укрепила его силы и помогла им правильно развиться.

Подтверждение всего этого мы находим у самого Чернышевского, в его романе «Пролог», написанном гораздо позднее, в сибирской ссылке, и представляющем собой художественное воспроизведение событий зимы 1857 года, связанных с Добролюбовым.

Разумеется, роман не является буквальным изображением этих событий и не лишен известной доли вымысла. Но, зная художественную манеру Чернышевского, мы вправе предположить, что один из главных персонажей «Пролога» Левицкий—Добролюбов — и другие реальные лица, в том числе сам Чернышевский, изображены здесь с большой точностью. В особенности это относится к обрисовке всего, что касается отношений Добролюбова к автору романа.

И вот из «Пролога» мы узнаем, что Чернышевский не просто откровенничал с полюбившимся ему студентом, но говорил с ним о самых серьезных предметах. Он доказывал своему собеседнику, что тот должен беречь себя для большого дела, что ему не следует рисковать раньше времени, что он «еще пригодится народу». Иными словами, Чернышевский отводил ему роль народного трибуна в грядущих событиях. Мы узнаем также, какое громадное впечатление производили эти слова на Добролюбова — Левицкого: «...Я был как пьяный. Слышать от него, что я могу понадобиться народу, — можно было опьянеть». Так пишет герой романа в своем дневнике и так же, очевидно, мог бы сказать о себе его прототип — Добролюбов. Он и в самом деле так говорил, — достаточно вспомнить такие его подлинные слова: «Я... в случае нужды могу явиться сильным и свежим бойцом», — это записано в дневнике 25 января 1857 года.

В дневнике Левицкого есть и еще строки, которые должны привлечь наше внимание. Герой романа рассуждает так: «В 1830 году буря прошумела только по западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надо думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву». Такой близкой казалась революционная буря, так ждали ее и автор романа и его герой, от имени которого написан «Дневник Левицкого».

Бунтарские стихи Добролюбова, призывающие к разрушению старого мира и строительству нового на его развалинах, довершают наше представление о нем как о пылком революционере. В стихотворении, озаглавленном «На смерть особы» (январь 1857 года), он радуется по поводу появления «черного ободка» в газете: это значит, что еще один из столпов старого мира покинул жизненное поприще. И поэт восклицает:

Пируй же, смерть, в моей отчизне,
Все в ней отжившее рази.
И знамя новой, юной жизни
На грудах трупов водрузи!

Чернышевский все еще продолжал удерживать Добролюбова от активного сотрудничества в «Современнике», хотя нередко и шел на уступки. Добролюбов же все свои надежды связывал теперь только с «Современником». К концу 1856 года он уже имел основания считать себя профессиональным литератором.

В середине сентября Чернышевский передал ему свою работу для иллюстрированного альманаха, который был задуман издателем А. Т. Крыловым; надо было написать статьи о Пушкине и Державине, а времени для этого у Чернышевского не было. Кроме того, ему, очевидно, хотелось поддержать молодого литератора и нагрузить его работой, не связанной с «Современником». Добролюбов с горячностью принял заказ от Крылова. Статью о Державине он поручил Щеглову (это было еще до решительного расхождения, отмеченного в январских записях дневника), а за работу о Пушкине взялся сам.

Через две недели, точно в установленный Крыловым срок, статья была ему вручена. Она представляла собой большой популярный очерк жизни и творчества великого поэта, во многом опиравшийся на суждения Белинского. Другие авторы будущего альманаха не были столь аккуратны, и затея Крылова осуществлялась чрезвычайно медленно; книга вышла в свет только к лету 1858 года под названием «Русский иллюстрированный альманах». Статья Добролюбова была подписана здесь псевдонимом Н. Лайбов.

Некоторые страницы этой статьи кажутся нам сейчас наивными, незрелыми. Таково прежде всего обвинение Пушкина в недостатке идейности, в «легкости теоретического образования». Добролюбов, высоко ценя политическую лирику Пушкина, не умел, однако, связать его творчество с передовым общественным движением того времени — с движением декабристов.

Добролюбов чувствовал, что факты опровергают многие из тех предвзятых мнений о Пушкине, которые усердно распространяли его мнимые почитатели,

те самые «современные Ноздревы», которых позднее с такой разящей силой высмеивал Салтыков-Щедрин, утверждавший, что они для видимости поклоняются Пушкину, а на самом деле охотно пригласили бы его в полицейский участок, если бы это от них зависело... Добролюбов, размышляя над Пушкиным, всячески стремился найти в нем такие черты, которые были не по душе литературным Ноздревым. Он подчеркивал его враждебное отношение к «свету», его «настроение вечного беспокойства»; он с удовлетворением указывал на чувство гражданского самосознания, выраженное в «Памятнике», а в том факте, что Пушкин подсказал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», видел доказательство серьезного понимания поэтом интересов и нужд русского общества.

В своих положительных оценках молодой критик сумел найти для характеристики Пушкина сильные и свежие слова, свидетельствовавшие о проникновенном понимании его творчества, о беспредельном уважении и любви к поэту. Вот что писал в своей статье Добролюбов:

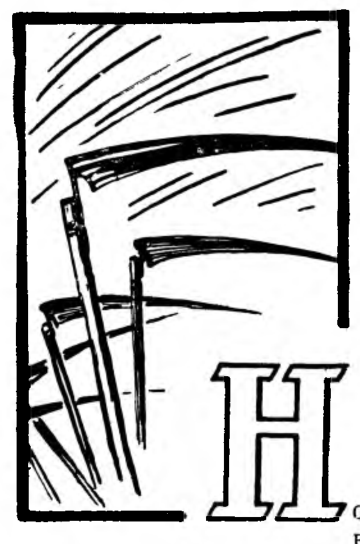
«Значение Пушкина огромно не только в истории русской литературы, но и в истории русского просвещения. Он первый приучил русскую публику читать, и в этом состоит величайшая его заслуга. В его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир. Все были очарованы, все увлечены мощными звуками этой неслыханной до тех пор поэзии... И Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь... В этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства...»

Трудно поверить, что человека, написавшего эти слова, обвиняли в том, будто он ненавидит Пушкина. Еще при жизни критика раздавались голоса, утверждавшие, что в лучших пушкинских стихотворениях

он видит всего лишь «альбомные побрякушки». Разумеется, теперь нет нужды опровергать эти выдумки. Мысли Добролюбова о Пушкине, высказанные в его статье студенческих лет, и сегодня не потеряли своего значения, своей силы и глубины.

Ошибка Добролюбова исторически легко объяснима. В те годы вокруг Пушкина либерально-дворянской наукой было создано множество легенд, искажавших облик поэта, фальсифицировавших его наследие. Эти легенды мешали Добролюбову полностью осознать подлинный смысл творчества Пушкина. Достаточно сказать, что он принимал на веру, как нечто само собой разумеющееся, домысел о том, будто Пушкин видел в искусстве самоцель, то есть являлся поклонником теории «искусство для искусства». Достаточно напомнить, что в ту пору было распространено мнение, будто в последнее время своей жизни Пушкин, забыв тревоги молодых лет, нашел «прочное успокоение» в религии и даже «примирился» с царем. Добролюбов считал это несомненным, хотя мысль о примирении никак не вязалась с тем, что он знал о вольнолюбии, о благородстве Пушкина.

Главная же причина ошибочных суждений критика заключалась в том, что в условиях напряженной классовой борьбы конца 50-х годов он, демократ и социалист, не мог отрешиться от представления о Пушкине как о дворянском поэте, каким его пытались изобразить идеологи враждебного лагеря. В силу этого Добролюбов не мог до конца вскрыть глубоко прогрессивное содержание пушкинского творчества. Однако заслуга критика состоит в том, что в противовес реакционно-дворянской точке зрения он настойчиво стремился показать в своей статье общенациональное значение Пушкина, показать огромную его роль в истории русской культуры и литературы. И для нас сегодня существенны не слабые стороны добролюбовских суждений о Пушкине, объясняемые определенными историческими условиями, а те страницы, в которых критик приближался к правильной точке зрения.



XI. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОПАГАНДИСТ

Новый, 1857 год Добролюбов встречал у Галаховых. Он продолжал заниматься с 14-летним Алексеем и довольно часто бывал в этом доме, где его принимали гостеприимно. Однако Николай Александрович, может быть, еще острее, чем раньше, ощущал себя чужим в семье крупного петербургского чиновника и помещика. Дневниковые записи начала года пестрят критическими замечаниями по адресу С. П. Галахова и его друзей. Из этих записей видно, что Добролюбов прекрасно понимал хозяина дома и знал цену «либеральным» выходкам, которыми тот любил иногда озадачить своих гостей. Добролюбов видел достоинство Галахова уже в том, что он «хоть не говорит подлостей», как некоторые из его знакомых. «Если он и не в состоянии для правды пожертвовать тем, что имеет, то, по крайней мере, может отказаться от выгод, которые мог бы получить от подлости».

Столь же показателен отзыв о некоем Мартынове, с которым Добролюбов встречался у Галаховых. Первого января, на другой день после встречи Нового года, он с негодованием отметил в дневнике, что Мартынову свойственно «в высшей степени апатич-

ное и бессмысленное презрение к русскому народу... Он уверяет, ...что крестьян не надо учить грамоте потому, что они, как только выучатся, так своих знаний ни на что иное не употребляют, кроме ябеды...» Естественно, что среди людей с таким образом мыслей Добролюбов не мог не чувствовать себя чужим и одиноким.

Однажды за обедом у Галаховых заговорили на тему о богатстве; Добролюбов, не принимавший участия в общем разговоре, вдруг с необычайной силой ощутил всю глубину социальной несправедливости, царящей в мире. В его дневнике на другой день появилась такая запись: «...подумал я, что много есть людей, которые и мне могут позавидовать за то, что я каждый день могу есть мясо и пироги, ездить на извозчиках, иметь теплый воротник на шинели и т. п. А пожалуй, найдутся и такие, которые позавидуют даже имеющим возможность есть хлеб каждый день... Мысли эти меня очень грустно потревожили, и социальные вопросы показались мне в эту минуту святее, чем когда-нибудь».

Спустя несколько дней после обеда у Галаховых он сидел на лекции Срезневского, и вдруг по поводу какого-то слова, случайно оброненного профессором, у него «родился целый ряд идей о том, как можно бы и как хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или, по крайней мере, повернуть все вверх дном, *авось* потом *как-нибудь* получше уставится все...»

Где бы ни был Добролюбов, что бы он ни делал, с кем бы ни говорил, — мысль его всегда с железным постоянством возвращалась к «социальным вопросам». Он не забывал о них и в те минуты, когда дело касалось его личной жизни. В один прекрасный день он ощутил в себе тревожное движение сердца, напомнившее о том, что молодость всегда есть молодость. Это несказанно удивило и даже испугало его: «Странное дело: несколько дней назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера, ни с того, ни с сего, вдруг мне припала охота учиться танцовать... Чорт знает, что это такое... Как бы то ни

было, а это означает во мне начало примирения с обществом... Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я не должен убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а напротив, держаться от него дальше, питать желчь свою...»

Так сильно было развито в нем чувство долга, так беспредельна была его преданность одной идее, ставшей целью и смыслом всей жизни, что возможность хоть в чем-то «примириться с обществом», сделать ему хотя бы ничтожную уступку пугала его, как измена своему делу, своим взглядам.

И еще одна знаменательная черта окончательно сложилась в его характере — стремление распространять свои убеждения, искать и воспитывать единомышленников, союзников и «сообщников». Эта черта была всегда ему присуща; вся деятельность его в студенческом кружке носила также ярко выраженный пропагандистский характер — достаточно вспомнить газету «Слухи». Теперь же его интересы вышли далеко за пределы кружка. В последний год студенческой жизни Добролюбов сформировался как опытный пропагандист и революционный агитатор. Он сам отметил в дневнике 19 января 1857 года: «Мои убеждения могут возбуждать людей: в этом недавно убедило меня письмо Василькова, а сегодня новым доказательством послужил разговор с Александровичем...»

Добролюбов всегда помнил, что Васильков в свое время повлиял на его развитие (перед отъездом из Нижнего). Мы знаем, что между ними возникла некоторая идейная близость и взаимное понимание, что они вместе читали и обсуждали письмо Белинского к Гоголю. Потом началась переписка, несомненно носившая политический характер, — об этом говорит хотя бы тот факт, что Васильков посылал свои письма в Петербург не иначе как с «оказией», опасаясь доверить их почте; и не случайно, конечно, от этой переписки не сохранилось никаких следов. Летом 1856 года Добролюбов послал Василькову «призывное письмо», а затем «тетрадку с сочинениями Ис-

кандера». В январе 1857 года тот вернул эту тетрадку с Митрофаном Лебедевым, приехавшим в Петербург по делам; с ним же Флегонт прислал и письмо, еще раз доказавшее Добролюбову, что его убеждения могут «возбуждать людей». Прочитав письмо, он отметил в дневнике, что оно написано «не совсем определенно», но тем не менее очень многое ему объяснило. «Я не должен оставлять этого человека...» — прибавляет Добролюбов.

Разговор со студентом Александровичем, упомянутый в дневнике, касался литературных вопросов. Лежа у себя в спальне, два товарища однажды рассуждали «о чистом и о дидактическом направлении искусства». Выяснилось, что Александрович презирает «чистое», «бесцельное» искусство и целиком стоит за дидактизм (под этим словом разумелась идейная направленность искусства, его политическая тенденция), но в то же время не умеет избавиться от ложной мысли, будто дидактизм придает мертвенность и холодность поэтическому произведению. Добролюбов разъяснил недоумение Александровича так: «...дидактизм отвлеченный, головной, нужно отличать от дидактизма, перешедшего в жизнь, в натуру поэта, в инстинктивное чувство добра и правды, чувство, придающее жизнь, энергию и поэзию произведению гораздо более, нежели просто какое-нибудь чувство природы или безотчетного наслаждения красотой и т. п.».

Добролюбов выразил здесь мысль, которую позднее неоднократно развивал в критических статьях. Эта мысль поразила Александровича своей глубиной и справедливостью, и он тут же попросил позволения записать все, что высказал Добролюбов. Последний был доволен успехом своих рассуждений и, видимо, после разговора с товарищем написал статью на ту же тему, озаглавив ее «Нечто о дидактизме в повестях и романах». Статья эта осталась ненапечатанной при жизни автора, хотя она написана превосходно и дает ясное представление о литературно-критических воззрениях Добролюбова в студенческие годы. Продолжая традиции Белинского, молодой кри-

тик защищал принципы реализма и народности, доказывал, что литература только тогда приобретет серьезное значение в духовной жизни народа, когда ее произведения наполнятся живым, современным общественным содержанием, а не будут «праздными порождениями прихотливой фантазии».

В этих своих ранних суждениях о месте и значении литературы в обществе Добролюбов выступал как последовательный революционный демократ, ученик Белинского и соратник Чернышевского. Он оставался страстным пропагандистом революционных идей, когда говорил или писал на литературные темы.

К этому времени Добролюбов имел обширный круг знакомых, число которых увеличивалось с каждым днем. Он поддерживал старые связи с несколькими петербургскими семьями, знал множество студентов, причем не только из своего института, но и из университета, из Медико-хирургической академии и т. д.; он не упускал случая поговорить даже со случайно встретившимся человеком. Можно без преувеличения сказать, что Добролюбов старательно вербовал единомышленников в самых разных общественных кругах, среди самых различных людей. Всюду выступал он в качестве неутомимого пропагандиста. В дневнике нашла отражение, разумеется, только небольшая часть эпизодов, рисующих его в этой роли.

Вот примеры, относящиеся только к началу 1857 года. 7 января он зашел к студенту университета Решеткину. На другой день в дневнике появилась запись: «Этот молодой человек успешно развивается... Уважение к разумным убеждениям уже сильно в его душе. Мы толковали с ним о несоразмерности состояний, о роскоши, о браке, и он совсем не чуждается радикальных объяснений, которые я делал ему на этот счет. В глубине души он даже сочувствует им...»

Девятнадцатого января Добролюбов долго разговаривал со своим однокурсником Николаем Преобра-

женским. «Я толковал ему о необходимости стать в ближайшее соприкосновение с жизнью и обратить свою наблюдательность на жизненные интересы, а не на отвлеченные воззрения...» Эти советы характерны для Добролюбова: его все более властно охватывала жажда настоящей деятельности, он все более укреплялся в своем отвращении к «книжной сосредоточенности» и отвлеченным стремлениям.

Двадцать второго января он встретил в Александро-Невской лавре неповоротливого и гнусавого архиерея Феофила, бывшего прежде ректором Нижегородской семинарии. Добролюбов и тут не отступил от своих правил: он немедленно начал ругать преосвященного Иеремию, критиковал его распоряжения, а затем стал нападать «на произвол, на официальную формальность, пренебрежение к личности и т. п.». Чем руководствовался при этом молодой агитатор? Ведь не думал же он обратить толстого Феофила в свою веру, хотя тот и поддакивал ему и со многим соглашался? Ответ на это содержится в дневнике: «Влияния большого, конечно, мои слова не могут иметь, но все-таки, может быть, он и вспомнит их когда-нибудь...»

Шестнадцатого января к нему явился Митрофан Лебедев, только что приехавший из Нижнего, чтобы поступить на службу. Это был человек по-своему замечательный, по выражению Добролюбова. Из него не вышел поэт, хотя он и писал стихи в семинарии; зато он оказался талантливым самоучкой-изобретателем и в качестве такового придумал какое-то усовершенствование в огнестрельном оружии. Счастье улыбнулось Лебедеву: его вызвали на Сестрорецкий оружейный завод (под Петербургом), и хотя изобретение не было принято, однако ему предложили там работать.

Добролюбов с некоторым удивлением узнал об этом; он считал, что ограниченность интересов и неразвитость его бывшего товарища, а теперь и родственника (сестра Лебедева вышла замуж за дядю Добролюбова, Василия Ивановича) мешают ему стать творческим человеком. «Оно, конечно, ружье —

штука не философская, но все-таки изобретение и смирение разума как-то в голове моей не совмещались». Когда же Лебедев пришел, то Добролюбов с великой радостью прочел в его глазах «пробуждающуюся мысль». Проговорив с ним полчаса, он понял, что влияние Флегонта Василькова, с которым общался Лебедев в Нижнем, дало благотворные результаты: «Митрофан мой не то, что был прежде. Два года тому назад читал я ему стихи «Русскому царю», и он ужасался, теперь он готов и даже стремится читать все, что только может указать ему истину, и просил меня руководить его чтениями. Увидим».

Через несколько дней Лебедев получил от своего товарища книгу Герцена «О развитии революционных идей в России».

* * *

Как-то в начале января профессор латинской словесности Благовещенский, перед тем как приступить к лекции, подозвал к себе студента Добролюбова и сказал, что он порекомендовал его некоему Татаринову в качестве домашнего учителя для его пятнадцатилетней дочери. Это обрадовало и взволновало Добролюбова. Ему очень недоставало тепла, уюта, ласки. Собираясь на другой день ехать на Моховую к Татариновым, он записал: «Что, если она хорошенькая и умная девушка?.. Что, если это доброе и радушное семейство?.. В теперешнем своем настроении я рад всякой живой душе, которой мог бы говорить о своих душевных тревогах...»

В шесть часов вечера, полный надежд и опасений, он предстал перед усатым симбирским помещиком, недавно приехавшим в Петербург с женой и дочерью. После нескольких слов новый знакомый, свирепый только на первый взгляд, понравился Добролюбову. Он имел университетское образование и оказался человеком довольно свободных взглядов; в ответ на осторожные вопросы о характере будущих занятий он прямо заявил, что учитель может внушать ученице все, что считает справедливым, не стес-

няясь «ни православием, ни монархизмом». Это очень обрадовало Добролюбова, и он сказал:

— В таком случае занятия с вашей дочерью будут для меня истинным наслаждением.

Тут же выяснилось, что Татаринов, будучи сам помещиком, тем не менее «стоит за освобождение крестьян». Уважение к нему Добролюбова возросло еще больше, когда он узнал, что после столкновения с симбирским губернатором его новый знакомый был сослан в деревню и в этой связи приобрел репутацию опасного вольнодумца. Впоследствии, в конце 50-х годов, он был привлечен к работе по подготовке крестьянской «реформы» и сблизился со многими либеральными деятелями того времени; в его доме собиралось большое общество, велись разговоры на тему о предстоящем «освобождении»; случалось бывать здесь и Добролюбову, тогда уже известному публицисту, — он появлялся в этом либерально-дворянском салоне для того, чтобы узнавать самые последние новости от людей, близко стоящих к правительственному комитету по крестьянским делам

На другой день после первого знакомства Добролюбов пришел на урок к Наташе Татариновой Он встретил застенчивую, неловкую, краснеющую девушку, почти бессловесную от смущения. Мы знаем об этом не только из записей в добролюбовском дневнике, но и со слов самой Наташи. В своих воспоминаниях она так рассказывает о первом уроке:

«...Добролюбов подумал немножко, посмотрел на меня через очки и заговорил. «Как он смотрит, — подумала я, — на молодого не похож». Когда я теперь припоминаю выражение его взгляда, я нахожу, что это замечание было довольно верно. Его небольшие, не помню, серые или карие глаза смотрели совершенно спокойно, как редко смотрят глаза у молодых людей.

— Мы с вами будем заниматься словесностью, — сказал он, — вы, вероятно, уже имеете некоторое понятие о русских писателях?

У меня по обыкновению язык прилип к гортани от робости.



В. Г. Белинский



А. И. Герцен.

— Да... — прошептала я.

— Каких же писателей вы читали?

Я молчала.

— Может быть, вы читали что-нибудь из Пушкина, Лермонтова, Гоголя?

— Да...

— Что же именно?

— Все...

— Вот как! Который же из них вам больше нравится?

Я молчала.

— Пушкин, например, вам нравится?

— Да...

— Что же именно из его сочинений вам больше нравится, поэмы ли, проза ли, лирические ли стихотворения?

Я упорно молчала, потупя глаза в землю... В таком роде продолжался весь урок».

Добролюбов перестал задавать вопросы и начал свою лекцию. Больше часа говорил он о русской литературе, проследив ее развитие от древности до последнего времени. Вскоре он обнаружил, что его ученица довольно развита и начитанна. Однако ему очень долго не удавалось найти с ней общий язык. После нескольких уроков Добролюбов записал: «Наташа все молчит и только отвечает на мои вопросы, и то как будто нехотя. Бог ее знает, что нужно, чтобы сколько-нибудь возбудить ее любопытство». Он в первое время ощущал некоторую неловкость, плохо представляя себе интересы ученицы, и поэтому сам был недоволен занятиями. «До сих пор этого со мной не бывало, — читаем мы в дневнике. — Мне кажется почему-то, что и мной не совсем довольны. Ну, да чорт с ними! Буду делать по-своему, не стесняясь, потому что нужды в них никакой не имею».

И он стал «делать по-своему», то есть развивать перед юной слушательницей свои излюбленные идеи, толковать о «социальных вопросах», не считаясь с возрастом Наташи (она казалась ему ребенком). Он говорил, например, о русских народных песнях — и не упускал случая упомянуть о грубости семейных

отношений в крепостной России, о рабском положении женщины. Рассказывая о русских писателях, он также оставался верен себе: высмеивал Карамзина, который был во Франции во время революции 1789 года, но интересовался только природой; осуждал монархические тенденции у Жуковского; резко отзывался о стихах крепостника Фета и т. д. Касаясь лучших произведений русской литературы, Добролюбов говорил своей ученице:

— Я не буду вам толковать о художественных красотах, обо всем этом и без меня вы будете много слышать и читать. Я же постараюсь выяснить, какая сторона жизни выражалась в таком-то произведении, какие мысли высказал такой-то писатель, были ли у него вообще какие-нибудь мысли.

Вряд ли он возлагал большие надежды на способность помещичьей дочки к восприятию передовых мнений; скорее всего он относился к этому так же, как в случае с архиереем Феофилом; может быть, и вспомнит когда-нибудь его слова... И тем не менее вскоре он заметил, что его лекции вызывают интерес. Тогда и он почувствовал себя увереннее и проще. «Сегодня мне показалось на уроке у Татаринова, что ко мне несколько расположены... Решившись действовать по-своему, я как-то более в своей тарелке, более развязен и положителен в своих замечаниях и способе занятий, нежели я сам ожидал...»

Занятия с Наташей продолжались до самых летних каникул. Добролюбов постепенно привык к новым знакомым. После урока он нередко оставался пить чай и спорить с хозяином дома. Наташа не слушала или не понимала их разговоров, но она запомнила, что отец обычно горячился, а Добролюбов возражал ему тихим, ровным голосом, попивая чай и спокойно взглядывая из-за своих очков. Дольше восьми часов он никогда не оставался. Поднимаясь с места, он объяснял с усмешкой:

— Ведь я еще ребенком считаюсь, в девять часов обязан быть в институте, а туда идти далеко...

Кроме Татариновых и Галаховых, Добролюбов бывал в эту зиму еще в доме князя Куракина, где

занимался с двумя мальчиками — Анатолием и Борисом. Благодаря случайности мы подробнее всего знаем о его занятиях с Наташей. Но нет сомнений, что таким же страстным пропагандистом своих идей являлся он и перед другими учениками. Он был глубоко убежден, что воспитатель и должен быть прежде всего пропагандистом, человеком, способным содействовать «пробуждению свободной мысли» в своих воспитанниках. Задачу воспитания он видел в том, чтобы «мало-помалу разрушать авторитеты в душе ребенка», то есть внушать ему с ранних лет ненависть к идейно-моральным устоям старого мира, воспитывать нового человека, стойкого борца против крепостничества и всех его порождений в области экономической и духовной.

Добролюбов много размышлял над вопросами воспитания. Он внимательно следил за литературой, читал все педагогические статьи, появлявшиеся в журналах, а узнав, что издатель А. А. Чумиков начинает выпускать специальный «Журнал для воспитания», он в январе 1857 года явился к нему и предложил свои услуги.

Объясняясь с Чумиковым, Добролюбов, по всей вероятности, еще не знал, что несколько лет назад этот человек был активным пропагандистом идей Белинского, общался с членами кружка петрашевцев, разгромленного правительством. В 1851 году Чумиков, находясь в Париже, обратился к А. И. Герцену с предложением опубликовать имевшийся у него текст письма Белинского к Гоголю, строжайше запрещенный в России. Тогда же Чумиков, как установлено в последнее время, выступил в зарубежной печати с информацией о письме Белинского. В штутгартской газете «Das Ausland» 16 августа 1851 года он, впервые излагая историю этого революционного документа, писал, что его тайное распространение по всей России свидетельствует о том, что эта страна «вовсе не однообразная пустыня, как многие привыкли ее рассматривать, и что государственная власть уже не в состоянии подавить в ней проявления самостоятельной мысли». Благодаря Чумикову пламенные

строки письма Белинского впервые проникли в печать (в переводе на немецкий язык) и стали известны зарубежным читателям.

В разговоре с Добролюбовым Чумиков не произвел на него особого впечатления. Он показался ему человеком простодушным, скромным, «имеющим притязание на честность». Однако, когда Добролюбов поднял вопрос о направлении будущего журнала и насмешливо отозвался о «консерваторстве», Чумиков поддержал собеседника и сказал, что это отвечает и его убеждениям, что он собирается издавать журнал «в либеральном духе»; впрочем, Чумиков тут же, по словам Добролюбова, добавил, что подобное направление скорее заслужит сочувствие публики и, следовательно, «принесет более выгод».

Добролюбов, усмехнувшись, согласился с этим и начал сотрудничать в журнале, который в самом деле занял прогрессивные позиции в области педагогики: ратовал за необходимость обновления системы воспитания, доказывал, что «каждый простолюдин» должен учиться грамоте, выступал в защиту учителей и т. д. В журнале принимали участие видные литераторы и педагоги, в том числе знаменитый педагог К. Д. Ушинский, профессор П. Г. Редкин и др. Одним из самых активных сотрудников Чумикова стал Добролюбов. На протяжении трех лет (1857—1859) он напечатал в «Журнале для воспитания» несколько десятков статей и рецензий, посвященных главным образом детской и педагогической литературе. Эти выступления Добролюбова служили украшением журнала, сообщали ему дух боевой принципиальности и то «направление», о котором хлопотал Чумиков.

Добролюбов был непримирим ко всему, что вредило разумному воспитанию детей, ко всем, кто прививал им ложные взгляды на жизнь. Он разоблачал представителей реакционной педагогики вроде Н. А. Миллера-Красовского, автора книги «Основные законы воспитания», видевшего свою задачу в том, чтобы заставить воспитанника «повиноваться без рассуждений», то есть подавить всякое проявление

личности в ребенке. Добролюбов жестоко высмеивал Миллера-Красовского как защитника системы телесных наказаний — розог и пощечин; приведя из книги «назидательный» рассказ о том, как некий благоразумный наставник вылечил мальчика Петю от упрямства с помощью «моментального действия», критик добавляет к этому, что почтенному педагогу вполне справедливо присвоено живописное название — «рыцарь трех пощечин».

Рецензируя детские книжки, Добролюбов сурово бичевал халтуру, невежество, сюсюканье. С особенной остротой реагировал он на фальшивое освещение «социальных вопросов». Например, попалась ему в руки книжка «Праздничные досуги», где описывалось, как богатые девочки, отправляясь на прогулку, попутно осыпают благодеяниями бедных мальчиков, занятых работой. Изложив содержание такого слащаво-благополучного рассказа, Добролюбов раздраженно замечает: «Маленькое неудобство состоит только вот в чем: бедное дитя трудится, — и все-таки оно бедное; богатое дитя гуляет, — и все-таки оно богатое. К чему же ведет такая мораль?..»

Свои взгляды на воспитание и итоги собственного педагогического опыта Добролюбов наиболее полно изложил в большой статье, озаглавленной «О значении авторитета в воспитании». Он предложил ее Чумикову; однако тот не решился опубликовать статью, которая содержала смелые мысли, изложенные свободно и ярко. Статья не пошла в «Журнале для воспитания», а появилась в печати позднее — в майской книжке «Современника» (1857).

Доказывая необходимость свободного развития человеческой личности, Добролюбов обрушился здесь на тех, кто убивает в ребенке самостоятельность, приучает его к «безусловному повиновению», к слепому преклонению перед авторитетами. «Нужно привыкать к покорности», — говорят своим воспитанникам такие горе-педагоги, верные слуги отживающего строя жизни. «Таким образом, — гневно восклицает Добролюбов, — они откровенно признаются, что имеют в виду подарить обществу будущих Молчалиных».

Как же избавить общество от появления Молчалиных? Откуда возьмутся гордые, сильные люди, полные честных гражданских стремлений? Их надо воспитать, а для этого нужны разумные воспитатели и наставники. И Добролюбов рисует тип «идеального наставника», человека твердых и непогрешимых убеждений, всесторонне развитого, широко образованного, стоящего во всех отношениях выше своего воспитанника и служащего для него примером («иначе, что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду «Бог», а тому нравится уже Пушкин...»).

И особенно важно, по мнению Добролюбова, чтобы воспитатель понимал природу ребенка, ценил заложенные в ней «внутренние сокровища», то есть присущий детям «инстинкт истины» и нравственную чистоту, которая резко отличает их от взрослых. «Главное, что должен иметь в виду воспитатель, — это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего — правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, — заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды».

О таком идеальном воспитании юношества мечтал Добролюбов; он понимал, конечно, что осуществление этого идеала полностью возможно только в будущем, но в своей собственной деятельности он стремился воплотить принципы революционной педагогики, составлявшей органическую часть его общественно-философских воззрений. Пропаганда этих воззрений была, по убеждению Добролюбова, неотделима от задачи воспитания нового человека, борца за свободу народа.

* * *

Было время, когда 17-летний нижегородский семинарист тайно мечтал о «Северной Пальмире», об «авторстве», о связях с журналистами и литераторами. Прошло четыре года, и он записал в своем дневнике:

«Я решительно втягиваюсь в литературный круг и, кажется, без большого труда могу теперь осуществить давнишнюю мечту моей жизни, потерявшую уже, впрочем, значительную часть своего обаяния после того, как я посмотрел вблизи на многих из тех господ, которых бывало считал чем-то высшим, потому что сочинения их печатались...»

По сути дела, Добролюбов уже осуществил мечту своей жизни, ибо к началу февраля 1857 года, когда были написаны эти слова, он был сотрудником двух журналов, приобрел большой авторитет в различных кругах и завоевал уважение множества людей — от рядовых студентов до Чернышевского. Он успел приобрести и определенную литературную репутацию: еще не зная его по имени, враги «Современника» почувствовали появление новой силы; те «господа», глядя на которых можно было охладеть к высокому званию литератора, имели право считать, что приобрели в его лице стойкого и пламенного противника.

Известность его к этому времени была уже настолько велика, что к нему, студенту, обращались с заказами столичные издатели. «Во вторник пришел ко мне А. И. Глазунов, и мы с ним условились, что я напишу книжку к 15 марта. В задаток получил я 25 рублей». Речь шла о популярной биографии Кольцова, предназначенной для юношеского чтения. Добролюбов с увлечением принялся за работу: Кольцов еще с детства был одним из любимых его поэтов. За две недели до срока он сдал Глазунову довольно обширную рукопись; она появилась много позднее без имени автора в виде отдельной книжки с приложением 17 избранных стихотворений Кольцова и красочных иллюстраций, которые сам Добролюбов находил «очень изящно сделанными».

Образ Кольцова, поэта-самоучки, поднявшегося из самых низов народной жизни, привлекал горячие симпатии Добролюбова. Биография поэта служила для него превосходным агитационным материалом, позволяла поднять серьезные вопросы, волновавшие демократическую интеллигенцию. Самым своим появлением кольцовская муза свидетельствовала о не-

иссякаемой талантливости великого народа, придавленного вековым гнетом. Понимая это, Добролюбов посвятил вводную главу своей работы рассказу о «замечательных русских людях из простого звания». «Если мы обратимся к истории, — писал он здесь, — то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений...» Для примера он ссылается на «темного нижегородского мещанина» Козьму Минина, спасшего Россию в тяжелое время, костромского крестьянина Ивана Сусанина, архангельского мужика Ломоносова, заключавшего в себе «целую академию и университет», нижегородского мещанина Кулибина, знаменитого русского механика. Кольцов, по мнению критика, занимал видное место среди этих людей, вышедших из народа и кровно с ним связанных. Было бы ошибкой думать, что кольцовские песни замечательны только тем, что их автор принадлежал к «простому званию», — они представляли собой выдающееся явление прежде всего благодаря своей глубокой жизненной правдивости, искренности чувства, подлинной поэтичности.

Добролюбов подробно говорит о русских народных песнях, сравнивает с ними песни Кольцова.

Песня, рожденная народом, входит в литературу, обогащает поэзию. Но Добролюбов насмешливо отзывается о тех многочисленных подражателях, которые не могли понять подлинную красоту народных песен и изготовляли неумелые подделки. Эти подражатели «не хотели понять, что достоинство поэта заключается в том, чтобы уметь уловить и выразить красоту, находящуюся в самой природе предмета, а не в том, чтобы самому выдумать прекрасное. Они воображали, что природа недостаточно хороша, и что нужно *украшать* ее. Поэтому и народные песни показались им дикими и грубыми, потому что в них верно и без всяких прикрас отражается грубый быт простолюдинов...».

В этих словах верный ученик Чернышевского сформулировал главный принцип революционно-де-

мократической теории искусства, гласящий, что прекрасное есть жизнь. С точки зрения этого принципа все преимущества были на стороне Кольцова (по сравнению с Мерзляковым, Дельвигом, Цыгановым и другими «подражателями»). «В его стихах впервые увидали мы чисто русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. Его песни по своему духу во многом сходны с народными песнями, но у него более поэзии, потому что в его песнях более мыслей и эти мысли выражаются с бо́льшим искусством, силою и разнообразием...»

Эти суждения о творчестве Кольцова Добролюбов подробно развернул в своей статье, проникнутой духом воинствующего демократизма, стремлением доказать, что сила поэта состоит в его близости к народу, в умении понять нужды и чаяния народа, в верности и правдивости изображения предметов. Молодой критик издевался над теми, кто судил о народе (и даже сочинял песни от его имени), не имея понятия о подлинной жизни, зная ее только понаслышке и считая, что отличие крестьянина от всех других людей состоит в том, что он не бреет бороды, не понимает тонкости обращения и не делает визитов. Ничего не зная о тяжелом труде и великих страданиях народа, такие сочинители представляли себе мужика сидящим у ручейка и поющим чувствительные песни или сладко играющим на свирели. Совсем не то Кольцов, сам испытавший все нужды простого народа и проникшийся его мыслями, сумевший впервые в нашей поэзии правдиво показать душу русского крестьянина.

В описании жизни Кольцова Добролюбов во многом опирался на Белинского. Но, продолжая традиции своего великого предшественника, он с еще большей остротой поставил «социальные вопросы»; в соответствии с духом времени он с еще большей силой подчеркнул народность и реализм поэзии Кольцова. При этом Добролюбов отдал должное Белинскому: он рассказал о его необыкновенной проница-

тельности, открывшей большой поэтический талант Кольцова, о его благодетельном влиянии на развитие этого таланта; он также воспользовался случаем, чтобы вообще напомнить о громадном значении Белинского для всей нашей литературы. «Его слово, — писал здесь Добролюбов, — всегда имело высокую цену, принималось с любовью и доверием... Для всех вообще читателей голос Белинского был всегда силен и убедителен. Его критические статьи читались с жадностью, с восторгом, его мнения находили себе жарких защитников и последователей, хотя большая часть читателей и не знала, кто именно высказывает в журнале эти мнения. И самое это обстоятельство уже показывает, сколько ума и силы было в Белинском».

Работа о Кольцове была для Добролюбова во многих отношениях ответственным выступлением. Сам он придавал ей серьезное значение, что видно хотя бы из следующего факта: когда безыменная книжка вышла из печати, Добролюбов, тогда уже постоянный сотрудник «Современника», откликнулся на нее небольшой рецензией в «Журнале для воспитания» (1859, кн. 8). Характеризуя «дух и направление» своей работы, Добролюбов писал: «Книга о Кольцове, говоря о мужичке, проникнута сочувствием к крестьянскому сословию, к его положению, нуждам и горестям... Она признает человеческие права простолюдина и с негодованием отзывается о тех *образованных* людях, которые презирают мужика».

Именно в этом и заключался общественный смысл работы о Кольцове, написанной студентом Добролюбовым в феврале 1857 года.

К этому времени окончательно сложились его взгляды на искусство, он стал убежденным защитником принципов материалистической эстетики, разработанных Чернышевским. Мы видели, что с позиций этой эстетики он подошел к творчеству Кольцова. Характерный эпизод, также рисующий Добролюбова в качестве горячего пропагандиста новой, революционной теории искусства, произошел однажды

у Татариновых. Здесь, среди разных людей, нередко бывал М. Н. Островский, брат знаменитого драматурга. Как-то, задержавшись после урока с Наташей, Добролюбов разговорился с ним; зашел спор об искусстве, причем оказалось, что Островский стоит за «чистое» направление, возражает против утилитарности и ругает диссертацию Чернышевского. Добролюбов хотел было «воспламениться негодованием», но удержался и начал спокойно убеждать своего противника, разбирая диссертацию по пунктам.

— А как же вы хотите определить прекрасное? — говорил он. — Неужели ссылаясь на «божественный идеал», который будто бы прирожденно живет в душе художника? Разве не лучше сказать, что прекрасное есть жизнь, — так, как каждый ее понимает; ведь каждый предмет настолько прекрасен для человека, насколько он видит в нем жизнь по своим понятиям...

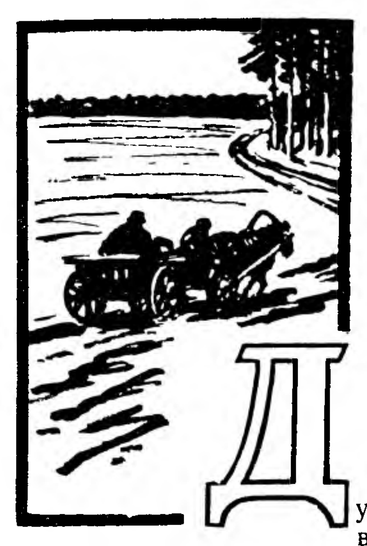
Спор продолжался довольно долго, и Островский согласился почти со всеми доводами Добролюбова в защиту теории Чернышевского. В дневнике по этому поводу записано: «Кончилось тем, что, когда нас позвали пить чай, то, идя к столу с Островским, я читал панегирик Чернышевскому. Он не возражал... Так же мирно, — продолжает Добролюбов, — покончили мы и с утилитарностью. Я сделал уступку, заметив, что сам всегда восстаю против голого дидактизма, ...а он уступил мне, согласившись, что всякое явление природы и жизни, переходя в искусство, должно непременно... осветиться сознанием, пониманием автора, должно пройти сквозь его душу, не как через дагерротип, а слиться с его внутренней жизнью...»

Если перевести этот спор на современный язык, то надо будет сказать, что, возражая против утилитарности искусства, Островский тем самым возражал против того, чтобы оно занималось решением общественных вопросов. Эти вопросы сушат и губят искусство — таков был обычный довод ревнителей его мнимой независимости от политики. Добролюбов, идя на уступку, высказался против «голого дидактизма»; он всегда считал, что не дело художника с указкой в ру-

ках объяснять зрителю свои намерения; задача писателя не в том, чтобы привесить «моральный хвостик» к своему творению, а в том, чтобы убедить читателя силой созданных образов, логикой развития действия. Добролюбов огорчался, когда ему приходилось встречать трактат или нравоучение вместо живого рассказа, психологию вместо самой души, правила морали вместо настоящей жизни. И в споре с Островским он доказывал, что мораль, тенденция, политика для того, чтобы стать искусством, должны пройти через сознание и душу художника, должны воплотиться в живые образы.

Добролюбов добился, что его противник согласился и с этим После этого ему оставалось еще доказать, что материалом подлинного искусства служат прежде всего «современные вопросы». Он справился и с этой задачей.

Так он одержал полную победу в споре с защитником «чистого» искусства. Здесь сказались и сила его убежденности и мастерство агитатора, умеющего находить неотразимые аргументы для того, чтобы внушать свои мысли людям.



XII. ОКОНЧАНИЕ ИНСТИТУТА

Духовная жизнь Добролюбова в зимние месяцы 1857 года была напряженной и бурной. Он стал литератором, педагогом, пропагандистом. Но при всем том он был еще и студентом, то есть по-прежнему ежедневно ложился спать и вставал по звонку, сидел в аудиториях, записывал лекции профессоров. Многих из них он давно обогнал по своему умственному развитию, не говоря уже об идейном кругозоре. Ему, оставившему далеко позади уровень институтской образованности и поглощенному большой литературной работой, уже имевшей серьезное общественное значение, приходилось, например, слушать лекции по истории русской словесности, которые читал профессор Лебедев, человек в высшей степени ограниченный, невежественный, ничего не понимавший в своем предмете. Можно себе представить, сколько веселых минут доставляли Добролюбову, да и другим студентам нелепые и наивные рассуждения бездарного профессора, к тому же еще явного ретрограда.

В начале нового, 1857 года Добролюбов стал записывать лекции Лебедева со своими комментариями; получилась забавная пародия, превосходно

показывающая всю глубину пропасти, отделявшей студента от профессора, который все свои познания в русской словесности «почерпнул из хрестоматии Галахова». Из добролюбовских записей, делавшихся на протяжении нескольких месяцев, видно, что Лебедев не понимал элементарного смысла самых известных произведений, а порой просто не знал их содержания; дело доходило до того, что студентам приходилось кое-что подсказывать своему профессору.

Особенно подробно Добролюбов записал лекции Лебедева о Гоголе, удивительные по своей нелепости; о повести «Невский проспект» Лебедев сказал, что она важна именно для характеристики Невского проспекта, который поразил Гоголя, как новичка в Петербурге. Картины, нарисованные в «Старосветских помещиках», произвели на Степана Сидоровича «самое успокоительное впечатление» («успокоительнее быть не может», — иронически замечает по этому поводу Добролюбов). Но больше всего нагородил профессор вокруг «Мертвых душ».

В течение нескольких лекций Лебедев толковал о поэме Гоголя, подробно перечислял действующих лиц, давал им самые странные и бессодержательные характеристики. Добролюбов терпеливо слушал все это, продолжал вести свои записи, но, наконец, не выдержал и обратился к профессору с просьбой выяснить, в чем же состоит значение «Мертвых душ» для русской литературы. Лебедев растерялся и, в свою очередь, предложил студенту вопрос:

— А кончил ли Гоголь «Мертвые души»?

Добролюбов, к удовольствию всей аудитории, уклоняясь от ответа, повторил просьбу. Лебедев продолжал настаивать на своем вопросе. В конце концов Добролюбов признался:

— Да, действительно не кончил.

Лебедев, очень довольный победой, возликовал:

— Так что же вы спрашиваете меня о значении «Мертвых душ», когда они не кончены?

Счастье Добролюбова было в том, что он вырвался из-под влияния наставников, подобных Лебедеву,

из-под власти институтских Поприщиных и Держиморд, калечивших своих воспитанников, и навсегда примкнул к другому миру, ясно определив высокую цель своей жизни.

* * *

В начале марта 1857 года Добролюбов писал, что он «задавлен и задушен» громадным количеством всяких дел. Работы у него было так много, что он совершенно запустил переписку с родными, от которых отдалился еще больше. «Заклинаю и умоляю Вас, — писал он в Нижний, — не сердитесь на меня: право, издыхаю, как собака, и все над письмом[1]. Каждый день приходится написать от 4 до 6 листов писанных... А сколько еще прочитать нужно для этого писанья... Простите меня, пожалуйста. Я теперь забываю всё и всех. К концу марта поосвобожусь немного...»

За несколько дней до этого письма он закончил книжку о Кольцове, в это же время работал над рецензиями для Чумикова («Журнал для воспитания»); занимался переводами стихов и песен Г. Гейне, который был одним из любимых его поэтов. Примерно в конце февраля Чернышевский попросил его написать о педагогических журналах для одного из тех ежемесячных обозрений, которые регулярно помещались в «Современнике» под названием «Заметки о журналах». Добролюбов написал небольшую статью, содержавшую, между прочим, довольно резкий выпад против Давыдова. Добролюбов как бы мимоходом обрушился здесь на статью своего директора, появившуюся в одном педагогическом издании; он утверждал, что эта статья представляет собой не что иное, как полное повторение мыслей, высказанных Давыдовым много лет тому назад. Критик делал отсюда резонный вывод: «Опровергать и разбирать суждения человека, который, *по поводу* новых мнений и вопросов, буквально повторяет то, что было им

[1] То есть над писанием статей.

высказано за 20 с лишком лет, — по нашему мнению, — совершенно излишне...»

Чернышевский включил обзор Добролюбова в свои «Заметки о журналах», появившиеся в апрельской книжке «Современника».

Очень много времени отнимали у него в этот год и учебные работы, кстати сказать, весьма мало похожие на обычные студенческие сочинения: из-под пера Добролюбова выходили серьезные исследования, носившие академический характер и готовые для помещения в любом научном издании. Когда профессор Благовещенский получил от Добролюбова работу «О Плавте и его значении для изучения римской жизни», он сделал на рукописи такую пометку: «Нахожу, что это превосходное сочинение вполне заслуживает печати».

Статья о Плавте, написанная после работы над переводом комедии «Aulularia» («Горшок»), выполненной еще в прошлом году, действительно отличается обстоятельностью, тщательным изучением материалов, знакомством с обширной литературой предмета.

Вторая крупная работа этого года, поданная профессору Срезневскому перед окончанием института в качестве кандидатского сочинения, представляла собой исследование древнеславянского перевода хроники Амартола, завершавшее длительный и кропотливый «мозольный труд», начатый также в прошлом году и принесший немало огорчений автору. В «Акте десятого выпуска студентов Главного Педагогического института» (СПБ, 1857, стр. 25) эта работа была охарактеризована так: «Ознакомившись с переводом хроники по трем спискам и сличив его с греческим текстом, ... автор рассмотрел особенности перевода, а вместе с тем и все, что до сих пор было сделано для объяснения вопроса об Амартоле. Он, без сомнения, пополнит и исправит свой труд, но и в настоящем виде, как отзывается профессор Срезневский, он заслуживает особенного одобрения».

Оба сочинения — о Плавте и об Амартоле — в том же «Акте» были названы «замечательнейшими

из сочинений, представленных студентами, ныне оканчивающими курс...».

Однако узкоакадемические темы этих работ, чрезвычайно далекие от жизни и от тех вопросов, которые по-настоящему волновали Добролюбова, разумеется, не могли принести ему удовлетворения. Он сидел над ними скрепя сердце, проклиная Амартола и злясь на пристрастие Срезневского к академическому буквоедству. Правда, он всячески стремился оживить мертвую тему, внести публицистический элемент в сухое, по необходимости, изложение. Но материал поддавался туго, и автору пришлось предпослать каждому из сочинений специальное предисловие, где он разъяснял свое отношение к предмету, рассуждая отнюдь не как студент, с трепетом подающий ученическую работу, а как зрелый публицист и политик. Особенный интерес представляет для нас предисловие к сочинению о Плавте, содержащее мысли, которые не имеют никакого отношения к наследию римского драматурга, но очень важны для оценки политических воззрений Добролюбова.

Он коснулся здесь вопроса о самобытности русской науки, о необходимости развивать народную культуру и обрушился на славянофилов, стремившихся отгородить Россию стеной от Европы, от опасных «наущений лукавого Запада». Добролюбов пламенно восстал против этих стремлений реакционного славянофильства, якобы защищавшего «самобытность» России, а на деле прежде всего заботившегося о том, чтобы уберечь ее от возможных революционных событий, уже сотрясавших Западную Европу. Позиция Добролюбова была противоположной. Подобно другим великим русским демократам, он был убежден, что Россия должна пойти «по пути Запада», то есть пережить благодетельную революцию. И в предисловии к статье о Плавте он писал: «Тот, кто действительно хочет, чтобы в России принялась наука серьезно, чтобы в нас выработалось свое самостоятельное воззрение, народное направление... кто в самом деле хочет этого, тот никогда не скажет нам· удаляйтесь Европы, старайтесь не верить ее ученым, ее мысли-

телям... Напротив, он скажет: учитесь, учитесь у Европы... старайтесь усвоить запас знаний, накопившийся на Западе веками, старайтесь догнать Европу и взять у нее все лучшее, оставивши только то, что в ней самой дурно...»

Эти слова были продиктованы искренним патриотическим чувством, великой болью за отсталость родной страны, желанием видеть ее сильной и свободной. Призыв революционного демократа учиться у Европы, то есть у ее передовых ученых и мыслителей, разумеется, не имел ничего общего с тем раболепством перед всем иностранным, каким были заражены господствующие классы русского общества.

Надо ли говорить, что острая полемика со славянофильством совсем не подходила к академической работе о жизни и творчестве Плавта. И Добролюбов, подавая сочинение профессору Благовещенскому, счел за лучшее не показывать ему свое предисловие.

* * *

Тем временем приближались выпускные экзамены. Добролюбов думал об этом с некоторой тревогой, но не потому, конечно, что он боялся за свои знания, — в этом отношении он был совершенно спокоен, — а потому, что перед ним вставал вопрос о дальнейшей своей участи. Согласится ли начальство оставить его в Петербурге, где по тем временам только и можно было ему применить свои силы, или постарается запрятать его в какое-нибудь захолустье, и ему придется «схоронить там себя на всю жизнь, опуститься и обрюзгнуть, надевши стеганый халат и вязаный колпак»?

Он твердо решил никуда не ехать по окончании института, тем более что Некрасов и Чернышевский звали его работать в «Современнике», просили писать «сколько успеет, чем больше, тем лучше». Но было ясно, что остаться не так просто. Он писал двоюродному брату в Нижний: «...начальство мое, после всех историй, какими я насолил ему, радо будет отправить меня в Иркутск или Колу, а никак не оставить в Пе-

тербурге. Директор уже давно порывался меня выгнать, да профессора не позволили... Так теперь я должен сам себе отыскивать место...»

Место скоро нашлось. По тогдашним правилам, студент, учившийся на казенный счет, мог получить освобождение от обязанности преподавать в учебном заведении, если он находил себе место домашнего учителя. Куракины, с детьми которых всю зиму занимался Добролюбов, выразили готовность помочь ему, то есть принять его формально в качестве постоянного учителя и тем самым дать основание для отказа от службы. Именно это и помогло Добролюбову; в течение некоторого времени он, уже расставшись с институтом, считался домашним учителем у Куракиных.

Студенты-выпускники усердно занимались, лихорадочно готовились: предстояло сдавать экзамены за все четыре года; к тому же многие не без основания ждали возможных придирок со стороны ожесточенного директора: он враждебно относился ко всему «добролюбовскому» выпуску, а исход экзаменов во многом зависел от него. Только сам Добролюбов по-прежнему спокойно сидел за своими статьями и за переводами из Гейне, не принимал участия в общей предэкзаменационной горячке. Примерно в это же время он работал над большой статьей для «Современника» — о сочинениях графа Соллогуба.

Наконец настал этот день. Экзамены начались в торжественной обстановке, в присутствии многих гостей, которым заранее были разосланы печатные приглашения с расписанием и фамилиями студентов. Все шло благополучно, выпускники сдавали предмет за предметом. Давыдов, по словам Шемановского, «вел себя как истинный джентльмен», то есть предоставлял экзаменатору и ассистенту аттестовать баллами студента, а сам даже уходил в отдаленный угол, как бы говоря этим: глядите, вот я и не суюсь!..

По окончании экзаменов, еще не зная решения своей судьбы, студенты уже ходили с радостными

лицами: судя по полученным отметкам, почти все должны были выйти из института в звании старших учителей гимназии (это была высшая степень для оканчивающих Педагогический институт). Окончания последней конференции профессоров, длившейся очень долго, ждали уже без особого волнения, а просто с любопытством. Каково же было изумление и негодование студентов, когда они узнали, что Давыдов все-таки нашел способ расправиться с ними: двенадцать человек, вопреки всем ожиданиям, получили звание младших учителей, в то время как десять из них имели право быть старшими (речь шла не только о престиже: для большинства плохо обеспеченной молодежи это был вопрос будущего заработка и служебной карьеры).

Оказалось, что Давыдов, разыграв джентльмена во время экзаменов, в то же время заготовил для каждого студента отдельные баллы по поведению и на конференции настаивал на том, чтобы звание старшего учителя давали только имеющим пятерки. Какое именно поведение Давыдов признавал заслуживающим высокой оценки — можно догадаться. Так и получилось, что десять студентов явились жертвой его мести.

На конференции особо обсуждался вопрос о Добролюбове. Директору очень хотелось дать ему звание младшего учителя, он резко отзывался о поведении Добролюбова и, по словам Срезневского, ругал его «на чем свет стоит». Но некоторые профессора и прежде всего Срезневский решительно и горячо потребовали для лучшего своего студента золотой медали. Давыдов отбивался как только мог и в конце концов вынужден был предложить серебряную. Профессора готовы были согласиться с этим, но Срезневский шумно запротестовал и твердо заявил: золотую или никакой. Кончилось тем, что Добролюбов был выпущен старшим учителем без всякой медали. В «Ведомости о поведении и прилежании студентов...», окончивших курс наук в 1857 году, ему была дана такая характеристика: «Трудолюбив, требователен, не сочувствует распоряжениям начальства,

холоден в исполнении религиозных обязанностей, заносчив, склонен к ябеде[1], подвергался аресту».

На последней конференции говорилось еще и о том, что институту предложили представить кандидата на освободившееся место учителя словесности в 4-ю петербургскую гимназию. Профессора все в один голос назвали Добролюбова. Давыдов помялся, но согласился (или сделал вид, что согласился).

В тот же день вечером Добролюбова встретил в институтской приемной Измаила Ивановича Срезневского, который рассказал ему о событиях, происходивших на конференции, и о том, как ругал его Давыдов, но тут же посоветовал сходить к нему, чтобы поточнее выяснить — обманет он насчет места в 4-й гимназии или не обманет. Для Добролюбова было очень важно узнать теперь же что-нибудь определенное, так как он уже начал переговоры с Куракиными; ему хотелось решить вопрос о своем будущем устройстве до отъезда в Нижний, о котором он уже известил родных.

Шемановский и Бордюгов одобрили намерение пойти к Давыдову для последних объяснений, и Добролюбов отправился. Директор вышел к нему мрачный и неприветливый. «Что вы?» — спросил он отрывисто, уверенный, что строптивый студент явился с претензиями по поводу не полученной им медали. Вместо этого Добролюбов вежливо сказал:

— Я должен, ваше превосходительство, поблагодарить за доброе мнение, которое вы высказали обо мне на конференции...

От неожиданности Давыдов опешил и не сразу нашелся, что ответить. Потом он начал невнятно говорить на тему о том, что Добролюбов сам виноват, если не получил большего, что к нему еще были милостивы... Студент перебил эту речь, сказав, что он ни на что не претендует, а *милостей* от начальства никогда не ожидал; теперь же ему необходимо опре-

---

[1] Подразумевается враждебное отношение Добролюбова к начальству, выразившееся, в частности, в писании жалоб и т. п.

делиться на службу... Тут Давыдов принялся доказывать, что назначение на службу в гимназию надо оправдать достойным поведением: там, дескать, не будут относиться к вам «по-отечески», как в институте, и т. п. «Рацея длилась минут десять. За нее следовало бы Ваньку выругать и дать ему в зубы, — писал позднее Добролюбов в письме к Турчанинову, — или по крайней мере повернуться к нему... и уйти с шумом. Но я ничего этого не сделал, а выслушал молча до конца; это я признаю действительно дурным поступком, за который и обвиняю себя до сих пор...»

В это время десять обиженных студентов обсуждали свое положение. Возмущение их было безгранично. Кто-то предлагал всем курсом идти к Давыдову на квартиру и бить его; кто-то советовал целым курсом жаловаться на несправедливость министру. Но все это напоминало бы бунт и было опасно, поэтому планы отвергались один за другим. В конце концов решили подать министру жалобу на неправильное решение конференции. Приступили к делу, но жалоба не клеилась; тогда попросили Добролюбова. Отчетливо понимая, что он теряет последние шансы на место в 4-й гимназии, Добролюбов в несколько минут составил нужный текст, который удовлетворил всех. В тот же день жалобу подали министру, и вскоре было назначено следствие, изрядно взбесившее Давыдова; оно тянулось довольно долго и кончилось плачевно: только один из десяти недовольных получил звание старшего учителя; некоторые студенты вообще раскаивались, что вздумали жаловаться...

Однако Давыдов взбесился еще больше, когда до него дошел слух, что бумагу составлял Добролюбов. Он вызвал студента к себе и обрушился на него с упреками в черной неблагодарности: на днях, мол, он являлся к директору *благодарить за его милости,* признавался, что не заслужил этих милостей, и обещал вести себя впредь благонравно — только бы дали местечко, — а теперь вдруг опять стал писать кляузы.

Увидев, как неожиданно и хитро истолкованы его слова, Добролюбов, по собственному признанию, перестал церемониться с директором, посмеялся ему в глаза и сказал много резкого на тему о бесчестных людях. Тогда он еще не мог предвидеть, как отомстит ему за это директор.

Чуть ли не в тот же самый день по институту распространился слух, будто Добролюбов «валялся в ногах» у директора, прося у него прощения и выпрашивая место. Давыдовские любимцы и наперсники, не терпевшие и боявшиеся Добролюбова, настойчиво заверяли всех, что так оно и было на самом деле. И тут произошло нечто странное, почти невероятное: часть студентов поверила отвратительной и глупой сплетне и отвернулась от Добролюбова. Среди поверивших были и его ближайшие товарищи, такие, как Турчанинов и Сциборский. Последний в слепой злобе против своего друга разорвал фотографию, где были сняты шесть студентов, участников добролюбовского кружка.

Нам теперь трудно понять, как могло случиться, что люди, хорошо знавшие и любившие Добролюбова, вдруг поверили явным клеветникам. Шемановский объясняет это «ненормальным состоянием духа», общей раздраженностью студентов. Некоторую роль играло здесь еще одно обстоятельство: когда товарищи приступили к Добролюбову с вопросами, с требованием рассказать, как было дело, это показалось ему обидным, и он не счел нужным оправдываться, а отвечал насмешками или не отвечал вовсе.

Позднее, в письме к Турчанинову от 11 июня 1859 года, Добролюбов, стремясь восстановить дружбу со старыми товарищами, так рассказал о своем тогдашнем состоянии: «Вы меня обвиняете в пренебрежении к Вам. Но войдите в мое положение: мог ли я поступить вполне спокойно и благоразумно тогда, когда всё вокруг меня сошло с ума и когда я сам был поставлен в такие ложные отношения ко всем и ко всему? Давыдов меня ругает и старается вредить мне за то, что я опять пишу на него каверзы; те, кому я пишу их, отказываются от своих слов и

ругают меня, зачем я писал; мои друзья, знавшие меня всегда за врага Давыдова, вдруг обвиняют меня в подличаньи перед ним Каким образом произошла эта невообразимо дикая путаница, я и теперь хорошенько не понимаю, а тогда и вовсе ничего разобрать не мог. В Ваших обвинениях, предъявленных мне так внезапно и положительно, во время нашей прогулки в саду, я, естественно, не мог в то время ничего увидеть, кроме слабодушия, допустившего Вас поверить первому вздорному слуху о человеке, которого Вы (по собственным словам Вашим) очень хорошо знали во всех отношениях и умели ценить».

И дальше, вспоминая историю своих взаимоотношений с Давыдовым, Добролюбов упрекал себя за единственную слабость, проявленную им когда-то перед директором в связи в репрессиями за стихи на юбилей Греча: «С конца второго курса, когда я сидел в карцере и писал ему умиленные письма, запуганный Сибирью и гражданским позором, — после этого я уже ни разу не унизил себя перед Давыдовым...»

Таким образом, «Ванька» все-таки сумел достичь своей цели: его грязная выдумка испортила немало крови такому самолюбивому, принципиальному и щепетильно честному человеку, каким был Добролюбов. Последние дни его пребывания в институте были отравлены. Правда, Шемановский, Бордюгов, Златовратский были в это время с ним, но они оказались бессильны повлиять на всех остальных. На его стороне было и сочувствие Паржницкого, однако он жил в это время в Казани после ссылки и многих мытарств. Добролюбов, дороживший его именем, написал ему обо всем происшедшем. Но только осенью, уже вернувшись из Нижнего, он получил ответ; Паржницкий писал ему: «Поневоле овладевает душой негодование при мысли, что бессмысленный сплетник в состоянии уничтожить согласие и доверие между людьми...»

Прошло около двух лет, прежде чем товарищи Добролюбова поняли свою ошибку.

21 июня, через несколько дней после окончания

экзаменов, в институте состоялся акт очередного выпуска. Студенты, собравшиеся в зале, довольно мрачно выслушали чтение отчета о состоянии и успехах института. Тут только узнали они о результатах «следствия» и о том, что обращение десяти выпускников к министру оказалось, в лучшем случае, бесполезным. Настроение у большинства было подавленное, и неудивительно, что выступление товарища министра просвещения князя Вяземского, заключавшего акт, студенты встретили враждебной тишиной. Обращаясь к ним, Вяземский сказал примерно следующее:

— Многие из вас, господа, отличаются беспокойным характером. В институте это терпелось, на это смотрели снисходительно. Теперь вы вступаете в жизнь, а в жизни это не терпится...

В одном углу кто-то довольно явственно произнес: «Подлец!» — и опять все стихло. Тогда Давыдов подошел к Вяземскому и поклонился ему в пояс.

Институт был окончен.

* * *

На другой день Добролюбов без всякого сожаления покинул институтские стены, в которых провел четыре года, и отправился в Нижний. Он уехал почти неожиданно: вечером, после акта, зашел к Чернышевскому и встретил там его двоюродного брата А. Н. Пыпина, впоследствии известного ученого и литератора. Пыпин собирался в Саратов и предложил Добролюбову ехать вместе на следующий же день. Обрадовавшись попутчику, Николай Александрович начал поспешно готовиться к отъезду и даже не успел попрощаться с друзьями. Позднее, посылая уже из Нижнего свои извинения Срезневскому, он шутил: «...я в Петербурге решительно ни с кем не успел проститься, ни даже с Иваном Ивановичем Давыдовым, моим благодетелем, незабвенным до конца дней моих».

Однако со своими институтскими друзьями — Шемановским, Бордюговым, также собиравшимися разъ-

езжаться, он не только попрощался и условился о переписке, но успел поговорить на весьма важные темы. По-видимому, они обсудили вопрос о какой-то пропагандистской деятельности, носившей строго конспиративный характер. Во всяком случае, в первом же своем письме к Добролюбову Иван Бордюгов, гостивший у родных в городе Змиеве (на Украине), сообщал, что он потрясен рассказами о бедствиях «несчастных крестьян», и прибавлял к этому следующие многозначительные слова: *«Касательно общего святого дела* я еще ничего не предпринимал. В Харькове я пробыл один день; но никого из прежних моих товарищей не нашел... К некоторым я отправил письма...»

Разумеется, эти слова нельзя считать случайностью. Выражение «святое дело» служило в те годы обозначением «революционного дела» и именно в этом смысле не раз употреблялось Добролюбовым.

Итак, он отправился на родину.

Встреча с родными, в особенности с выросшими за три года сестрами и братьями, была радостной; столичного гостя (он приехал в Нижний литератором!) принимали радушно. В первые дни он занимался устройством разных домашних дел и, между прочим, обсуждал с опекунами вопрос о замужестве Антонины, которой сделал предложение Михаил Алексеевич Костров, когда-то бывший его учителем. Один из мемуаристов отмечает, что в этот свой приезд на родину Добролюбов просил учителя семинарии Л. И. Сахарова сообщать ему факты административного произвола; утверждают, будто бы эти факты Добролюбов собирал для своей переписки с Герценом (Герцен имел немало корреспондентов в России, которые доставляли материалы для обличительных выступлений «Колокола», издававшегося в Лондоне). Однако других, более точных сведений об этой переписке не сохранилось.

Как только прошла радость первого свидания и были улажены домашние дела, так стало ясно, что больше ему нечего делать в родном городе: у него уже не было общих интересов с той средой, к кото-

рой он сам когда-то принадлежал, ему претили обычаи поповско-мещанского быта. «Голос крови», по его же выражению, становился почти не слышен, его заглушили «другие, более высокие и общие интересы».

«Я... окружен любезностями родных и знакомых с утра до вечера, — но странно и стыдно сказать, — признавался он в письме к Срезневскому, — мне теперь уже, — через неделю по приезде, делается страшно скучно в Нижнем. Жду не дождусь конца месяца, когда мне опять нужно будет возвратиться в Петербург. Там мои родные по духу, там родина моей мысли, там я оставил многое, что для меня милее родственных патриархальных ласк...»

Его тянуло к друзьям, к Чернышевскому, к большой деятельности, которая ждала его в Петербурге и манила к себе, суля осуществление самых заветных мечтаний. Он чувствовал в себе много сил и потому бодро смотрел вперед. Стремясь очень много сделать для родины, он с надеждой думал о будущем. И когда товарищ его Златовратский, выпущенный по прихоти Давыдова младшим учителем и отправленный служить в Рязань, прислал ему грустное, «осеннее» письмо, Добролюбов ответил ему так:

«Теперь, право, время совсем не такое... Мы с тобой еще только начинаем нашу весну... Нас ожидают наслаждения науки, мысли, правды, радости любви и дружбы... Чего нам печалиться... Не будет ли слишком много чести и радости Ваньке, ежели мы станем падать духом от единого почерка пера его... Никогда и никто не унизит нас, пока сами мы высоко себя держим, — таково мое правило...»

В конце июля он был уже в Петербурге.



XIII. ДУША «СОВРЕМЕННИКА»

В трудное, сложное время, когда подъем общественного движения окрасил своим могучим влиянием все стороны русской жизни, пришел Добролюбов в редакцию «Современника». Это было самое высокое место тогда в России, с которого можно было видеть далеко вокруг. К журналу, крепко связанному с лучшими традициями русской литературы — от Пушкина до Некрасова, — тяготело все, что было в ней передового и честного.

Великий Пушкин основал этот журнал незадолго до своей смерти. При нем здесь печатались Жуковский, Гоголь, Тютчев, Кольцов, Баратынский; сам основатель «Современника» был одним из наиболее активных его авторов. Обладая зорким глазом, заботясь о судьбах русской литературы, Пушкин собирался привлечь к работе в своем журнале молодого и еще сравнительно малоизвестного критика Виссариона Белинского. Белинский знал об этом и впоследствии с гордостью говорил друзьям, что несколько приветливых слов, сказанных о нем Пушкиным, всегда составляли лучшее утешение его жизни.

В 1847 году «Современник», после смерти Пушкина влачивший жалкое существование, перешел в руки Некрасова. С этого времени начался новый славный период его истории. Некрасов привлек к работе в журнале Белинского, который уже приобрел к тому времени широкую известность своей деятельностью в «Отечественных записках». Благодаря Некрасову и Белинскому журнал приобрел популярность в кругах демократической интеллигенции. На его страницах печатались произведения Герцена, Огарева, Тургенева, Гончарова, Григоровича и других писателей-реалистов, развивавших гоголевское критическое направление в русской литературе. Журнал отличался чуткостью по отношению к новым явлениям в литературе, вниманием к общественным вопросам и главному из них — вопросу о крепостном праве.

После смерти Белинского (1848), в годы начавшейся политической реакции, давление цензуры и вся атмосфера «мрачного семилетия» (1848—1855), беспощадно глушившая малейшие проблески свободной мысли, привели к тому, что в журнале видное место заняли представители буржуазно-дворянского либерализма — Дружинин, Боткин, Анненков, насаждавшие реакционно-эстетские взгляды. Однако и в это трудное время некрасовский «Современник» оставался самым передовым русским журналом.

К середине 50-х годов, когда начался период общественного подъема, роль «Современника» как литературно-политической трибуны стала возрастать. К этому времени (1854) относится появление в редакции журнала нового сотрудника, также привлеченного Некрасовым, — Н. Г. Чернышевского.

Чернышевский скоро занял ведущее место в критическом и публицистическом отделах журнала, придав им отчетливо выраженное революционно-демократическое направление. Однако наряду с этим художественный отдел «Современника» находился в значительной степени в руках писателей либерально-дворянского лагеря. По мере обострения классовых противоречий в стране обострялся и антагонизм между сотрудниками журнала.

Союзником и единомышленником Чернышевского был Некрасов, умевший ценить своего нового сотрудника, понимавший, что будущее принадлежит разночинцам, а не писателям-дворянам; Некрасов, правда, был связан с ними совместной работой и давней дружбой, но теперь наступало время, когда резко вырисовывались классовые симпатии и антипатии, а личные связи должны были отступить на второй план. Чернышевский и Некрасов, воодушевленные идеей крестьянской революции, не могли не разойтись с людьми, которые, как огня, боялись народного движения.

В течение некоторого времени группа дворянских писателей во главе с Тургеневым еще крепко держалась за «Современник» и составляла основную силу его литературно-художественного отдела. Эта группа с самого начала враждебно отнеслась к появлению Чернышевского в редакции. Его насмешливо именовали «семинаристом», а знаменитую диссертацию об эстетике называли «мертвечиной», имея в виду ее якобы мертвящее влияние на искусство.

Перед «Современником» остро стоял вопрос об укреплении демократической группы журнала, о воспитании писателей нового типа. В это время и появился Добролюбов с первой своей статьей, и понятна была радость Чернышевского, когда он угадал в молодом студенте талантливого критика и своего единомышленника, почувствовал в нем будущую опору в литературной борьбе. Некрасов по возвращении из-за границы (осенью 1857 года) одобрил этот выбор и согласился с предложением Чернышевского привлечь Добролюбова к работе в журнале. Это была очень ответственная и почетная деятельность для начинающего литератора. Но он уже успел себя превосходно зарекомендовать всей своей предыдущей работой для «Современника», сотрудником которого фактически был уже более года. Принято считать, что Чернышевский удерживал его от участия в журнале, и мы знаем, что он действительно пытался это делать; но мы знаем и другое: на протяжении года Добролюбов выступил с несколькими серьезными

статьями, которые были замечены читателями и даже вызвали полемические отклики в печати.

С осени 1857 года он начал работать в редакции. Чернышевский, не колеблясь, поручил ему вести важнейший отдел журнала — литературную критику и библиографию. Он сказал при этом: «Пишите о чем хотите, сколько хотите, как сами знаете. Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи». Сам Чернышевский занялся теперь исключительно историей, экономическими и научно-философскими вопросами, полностью переложив на Добролюбова осуществление литературной политики журнала. Некрасов с первых же дней стал безгранично доверять новому сотруднику; это видно хотя бы из того, что всего через несколько месяцев он сделался уже одним из членов редакции журнала.

Надо подчеркнуть громадную заслугу Некрасова, который смело привлек к работе таких молодых, начинающих журналистов, какими были Чернышевский и Добролюбов. По справедливым словам Антоновича, «Добролюбов в глазах литераторов, сверстников и друзей Некрасова был мальчишкой, не имевшим солидной подготовки... Но Некрасов... своим опытным редакторским взглядом увидел в нем драгоценного сотрудника и принял его в состав редакции».

А. Я. Панаева рассказывает, как однажды за обедом у Некрасова Тургенев недовольно сказал:

— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором!

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью, — раз она дельная, — возразил на это Некрасов, прекрасно понимавший, что в глазах Тургенева понятие «семинарист» было равнозначно понятию «разночинец», то есть демократ.

Соотношение сил в «Современнике» резко изменилось с приходом Добролюбова. Чернышевский и Некрасов получили в его лице мощное подкрепление, что не замедлило сказаться на общем облике журнала. Его революционно-демократическое направление вырисовывалось все более резко. Борьба с либе-

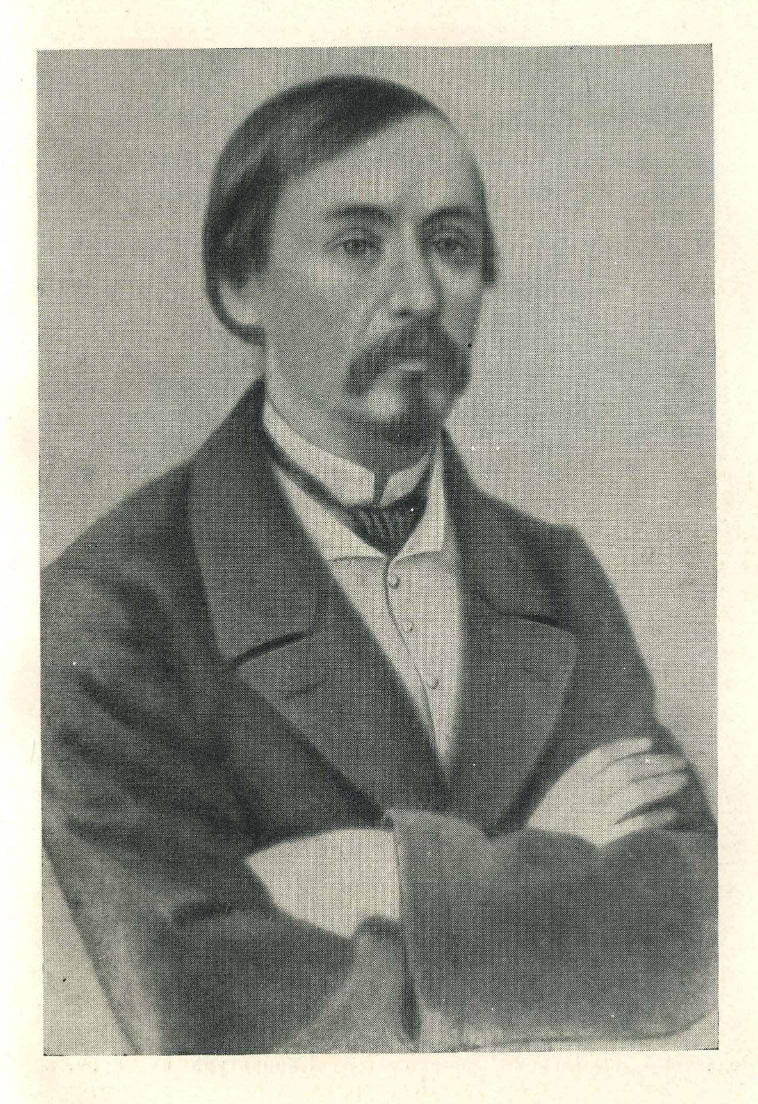
рально-дворянской группой, заметно обострялась. «Журнальный триумвират», ставший теперь во главе «Современника», сумел придать ему характер боевого органа передовой мысли, отражающего силу и размах освободительного движения в стране.

Политические позиции «Современника» в конце 50-х годов определялись стремлением к революционным преобразованиям, признанием крестьянства главной революционной силой современного общества. Пропаганда материализма и атеизма, разоблачение идеалистической реакции характеризуют философское направление журнала. Борьба за реалистическую литературу, отражающую нужды и чаяния народа, за выдвижение писателей, находящих смысл своей деятельности в служении народным интересам, становится основой литературной программы «Современника».

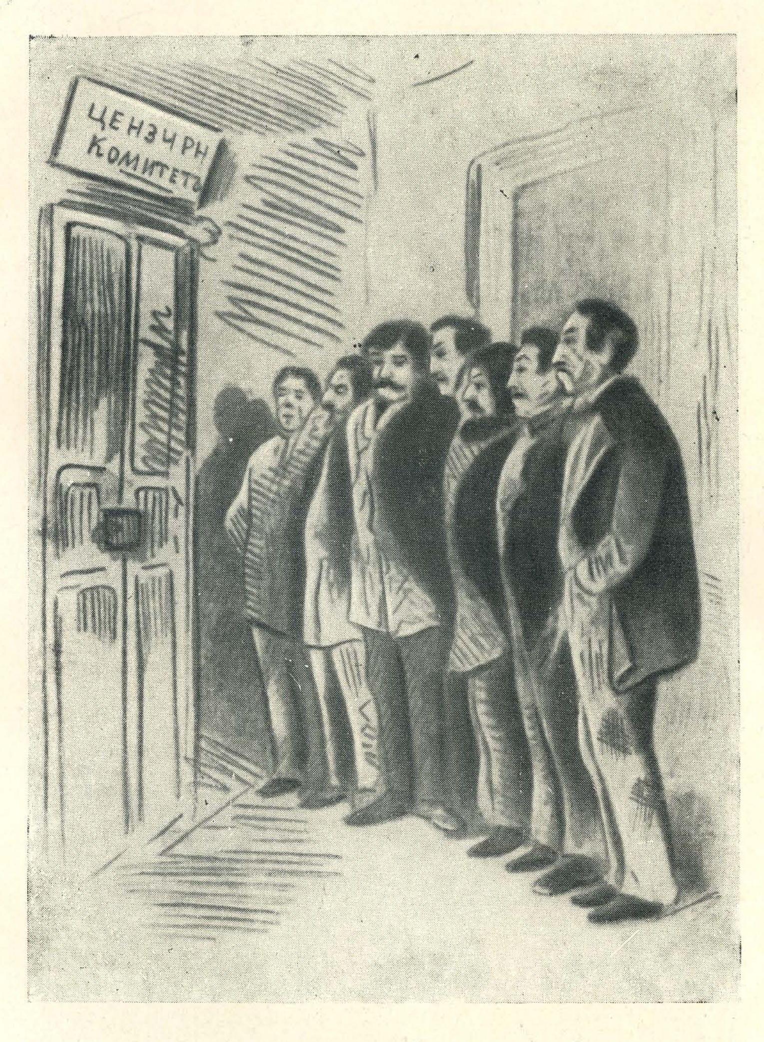
* * *

В таких условиях предстояло Добролюбову погрузиться в редакционные дела журнала. С жаром принялся он за работу, вкладывая в нее всю страстность и непримиримость борца, самоотверженность неутомимого труженика, человека идеи и долга. И даже люди, скептически относившиеся к появлению этого «мальчишки», вчерашнего студента, в редакции солидного журнала, даже те, кто, глядя на него, утверждал, что литература окончательно «провоняла семинарией», должны были с удивлением отдать должное его уму, знаниям, вкусу, блестящей одаренности и образованности. Некрасов со своей стороны заботился о том, чтобы укрепить авторитет молодого литератора в глазах писателей старшего поколения. Так, в конце 1857 года он писал Тургеневу: «Читай в «Современнике» Критику, Библиографию, Современное обозрение, ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие. Они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый».

Оценивая работу Добролюбова в «Современнике», Некрасов говорил: «...С самой первой статьи его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием



Н. А. Некрасов. Фотография 1859 года



Редакторы выстаивают свои статьи. Карикатура из журнала «Искра».

и пониманием русской жизни, ...все, кто принадлежит к читающей и мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощного двигателя нашего умственного развития. Сочувствие к литературе, понимание искусства и жизни и самая неподкупная оценка литературных произведений, энергия в преследовании своих стремлений соединялись в личности Добролюбова «Меньше слов и больше дела» — было постоянным девизом его .» Так вспоминал Некрасов о своем рано погибшем друге и соратнике в речи, произнесенной над его могилой. Он утверждал также, что «в Добролюбове во многом повторился Белинский»; Некрасов имел в виду принципиальность в оценке литературных явлений, преданность революционным убеждениям, громадное влияние критиков на русское общество.

Все эти качества проявились в избытке сразу же по приходе Добролюбова в «Современник». Статьи его, проникнутые духом воинствующего демократизма, носили боевой характер.

Замечательна по существу и по форме статья о сочинениях графа В. Соллогуба, написанная еще в стенах института, но вышедшая из печати ко времени возвращения Добролюбова из Нижнего (она появилась в июльской книжке «Современника» за 1857 год). Этой статьей он начал свою долгую и упорную борьбу с либерально-дворянской литературой. Чтобы отстаивать принципы народности и реализма, надо было расчистить место, освободиться от всего, что мешало развиваться тем росткам нового, которые внимательно отыскивал критик в литературе и жизни.

В статье о Соллогубе нет ни одного резкого слова, — наоборот, вся она написана спокойно, корректно и внешне имеет вид прямой похвалы писателю. Добролюбов даже спорит с критиками, которые не сумели оценить его достоинств: «До сих пор весьма мало обращали внимания на одну особенность графа Соллогуба, в этом отношении равняющую его чуть ли не с самим Марлинским, — на его блистательное красноречие в описаниях и разговорах дей-

ствующих лиц». Приведя вслед за этим несколько цитат, наглядно подтверждающих, что в смысле фразерства и цветистых описаний Соллогуб превзошел самого Марлинского, критик делает вывод: «Все это решительно убеждает нас, что талант графа Соллогуба нисколько не изменился и блестит попрежнему, по крайней мере, в отношении к искусству выражения».

Переходя к существу дела, Добролюбов хвалит Соллогуба за его удивительно подробные описания быта, но тут же выясняется, что кругозор писателя-аристократа ограничен узкими пределами «большого света». «В особенности описания великосветского общества хороши у графа Соллогуба. Он изображает его с любовью, нежность вникает в малейшие, едва уловимые оттенки различных его явлений, разбирает его с уверенностью знатока и близкого человека. Это, впрочем, совершенно натурально: автор «Большого света»[1] сам живет среди этого общества; он кровно связан с ним, он ежедневно видит перед глазами «эту бедную картину этого бедного света», как он сам выражается... Немудрено, что он так хорошо ее описывает: он полагает здесь часть души своей, выражает самого себя...»

Из приводимых вслед за этим цитат видно: жизнь великосветского общества пуста и бессмысленна, герои рассказов Соллогуба, в которых он выражает самого себя, — светские хлыщи и фаты — люди до предела ничтожные.

Насмешливые замечания Добролюбова, прикрытые ироническими комплиментами, со всей очевидностью показывали, что ничтожество Соллогуба, салонного писателя 30-х годов, внезапно воскресшего совсем в другую эпоху, определялось прежде всего реакционностью его мировоззрения; Добролюбов вскрывает классовую природу писателя, «кровно связанного» с верхними слоями общества, с «большим светом», и чуждого народу.

---

[1] Так называлась повесть Соллогуба, где он в пасквильном виде пытался изобразить Лермонтова.

В разборе творчества графа Соллогуба, а также в написанных вслед за этим статьях о романе графини Е. Ростопчиной, о пьесе барона Е. Розена, о стихах В. Бенедиктова и некоторых других забытых теперь поэтов Добролюбов произнес суровый приговор литературе реакционного дворянства, литературе вчерашнего дня, выглядевшей прямым анахронизмом в условиях нового времени. Покончив с этой задачей, критик переходил к другим, еще более насущным литературно-политическим вопросам.

В обстановке обострения классовых противоречий в стране особую опасность для революционного лагеря представляла идеология дворянского либерализма, определявшаяся стремлением некоторых кругов дворянства к административным реформам, к исправлению отдельных недостатков с помощью робкой критики «в пределах дозволенного».

Этот либерализм, объективно смыкавшийся с крепостничеством и представлявший собой один из вариантов политической программы правящих групп, в литературе находил самое откровенное и многообразное выражение. Он становился особенно опасным потому, что нередко маскировался в одежды народолюбия и красивыми словами пытался прикрыть свое бессилие перед лицом чудовищных пороков старого режима. Он пытался даже осуждать эти пороки и говорить о борьбе с крепостничеством, но на деле это было, по словам Ленина, борьбой «*внутри* господствующих классов, большей частью *внутри помещиков,* борьбой *исключительно* из-за меры и формы *уступок*. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об *уничтожении* этой собственности, *о полном свержении* этой власти»[1].

Понятно, что вожди революционной демократии 60-х годов, идеологи крестьянской революции, видели

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 96.

в либерализме злейшего своего врага и вели беспощадную борьбу с ним.

Отличительным свойством дворянского либерализма было противоречие между словом и делом, между теорией и практикой, между добрыми намерениями и полной неспособностью осуществить их на деле. Русская литература запечатлела тип такого прекраснодушного героя, вся сила которого заключалась в красноречии, немедленно увядавшем, едва только герой сталкивался с жизнью, с практикой. Добролюбов со свойственной ему политической проницательностью рано понял назревшую необходимость разоблачения «героизма» этого рода во всех его разнообразных проявлениях. Развенчание либерально-дворянской литературы и утверждение нового героя — человека дела — явились в дальнейшем предметом лучших критических выступлений Добролюбова. Но начало этой борьбе было положено гораздо раньше: уже в статье о сочинениях Соллогуба содержатся выпады против основных тенденций либерально-дворянской литературы. Критик говорит об одном из героев Соллогуба следующее: «Ни правил, ни взглядов у него нет; он по легкомыслию готов совершить доблестный подвиг, так же, как и покуситься на гнуснейшее преступление... Он почти никогда не думает, а только кричит, повторяя то, что слышал от других, и слова его никогда не сходятся с поступками...» В этом суждении справедливо видят не столько обличительную характеристику соллогубовского героя, не представлявшего особого интереса для Добролюбова, сколько оценку определенного общественного типа, вызывавшего резко враждебное отношение революционных демократов.

С еще большей силой и остротой вопрос о никчемных людях из дворянства поставлен Добролюбовым в следующей его большой статье — о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, появившейся в «Современнике» в конце 1857 года. Это была первая статья Добролюбова, положительно оценившая произведение современной ему литературы. Критик знал и высоко ставил ранние повести Салтыкова 40-х го-

дов, послужившие для Николая I поводом, чтобы сослать в Вятку молодого вольнодумца, зараженного идеями утопического социализма. Новая книга Салтыкова, написанная на основе наблюдений над вятской действительностью, давала Добролюбову большой материал для политических обобщений и позволяла видеть в ее авторе будущего союзника революционной демократии.

Некоторые критики склонны были считать книгу Щедрина заурядным произведением либерального чиновника. Добролюбов же со свойственной ему прозорливостью прямо указал на то, что в «Губернских очерках» нашли выражение насущные интересы народа. «Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо». Не закрывая глаза на элементы политической незрелости, на противоречия в мировоззрении писателя, Добролюбов безошибочно предсказывал путь его дальнейшего развития, звал его в свой лагерь — лагерь борцов за крестьянскую революцию. Он смело утверждал, что в массе народа «имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания».

Кто же эти «талантливые натуры», о которых упоминает здесь критик? Это персонажи из щедринских «очерков», в которых, по мнению Добролюбова, «довольно ярко выражается господствующий характер нашего общества». Это те «провинциальные Печорины», «уездные Гамлеты» и «лишние люди», которые представляют собой типичное порождение дворянско-крепостнической среды, загубившей в них всякое здоровое начало. Словом, это и есть представители того либерального дворянства, борьба с которым стояла перед революционно-демократической

критикой в качестве насущной политической задачи.

Оперируя термином «талантливые натуры», Добролюбов впервые применил свой излюбленный метод, с помощью которого позднее им были написаны такие критические шедевры, как статьи об «обломовщине», о «темном царстве», о романе «Накануне». Он берет у писателя найденное им понятие и, широко истолковывая его, придает ему характер обобщения, всеобъемлющего символа. Как бы предвосхищая будущее обличение «обломовщины», он рисует образы «талантливых натур» так ярко и так подробно, что у нас складывается полное представление и о социальной почве, на которой вырастают эти цветы российского либерализма, и о их политическом облике.

Мы узнаем, что главными свойствами этого типа людей являются отсутствие всякой самостоятельности в поступках, общественная бесполезность и апатия, духовное и практическое бессилие, тунеядство и беспринципность. «Лучшая из талантливых натур не пойдет дальше теоретического понимания того, что нужно, и громкого крика, когда он не слишком опасен. В случае же обстоятельств неблагоприятных они или заговорят двусмысленно, или и совсем противно своим убеждениям. Самые отважные — замолчат, и свое молчание будут считать геройством».

Так разоблачал Добролюбов «героев» дворянского либерализма, обобщая щедринское изображение «талантливых натур», делая его символом беспомощности русских либералов, тем более опасных для народного дела, чем большее количество красивых слов и жестов прикрывало эту беспомощность. Примечательно, что на этот раз Добролюбов прямо назвал в своей статье тургеневского Рудина среди других «талантливых натур» — героев дворянской литературы. Это свидетельствовало о назревавших разногласиях между двумя лагерями в редакции «Современника».

Статья о Щедрине преследовала еще одну цель;

Добролюбов как бы ставил перед своими читателями вопрос: если большая часть так называемого общества состоит из людей, подобных «талантливым натурам», то где же настоящие люди, у которых слово не расходится с делом, люди, «соединяющие с правдивостью и возвышенностью стремлений честную и неутомимую деятельность»?

И критик обращал взоры своих читателей к тому единственному источнику, где сохранились жизнь, сила и здоровье, — к народу, к крестьянской массе, к простым и честным людям труда, которые не любят много говорить, не щеголяют своими страданиями и печалями... «Но уже зато, если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться».

* * *

В апреле 1858 года Николай Александрович писал товарищу своему Златовратскому, служившему учителем в Рязанской гимназии: «Ты удивляешься и, конечно, не веришь тому, что в три месяца в первый раз случилось у меня свободных полчаса...» Он в самом деле работал удивительно много. Тому же Златовратскому он сообщал в июле: «Прочти последовательно и внимательно всю критику и библиографию нынешнего года, всю написанную мною (исключая статьи Костомарова в первой книжке), да статью о Щедрине в прошлом году, в декабре, да библиографию прошлого года с сентября, в «Современнике» — там тоже почти все писано мною, исключая трех или четырех рецензий, которые не трудно отличить...»

Кроме писания статей, что требовало постоянного напряжения, Добролюбов был занят еще и большой редакционной работой по журналу. Уже в начале 1858 года Некрасов сделал его своим помощником (наряду с Чернышевским) в чтении редакторской корректуры, то есть одним из фактических редакторов «Современника».

Перелистаем пожелтевшие страницы журнала.

Статья за статьей, рецензия за рецензией... Обстоятельные разборы сменяются краткими отзывами, увлекательная, вдохновенная публицистика идет вслед за ярким, живым фельетоном, блещущим всеми красками особого, добролюбовского юмора, в котором сочетаются язвительная насмешка и спокойная, холодная ирония. Добролюбов осуждает, зовет, негодует, высмеивает...

И что особенно поражает в его критическом творчестве — это умение использовать даже самый незначительный повод для того, чтобы высказать очень серьезные мысли, написать о любой книге так, чтобы заставить ее служить своим агитационным задачам.

Разбор мемуаров С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» превращается под пером критика в широкую картину крепостной жизни с ее жестокостью, грубостью нравов, чудовищной эксплуатацией и страданиями крестьянства. Аксаков вспоминал далекие дни своего детства, и Добролюбов в стремлении успокоить цензуру усердно подчеркивает, что эти времена уже миновали: «Грустно становится, когда раздумаешься об этих временах, которых остатки существовали еще так недавно». Но даже не слишком проницательные читатели понимали, что разумеется под этими «остатками»: крепостнические порядки в стране, где властвовали Багровы и Куролесовы, не изменились за несколько десятилетий.

Как ни мрачны были события, пересказанные в добролюбовской статье со слов Аксакова, но критик умел и среди них найти здоровое начало русской жизни. «...И тут, — писал он, — как везде, есть одна сторона, отрадная, успокаивающая: это вид бодрого, свежего крестьянского населения, твердо переносящего все испытания... Много сил должно таиться в народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых...»

И он заканчивал статью словами, полными ясной веры в будущее, словами, напоминающими призывы революционной прокламации: «... грядущие поколения ожидает не принужденный труд без вознаграж-

дения, а свободная, живая деятельность, полная радостных надежд на собрание плодов, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посеяно. Скорее же прочь все остатки отживших свое время предрассудков!.. Голос правды, голос любви призывает: не время оставаться в прежней праздности и апатии...»

Можно ли было сказать больше на страницах подцензурного журнала? Можно ли было яснее выразить надежду на то, что придут времена, когда русский крестьянин будет, наконец, собирать для себя те плоды, которые сам же посеял?

Если, разбирая книгу о крепостном помещичьем быте, Добролюбов говорил о свободе «грядущих поколений», то стихи какого-нибудь третьестепенного стихотворца давали ему иной раз повод поднять насущные вопросы русской поэзии. Так, ему попалась под руку книжка стихотворных опытов Е. Вердеревского; высмеяв его жалкие претензии, сравнив его «по величию души» с графом Хвостовым, который прославился своей бездарностью, критик отвергает жалобы автора на то, что поэты будто бы погибают от журнальных насмешек. Вероятно, погибают не те поэты, от которых могла бы что-нибудь приобрести русская литература, отвечает на это Добролюбов. Если так, то нечего и жалеть о них. «А явись человек с сильным поэтическим талантом, с горячим сочувствием к интересам родины, с уменьем отозваться благородно и смело на все общественные и народные явления Руси, — нет сомнения, что такой поэт был бы встречен общим вниманием и был бы поддержан всеми...»

Образ такого поэта-патриота, выразителя и защитника народных интересов, давно уже рисовался Добролюбову, — вспомним хотя бы, с каким нетерпением он ждал его появления, еще будучи студентом, когда события начавшейся Крымской войны породили поток сусально-патриотических виршей!

С уничтожающим сарказмом отзывался он о людях, лишенных чувства национальной гордости, не дорожащих своим отечеством, не умеющих ценить родной язык. Он не мог сдержать своего гнева, когда

ему попадала в руки книжка какого-нибудь Николая Семенова, изданная на французском языке в Париже. Показывая полное ничтожество и вопиющую бездарность этого русского иностранца, Добролюбов в то же время высмеивал его космополитические претензии: «Россия, как ни огромно ее протяжение, тесна для него, удивления семидесяти миллионов, говорящих по-русски, мало ему... Он хочет заявить себя перед Европой... И вот он прибегает к всемирному языку — сочиняет свою книжку по-французски, спешит в Париж...»

* * *

В то же время Добролюбов не жалел сатирических красок, разоблачая лжепатриотические и псевдогражданские стремления некоторых литераторов, становившихся в позу обличителей общественных пороков. Эти «обличители» делали вид, что они идут в ногу со временем, много говорили о своих заслугах, но в то же время старательно обходили действительные недостатки тогдашнего уклада жизни, не касались коренных язв крепостнического режима.

Либеральное обличительство широко распространилось в те годы, стало своего рода модой. Появилось множество романов, пьес и повестей, осуждавших злоупотребления мелких чиновников и городовых. Начался период так называемой «гласности», которую всячески превозносили в газетах; однако она и в малой мере не могла удовлетворить людей, стремившихся к революционным преобразованиям. И Добролюбов жестоко высмеивал литераторов, пытавшихся «осветить грозным факелом сатиры темные деяния волостных писарей, будочников, становых, магистратских секретарей и даже иногда отставных столоначальников палаты, пробудить в сих очерствелых и ожесточенных в заблуждении... существах горестное сознание своих пороков и слезное в них раскаяние, чтобы таким образом содействовать общему великому делу народного преуспеяния...».

У Добролюбова вызывала отвращение фигура раскаявшегося станового пристава, осознавшего свои

пороки и возведенного чуть ли не в герои литературы усердием дешевых сочинителей. Критик безжалостно выставлял на позор их «мрачную, глухую, непроницаемую бездарность». Он ратовал за литературу больших идей, за героя — носителя лучших стремлений русской жизни, за тип писателя-гражданина, выражающего самые благородные черты своего народа и своей эпохи. И понятно, почему такое раздражение вызывали у него сатирические потуги бесчисленных Половцевых, Львовых и Дьяконовых, которым он вынужден был посвящать специальные статьи. В их произведениях обличались безнравственные взяточники, а положительные герои не брали взяток и на этом основании служили в глазах авторов «идеалом всех человеческих совершенств».

Неверно было бы думать, что Добролюбов в первые годы своей деятельности в «Современнике» только разоблачал и высмеивал. Правда, в текущей литературной продукции ему редко приходилось встретить книгу, которую он мог бы уверенно рекомендовать читателю. Но он тщательно искал в тогдашней литературе светлых и отрадных явлений, по крупицам собирал ее положительный опыт, стремился поддержать все, что появлялось честного, талантливого, сулившего какие-нибудь надежды в будущем. Характерно, например, что книгу переводов В. Курочкина из Беранже Добролюбов встретил восторженной статьей, ибо она позволяла ему поднять вопрос о том, что сила подлинного поэта состоит в его связи с народом, с массами. Он сочувственно цитировал слова французского песенника: «Любовь к отечеству и любовь к независимости составляют два главные предмета моих песен, и я старался говорить о них языком, понятным народу». Нет никакого сомнения в том, что Добролюбов сознательно и расчетливо ссылался на эти слова. Он обращался с ними к современным русским поэтам, многие из которых были далеки от жизни, от подлинных потребностей и запросов общества.

Критик видел смысл своей деятельности в том, чтобы повернуть русскую литературу к народным

нуждам, насытить поэзию высокими идеями общественного служения. Вот почему, разбирая стихи Беранже, он настойчиво подчеркивал: «Во всех его песнях любовь к родине сливается с любовью к народу; он справедливо и гордо презирает те мишурные фразы о какой-то отвлеченной любви к величию родной страны, под которыми обыкновенно укрывается своекорыстие или сухость сердца... Любовь к народу постоянно одушевляла Беранже».

Добролюбов хотел, чтобы русскую поэзию также одушевляла любовь к народу. Он горячо поддерживал писателей, которые обращались к народной жизни, правдиво ее показывали. Так он встретил одобрением поэму «Кулак» воронежского поэта Ивана Никитина, увидев в ней и хорошее знание быта, и понимание народных характеров, и искреннее сочувствие горестям народа. Он немедленно откликнулся на появление сборника «Народные русские сказки», составленного А. Афанасьевым, обнаружив в нем правдивое отражение духовной жизни народа. «Кто любит свой народ, — писал критик, — и не ограничивает его тесным кругом людей, получивших европейское образование, тот поймет радость, с какой приветствуем мы в литературе всякое порядочное явление, имеющее прямое отношение к народной жизни».

Очень интересны суждения Добролюбова о стихах А. Плещеева. Критик хорошо знал историю этого поэта, который был когда-то участником кружка петрашевцев, подвергся расправе, учиненной Николаем I над кружком, и только в 1856 году возвратился из ссылки. В глазах Добролюбова (как и Чернышевского) Плещеев был окружен ореолом политического изгнанника, как человек, пострадавший за свои убеждения. Самая принадлежность поэта к кружку русских социалистов-утопистов вызывала уважение и интерес к его личности со стороны Добролюбова. Приехав в Петербург, Плещеев бывал в редакции «Современника», где и познакомился с его руководителями. Позднее Добролюбов поддерживал с ним дружеские отношения и переписку.

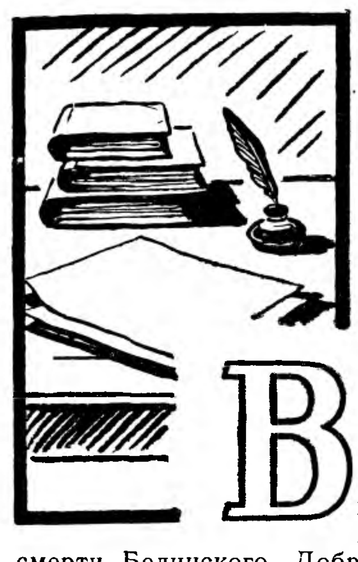
В первом вышедшем после ссылки сборнике Плещеева довольно явственно звучали мотивы тоски о невозвратно потерянных надеждах, о напрасно растраченных силах. Добролюбов увидел в этом характерную черту всей нашей поэзии, начиная с Пушкина. Он отметил, что каждому значительному русскому поэту в начале деятельности были свойственны «смелые порывы, широкие мечты, благороднейшие сильные стремления». Потом эти стремления гасли и деятельность поэта принимала мрачный, безотрадный колорит. Добролюбов довольно ясно давал понять, что общественные условия николаевской России были губительны для русской поэзии; ее мечты и порывы разбивались о железную стену реакции, подавлялись «гнетом враждебных обстоятельств». О том же самом говорил критик, когда рецензировал сборник стихов Полежаева: «Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений». На портрете был изображен человек в солдатском мундире, и читатель, таким образом, мог легко догадаться, от какой именно «судьбы» пострадал Полежаев, отданный Николаем I в солдаты.

К книге стихов Плещеева не был приложен портрет автора в солдатском мундире. Однако и он по воле того же царя отбывал срок рядовым солдатом Оренбургского линейного батальона, и к нему вполне относились слова Добролюбова о пагубном влиянии «судьбы» на русских поэтов. «Сила обстоятельств», по словам критика, не дала развиться в Плещееве вполне определенным убеждениям. В его стихах заметны следы какого-то раздумья, внутренней борьбы и потрясения. Сурово отзываясь о слабых сторонах лирики Плещеева, о стремлении «поидеальничать», приводящем к риторике и звонким фразам, Добролюбов подсказывал ему единственно правильный путь: он хотел устремить внимание поэта к политическим, гражданским мотивам, которые составляли главное достоинство его первого сборника, вышедше-

го в конце 40-х годов, — недаром Добролюбов цитировал оттуда известный «гимн петрашевцев» («Вперед, без страха и сомненья...») и утверждал, что это был «смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность».

«В своем прошедшем, — писал Добролюбов, — г. Плещеев может найти много страстных и мощных мотивов, способных увлечь человека с душою. В своих воспоминаниях, в своей тоске, в самой боли раздраженного сердца поэт найдет предметы для многих песен. И если к этим песням не примешается фальшивый звук ребяческих смешных надежд и увлечений, то песни его польются звонким, стремительным, широким потоком».

На страницах «Современника» Добролюбов боролся за расцвет демократической русской литературы, за ее сближение с жизнью, за торжество принципов реализма и народности в искусстве. Вместе с Чернышевским и Некрасовым он стремился превратить журнал в боевую трибуну литературной мысли. Последующие годы принесли с собой новые книги, выдвинули новых писателей, и они позволили Добролюбову с еще большей силой поднять важнейшие общественно-литературные вопросы, с еще большей глубиной решать задачи, стоявшие перед революционной демократией.



XIV. НАСЛЕДНИК БЕЛИНСКОГО

В июле 1858 года, когда исполнилось десять лет со дня смерти Белинского, Добролюбов в качестве сотрудника «Современника» присутствовал на обеде в честь великого критика. Обед был устроен его сверстниками и почитателями. Тургенев, Анненков и другие люди 40-х годов, хорошо знавшие Белинского, считали себя хранителями его заветов. И на торжественном обеде произносились громкие речи, звучали пышные тосты, рекой лилось вино. Добролюбов, беспредельно уважавший Белинского, слушал эти речи с лихорадочным негодованием. Он не выносил фальши, не терпел красивых слов, которые так любили произносить люди, гордившиеся своим прекраснодушием, платонической любовью к обездоленным. Он видел, как далеки бывшие друзья Белинского от подлинного понимания его заветов.

Добролюбов ушел с обеда, не дождавшись его конца. Он прибежал домой в возбужденном состоянии, тут же излил свое негодование в горячих стихах и немедленно разослал их наиболее видным участникам торжества. «И мертвый жив он между нами», — так начинались эти стихи о Белинском, о его служе-

нии правде и добру, о самоотверженном подвиге его жизни, открывшем путь для новых поколений борцов за правду и свободу. Стихотворение заканчивалось горьким и гневным осуждением тех, кто не пошел по этому пути:

Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире подымал
И думал только, только этим
Мы можем помянуть его.
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его[1]..

Антонович рассказывает, что в числе других участников обеда эти стихи получил и Некрасов. Он сразу же догадался, кому они принадлежат; Некрасов сам мог бы подписаться под этими стихами. Но другие литераторы старшего поколения, в частности Тургенев, очень рассердились и обиделись на Добролюбова. С этого времени их постоянная неприязнь к молодому критику стала носить открытый характер. Разрыв между двумя группами в редакции «Современника» намечался все более отчетливо, соответствуя обострению противоречий между либерально-дворянскими и демократическими группами русского общества.

В истории внутренней борьбы, раскалывавшей на два лагеря редакцию «Современника», Добролюбову пришлось сыграть особенно видную роль. Он был самой ненавистной фигурой для либералов типа Боткина, Дружинина, Анненкова. Его презрение к либеральному фразерству не имело пределов. Его непримиримость и принципиальность не знали никаких компромиссов и уступок. Убийственная ирония и спокойная уверенность в своей правоте делали его неуязвимым для противников. Многие, в том числе даже Чернышевский, удивлялись тому, с какой прямотой и резкостью Добролюбов высказывал свои мнения в лицо собеседникам, кто бы они ни были.

«Мне казалось полезным для литературы, — вспоминает Чернышевский, — чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь чест-

ному, старались не иметь личных раздоров между собой. Добролюбов был и в этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники».

Таким же прямым и нелицеприятным был он и в своих литературных выступлениях; только давление цензуры заставляло его иной раз смягчать оценки или находить для их выражения обходные пути и иносказания.

Знаменательно, что именно столкновение вокруг памяти Белинского явилось одним из первых внешних проявлений внутренней борьбы в редакции «Современника». Отношение к наследству великого критика служило наиболее ярким показателем розни между демократией и либеральным дворянством в 60-е годы. Мнимые поклонники Белинского пытались прикрыть его именем свое неверие в революцию, в общественную силу искусства. Подлинные продолжатели его дела — Чернышевский и Добролюбов — свято чтили революционные заветы Белинского. Они могли бы повторить проникновенные некрасовские слова: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...» И нет ничего удивительного в том, что Добролюбов с такой стремительностью выступил против неискренних друзей Белинского, фальшью громких слов порочивших благородный облик критика — гражданина и борца.

Стихи, разосланные участникам поминального обеда, были не единственным выступлением Добролюбова в защиту памяти своего великого предшественника. Меньше чем за месяц до этого эпизода вышла майская книжка «Современника», где молодой критик со всей силой гнева обрушился на врагов Белинского, осмелившихся возвести на него низкую клевету.

В качестве такого клеветника явился некий Ф. Вигель, когда-то написавший письмо к Гоголю с похвалами его реакционной книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Письмо давно умершего Вигеля, опубликованное в печати в 1858 году, содержало выпад против тех, кто восхищался «Ревизором» и «Мертвыми душами» и порицал «Переписку». Намекая на Белинского, автор письма утверж-

дал, что люди, нападавшие на «Переписку», не любят своей родины, а в литературе поддерживают только писателей-русофобов, которые якобы отрицают все русское. Именно эта «замечательная по своей странной бесцеремонности выходка» и взорвала Добролюбова. Сразу разгадав, в кого метил Вигель, он писал (в рецензии на книгу Н. В. Сушкова «Московский университетский благородный пансион»):

«Мы не в силах выразить наше негодование на эту клевету, на это бессильное старание покрыть всю послегоголевскую литературу нашу, в которой только что и начинает проявляться истинно-народная русская мысль, — позором... Да падет позорное слово это на память того, кто произнес его! Он, безвестный, бездарный, ничего не сделавший остряк, ...он осмелился выступить со словом черной клеветы на Белинского, на этого человека, который сгорал любовью к родине, который понимал и ценил ее больше, чем тысячи Вигелей со всеми их друзьями и единомышленниками...»

Так воспламенялся Добролюбов, когда ничтожества вроде Вигеля осмеливались прикасаться к Белинскому.

Выход первого собрания сочинений критика (1859) Добролюбов встретил восторженным приветствием. Маленькая заметка, написанная им по этому поводу и появившаяся в «Современнике», содержала много больших мыслей и полновесных слов. «Да, в Белинском наши лучшие идеалы, — писал он здесь, — в Белинском же история нашего общественного развития... Идеи гениального критика и самое имя его — были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем».

Добролюбов по праву считал себя идейным наследником Белинского, продолжателем его работы в русской литературе, работы во имя народа, во имя его освобождения. Он писал, что влияние великого критика «ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного...». Статьи самого Добролюбова и были в первую очередь тем «прекрасным и благородным», на чем ясно чувство-

валось влияние Белинского. Недаром Некрасов, связанный узами дружбы с обоими критиками, находил, что в Добролюбове во многом повторился Белинский.

* * *

С первых шагов своей литературной деятельности Добролюбов живо интересовался прошлым русской литературы, связывал с ним ее настоящее, всегда ощущая связь и преемственность литературных явлений, всегда стремясь обосновать свою напряженную, страстную мысль бойца обращением к истории, к фактам прошлого.

В своих суждениях о крупнейших явлениях русской литературы Добролюбов опирался на наследие Белинского, продолжая начатую им работу в новых условиях. Политическая обстановка в России к концу 50-х — началу 60-х годов серьезно отличалась от обстановки предыдущего десятилетия. Соотношение классовых сил резко изменилось. Историческое развитие страны привело к укреплению лагеря революционной демократии, к четкому оформлению его политической программы, программы крестьянской революции. С другой стороны, группа либерального дворянства определилась как сила, открыто враждебная революции. В стране необычайно обострились классовые отношения.

Естественно, что не могли не стать по-новому вопросы литературы, в частности вопросы ее исторической оценки. В условиях ожесточенной классовой борьбы Добролюбов должен был с гораздо большей политической остротой оценить русскую литературу XVIII века. Крайняя резкость характеристик иногда даже приводила Добролюбова к односторонним выводам.

История русской литературы до Пушкина представлялась Добролюбову в виде медленного процесса, когда одни писатели сменялись другими, почти одинаково далекими от подлинной народности. С Пушкина начался новый период литературного развития. Но даже Гоголь в конечном счете не во всем

удовлетворяет критика, хотя он и был страстным поборником «гоголевского» направления. Все надежды его устремлены в будущее. Он убежден, что придет время, и русский народ выдвинет такого поэта, появление которого невозможно в условиях самодержавно-полицейского режима. Пафосом борьбы за новую, революционную литературу, за подлинно народного поэта, трибуна масс была проникнута вся деятельность Добролюбова-критика.

Наиболее полно и последовательно Добролюбов изложил свои взгляды на историческое развитие русской литературы в замечательной, насыщенной глубокими мыслями и революционным содержанием статье «О степени участия народности в развитии русской литературы», написанной в начале 1858 года. Поводом для статьи явилось второе издание книги А. Милюкова «Очерк истории русской поэзии», автор которой пытался популяризировать взгляды Белинского. Добролюбов воспользовался выходом книги, чтобы рассмотреть процесс развития русской литературы — от начала зарождения письменности до Гоголя — с точки зрения ее близости интересам и стремлениям народа, с точки зрения ее *народности*. Статья очень важна для понимания философских и политических воззрений Добролюбова.

Несколько страниц критик посвящает выяснению общей роли литературы в обществе. Он дает отпор тем «книжникам», которые считают, что «литература заправляет историей». По Добролюбову, именно развитие общества определяет характер и развитие литературы. «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни». Эти мысли Добролюбов подкрепляет замечательными примерами, которые показывают, что критик поднялся до глубокого понимания общественного значения литературы.

Литература, по Добролюбову, является могучим средством пропаганды. Однако ее значение в этом смысле ослабляется «малостью круга, в котором она действует». Ограниченность сферы ее влияния — вот обстоятельство, которое постоянно волнует Добролю-

бова, «о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдает нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество».

Литература, которая чужда народу, не отражает его интересов, неизбежно обречена на замкнутость, обслуживание узкого круга избранных. Она не принесет пользы народу даже в том случае, если будет трактовать о предметах, прямо его касающихся, ибо она подходит к этим предметам «не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса». Добролюбов с горечью отмечает, что «между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе».

Критик приходит к выводу, что литература не способна выполнять свое высокое назначение, если она оторвана от действительности и не доступна народу. Он даже сделал арифметический подсчет и установил, что 64 миллиона 600 тысяч человек из 65 миллионов русского населения вообще не знают о существовании русской литературы. «Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостию стараемся поведать миру? Интересуют ли их наши художественные создания, которыми мы восхищаемся?» — ответ на эти вопросы мог быть, конечно, только отрицательным. Потому-то Добролюбов с такой болью говорит о пропасти, отделяющей русскую культуру от народа: «Народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина... Даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих».

В этих словах нетрудно разглядеть сокровенную мысль революционного демократа и просветителя: до

тех пор, пока существует самодержавно-полицейский строй, пока массы находятся под игом крепостничества, — до тех пор культура будет привилегией эксплуататорских классов, а литература — достоянием ничтожной кучки людей.

В статье «О степени участия народности» Добролюбов дает подробный образ исторического развития русской литературы со времен языческой древности. Он говорит о славянских песнях, былинах, «Слове о полку Игореве» и других произведениях народного творчества, доказывающих, что «в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития».

Добролюбов решительно отказывает в народности дворянской литературе XVIII века. Он не раз подчеркивает, что даже наиболее видные ее представители старались «вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к низким предметам, касающимся быта простого народа и в отношении к самому этому народу (к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу)».

Далекой от действительных потребностей народа была и сатира того времени, усердно повторявшая зады и замечавшая только те пороки, которые были уже «уличены, опубликованы и всенародно наказаны». Добролюбов саркастически отзывается о «длиннейших сатирах Кантемира, направлявшего свое благородное негодование против Медора, завивающего кудри, против Менандра, переносящего вести, против скупого Хризиппа» и т. п. Он высмеивает трагедии Сумарокова, герои которых «вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы». Уничтожающую оценку дает он «высокопарным пиитам» — Хераскову, Княжнину и даже Державину, далеким, по его мнению, от общественных интересов, равнодушным к «нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами».

Резкость и острота этих суждений о литературе XVIII века легко объяснимы, если вспомнить, что они складывались в обстановке ожесточенной борь-

бы с дворянской культурой. Всегда полемически заостряя свои высказывания, Добролюбов проходил мимо положительного содержания русской литературы, мимо тех успехов, которые были достигнуты ею и в XVIII веке. К тому же нельзя забывать, что он не имел возможности писать о революционной линии развития отечественной литературы, связанной прежде всего с именем Радищева

Следующим значительным писателем после Державина, уже свидетельствующим, по мнению критика, о некотором движении в литературе, явился Карамзин. Признавая некоторые его заслуги, Добролюбов все же решительно отказывается считать автора «Бедной Лизы» основателем «новой эпохи» в развитии русской литературы. Эта почетная роль, по его понятиям, принадлежит только Пушкину. «В карамзинское время дико было снисходить до истинных чувств и нужд простого класса», — говорит Добролюбов. Правда, Карамзин начал изображать явления, существующие в жизни· нежные чувства, любовь к природе, простой быт. Но природу он брал из Армидиных садов, нежные чувства — из сладостных песен труверов и из повестей Флориана, а сельский быт — прямо из счастливой Аркадии...

На новую, гигантскую ступень развития поднял русскую литературу Пушкин· «Он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина». Эти слова Добролюбова хорошо определяют основное в его сложном отношении к Пушкину. Речь идет о пушкинском *реализме*.

Для Добролюбова, как и для Белинского, творчество Пушкина явилось не только синтезом достижений всех его предшественников, но и началом подлинно самобытной русской литературы. Белинский считал Пушкина великим национальным поэтом. Огромное историческое значение Пушкина бесспорно и для Добролюбова. Он прежде всего выделяет и це-

нит в его поэзии реалистические тенденции, резко отличающие Пушкина от предшествовавших поэтов, которые «в наемном восторге воспевали по заказу иллюминации» или, освободившись от этого «шутовского занятия», ударились в сентиментальность и плакали над вымышленными героями. Пушкин сумел, по мнению Добролюбова, преодолеть эти направления и создать на Руси свою самобытную поэзию. Пушкин «умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта». Он «откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь». Пушкин, в сущности, открыл действительность для русской поэзии и ввел в нее тот мир, о котором она прежде не могла и думать.

Добролюбов трактовал Пушкина как дворянского поэта, давшего в основном картины жизни дворянского общества. Он говорил об ограниченности пушкинского реализма, считая, что он был направлен прежде всего на изображение «положительно-прекрасных моментов жизни» и страдал недостатком обличительного, критического начала. В силу известной ограниченности собственного мировоззрения Добролюбов не понимал всей глубины народности Пушкина и всего своеобразия его реализма.

Добролюбов-критик разрабатывал теорию критического, обличительного реализма, который являлся новой ступенью в развитии русской литературы. В этой работе он опирался прежде всего на Белинского, считавшего, что реализм нового типа принес с собою Гоголь; именно ему, автору «Мертвых душ», суждено было пойти по пути Пушкина, продолжая его традиции и развивая принципы критического реализма. Добролюбов усвоил эти мысли Белинского.

«Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине, ибо Гоголь — поэт более социальный, следовательно, более поэт в духе времени». Эти слова, принадлежащие Белинскому, явились отправным пунктом для Добролюбова и Чернышевского. В творчестве автора «Ревизора» и «Мертвых душ» критика революционной демократии увидела те черты реализма, то отрицание дей-

ствительности, которых она не находила в предшествовавшей литературе. Имя Гоголя, изображавшего своим могучим словом «бедность и несовершенство нашей жизни», сделалось символом, обозначавшим тенденциозное, обличительное, то есть «гоголевское», направление в искусстве, единственное направление, от которого «можно ожидать чего-нибудь хорошего».

Что касается самого Гоголя, то Добролюбов, высоко ценя реалистическую силу его мастерства, считал, что он «в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью». Изобразив пошлость жизни современного общества, Гоголь сам ужаснулся· «он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать». «Народность представилась ему бездной», от которой надо бежать. Он обратился к нравственному самоусовершенствованию, и результатом явились известные его «жалкие аскетические попытки». Он захотел воплотить в поэзии идеальный тип, которого не видел в жизни, и.. «шагнул назад до Карамзина»

Есть еще два поэта, которым Добролюбов придает большое значение. это Лермонтов и Кольцов. К сожалению, критик не оставил нам развернутой характеристики Лермонтова. В отрывочных замечаниях он восхищается силой и энергией его стиха; в статье «О степени участия народности» он заявляет по поводу «удивительного стихотворения» «Родина»· «Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с той широтой взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...» Этот отрывок говорит об огромной проницательности критика, о глубоком понимании им творчества Лермонтова.

Оценивая поэзию Кольцова, Добролюбов особенно настоичиво подчеркивает ее *реализм,* ее близость

к народу. В то же время он не закрывает глаза на слабые стороны Кольцова: «Простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только со своими частными житейскими нуждами». Критик сравнивает его песни с песнями Беранже, сожалея, что политическая острота и боевая сатиричность, столь характерные для французского песенника, несвойственны русскому поэту-самоучке. Жизненная правдивость, простота и народность Кольцова еще далеки от того критического реализма высшего типа, к которому должна прийти русская литература. Вследствие этого и Кольцов — при всей симпатии к нему критика — еще не тот народный поэт-трибун, идеальный образ которого рисовал себе Добролюбов.

Его мысли о прошлом русской литературы, несмотря на отдельные крайности и преувеличения, привлекают своей целеустремленностью, последовательностью в проведении революционно-демократической точки зрения. Все литературные направления и школы расцениваются критиком в смысле их соответствия принципам народности и реализма. В какой мере то или иное литературное явление отражает реальную действительность, насколько правдиво выражает дух народа и отвечает его нуждам, — вот что является решающим для Добролюбова. С этих позиций он выносит резкое осуждение дворянской литературе допушкинского периода, приветствует поэзию «действительной жизни», открытую Пушкиным, активно поддерживает «гоголевское» направление и народность Кольцова.

Добролюбов, таким образом, разрабатывает свое понимание развития реализма в русской литературе. Он настойчиво стремится выделить в ней реалистическую, народную тенденцию. В постоянном укреплении этой тенденции, в неуклонном «сближении литературы с жизнью» видит он залог будущего расцвета подлинно народной литературы.

Вся критическая деятельность Добролюбова, не говоря о ее громадном политическом значении, была

неустанной борьбой за новый тип писателя, представителя литературы критического реализма, претворившего в своем творчестве художественные достижения прошлых поколений, оплодотворившего их светлыми революционными идеалами. Добролюбов требовал от художников своего времени умения откликаться на насущные запросы народа, поднимать наиболее острые проблемы современности. Критик требовал жизненной правды от художника. «Жизнь со всех сторон предъявляет свои права,—писал он,— реализм вторгается всюду... Жизненный реализм должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный поэт, то, конечно, уже на этом поприще, а не на эстетических тонкостях».

К будущему появлению этого замечательного поэта, понимающего настоящие потребности своей страны, постоянно возвращается мысль Добролюбова. И на студенческой скамье и в статьях, написанных в более зрелые годы, он мечтал о таком поэте, ибо видел, что в нем нуждается родина. В одной из последних своих статей он рисовал яркий образ народного поэта — наследника лучших традиций русской литературы, впитавшего в себя великие достижения Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

* * *

Даже из этого беглого обзора видно, что русская литература прошлого не удовлетворяла революционного демократа Добролюбова. С точки зрения его требований «степень участия народности» в развитии нашей литературы была слишком невелика. Однако его критические оценки и суровые слова, сказанные по адресу многих писателей прошлого, не имели ничего общего с нигилистическим отрицанием наследства. Осуждая ненародность дворянской литературы, Добролюбов видел живую связь, преемственность литературных явлений, понимал закономерность процесса сближения литературы с жизнью. В то же время он учитывал историческую неизбежность того факта, что в эксплуататорском обществе, литера-

тура, как и умственное движение вообще, целой пропастью отделена от народа.

Он знал, что «миллионы вовсе не виноваты в своем невежестве: не они отчуждаются от знания, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственное достояние в свои руки». Поэтому вся деятельность Добролюбова — литератора, публициста, ученого — была проникнута мечтой о том, чтобы приблизить знания, искусство, поэзию к народу, к миллионным массам. В основе его литературной программы, развивавшей принципы и традиции Белинского, лежала забота о создании подлинно народной литературы, то есть литературы крестьянской революции, литературы, которая служила бы делу освобождения и просвещения русского народа.

В народе Добролюбов видел основу всех основ, начало всех начал общественной жизни, источник и смысл своей деятельности. И, обращаясь к людям «ученым и образованным», мнящим себя подлинными носителями культуры, он писал:

«Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа».

Голос Белинского как бы снова раздался со страниц «Современника». Он слышался во всем лучшем, что выходило из-под пера молодого критика, его наследника.



XV. В ОЖИДАНИИ РЕВОЛЮЦИИ

Люди, близко стоявшие к редакции «Современника», с удивлением говорили о громадном трудолюбии и неиссякаемой энергии Добролюбова. Казалось, он не знал утомления. Жажда деятельности была у него поистине неиссякаема. Никто не мог понять, когда он успевал прочитывать все русские и иностранные газеты и журналы, все новые книги, множество рукописей, которые поступали в редакцию. По словам А. Я. Панаевой, он всегда прочитывал рукопись к тому дню, который назначал. И автору, даже если он был безвестен и молод, не нужно было по нескольку раз являться в редакцию за ответом.

Сохранилось свидетельство одного из таких начинающих авторов о том, как встретил его Добролюбов в редакции «Современника». Студент духовной академии М. Антонович, впоследствии ставший известным публицистом, однажды принес в редакцию большую статью — первое свое произведение. С трепетом ждал он ответа. И вот ответ пришел. «Не читая его, — вспоминает Антонович, — я прежде всего бросился на подпись: оказалось, ответ подписан Добролюбовым. Я так и замер от опасений и страха: такой

неумолимый, строгий судья, такой беспощадный критик — наверное, погибло мое первое писательское создание. Мои опасения оправдались. Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, ...и в заключение приглашал меня явиться к нему...

В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым простодушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что... обычным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна... Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати».

В дальнейшем Добролюбов подсказывал начинающему литератору темы для статей, снабжал его книгами, в частности сочинениями Фейербаха, вел с ним разговоры о предметах, касающихся самых различных областей знания и жизни. «Очевидно, эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена», — замечает по этому поводу Антонович, до конца жизни сохранивший глубокое уважение к Добролюбову.

На беседы с авторами, чтение и обработку рукописей, правку корректур уходил весь редакционный день Добролюбова. Только вечером он принимался за свои статьи и писал до глубокой ночи, до утра, а нередко и вовсе не ложился спать. По словам Чернышевского, его «надобно было удерживать от работы». В конце концов громадное напряжение не могло не сказаться на его здоровье; несомненно, что еще институтский режим и недоедание нанесли ему серьезный ущерб. Непосильный труд привел к дальнейшему ослаблению организма; он почувствовал себя больным. Врачи, лечившие Николая Александровича, считали, что у него началась золотуха.

Надо было лечиться, и летом 1858 года Добролюбов отправился в Старую Руссу, городок Новгородской губернии, славившийся своими лечебными грязями. Здесь собралось довольно обширное и веселое общество, но Добролюбов почти не соприкасался с ним. «Приезжих на воды здесь очень много, и все очень веселятся, кроме, впрочем, меня». Однако чувство юмора его не покидало никогда, и он так изобразил свое лечение в шутливом стихотворном письме к С. П. Галахову:

Я лечуся
В Старой Руссе
От болезни.
Но, — хоть тресни,
Золотуха,
Точно муха,
Так пристала,
Что ей мало
Ванн соленых,
Кипяченых;
Нужны грязи...

Несмотря на этот шутливый тон, он чувствовал себя в моральном отношении очень плохо. Как раз во время полуторамесячного пребывания в Старой Руссе Добролюбов испытал приступы пессимизма, разочарования в собственных силах.

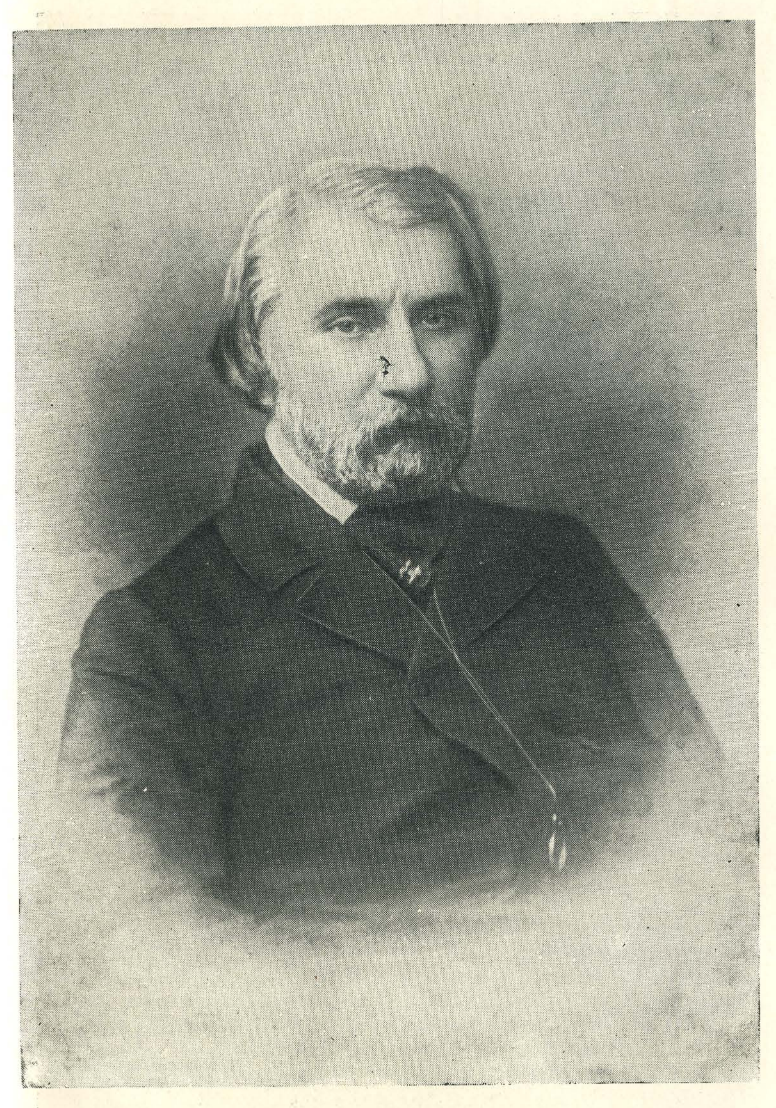
«Мне горько признаться Вам, — писал он одной нижегородской знакомой, — что я чувствую постоянное недовольство самим собой, и стыд своего бессилия и малодушия... я чувствую совершенное отсутствие в себе тех нравственных сил, которые необходимы для поддержки умственного превосходства». Он перестал верить в себя, в свою работу, так необходимую для общества: «Я вижу сам, что все, что пишу, слабо, плохо, старо, бесплодно, что тут виден только бесплодный ум, без знаний... Поэтому я не дорожу своими трудами, не подписываю их, и очень рад, что их никто не читает...» Тогда же он писал Златовратскому, что скоро прекратит свою «бестолковую деятельность» по литературной части и посвятит себя скромному педагогическому труду где-нибудь вдали от Петербурга.

Разумеется, все это говорилось под впечатлением минутного настроения Несправедливость его по отношению к самому себе была настолько очевидна, что это хорошо видели даже люди, к которым обращался со своими жалобами Добролюбов, а они были весьма далеки от настоящего понимания «юноши-гения» (так назвал его Некрасов) И для нас существенны не слова самообличения, на которые он иной раз бывал так щедр, а мысли, свидетельствующие о том, что даже лучшие русские люди, отличавшиеся стойкостью характера и убеждений, испытывали по временам мучительные сомнения перед лицом враждебной стихии, перед лицом крепостничества, наложившего свой отпечаток на всю тогдашнюю жизнь

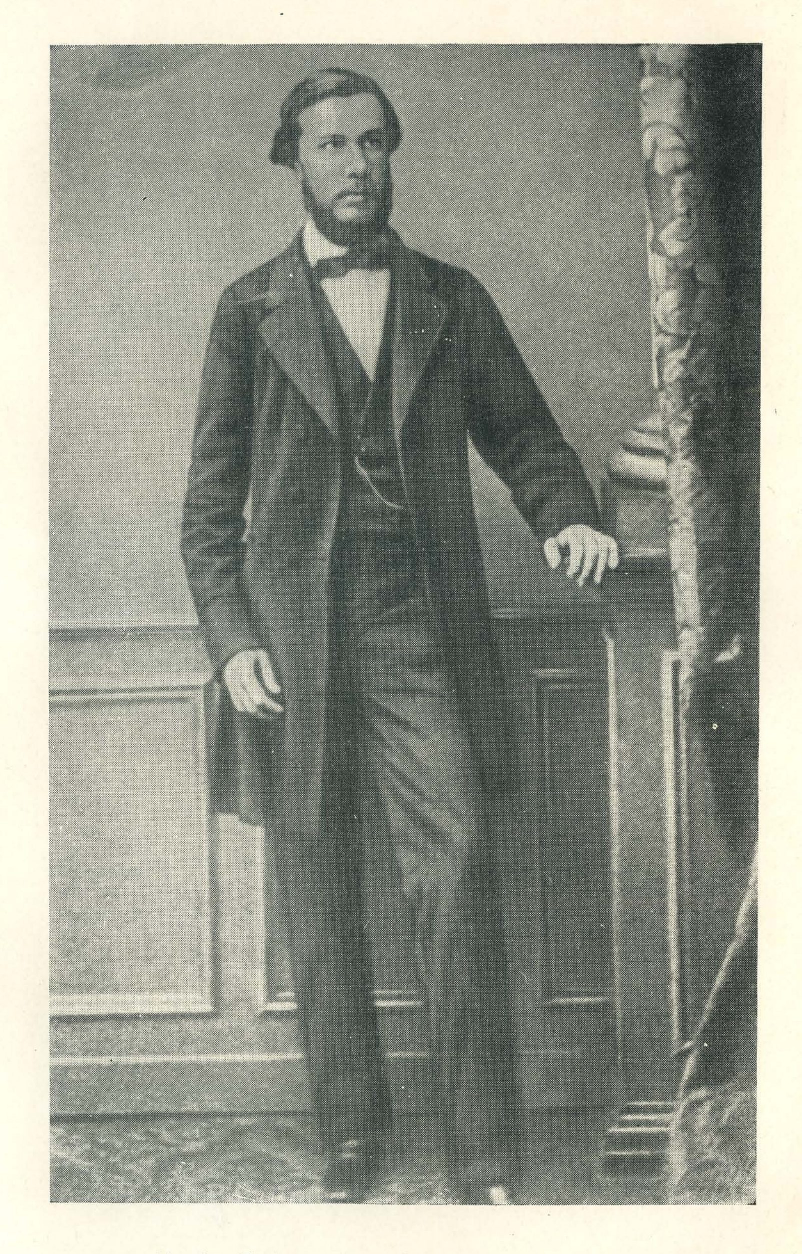
Друзья Добролюбова, разбросанные по разным городам, сообщали ему невеселые новости. От Вани Бордюгова он узнавал, как «тяжело и грустно» в Москве, от Паржницкого — то же самое о Казани Михаил Иванович Шемановский присылал отчаянные письма из Ковно, где он преподавал в гимназии. 12 сентября Добролюбов ответил ему большим письмом, которое начиналось так

«Миша! Милый мой друг! Письмо твое страшно. Ты весь в каком-то лихорадочном, отчаянном положении Неужто такая полная безотрадность господствует во всем, что окружает тебя? Неужто ни души живой нет, ни одного существа мыслящего или способного к мысли не встречал ты там? Грустно верить этому, Миша. Ты ничего не пишешь о гимназистах разве ты не сблизился с ними? Разве не старался пробивать хотя в некоторых из них кору ковенской пошлости и апатии? Ради бога, Миша, напиши мне об этом подробнее Ведь ты знаешь, что вся наша надежда на будущие поколения »

Дальше Добролюбов говорил о вялости своих сверстников, о той «мрачной, бессильной, ожесточенно-грустной тишине, которая господствует теперь между нашими лучшими людьми . » Он объяснял эту «тишину» тем, что «на нас всех» легла «мертвенная апатия русского крепостного народа». Таким образом, Добролюбов связывал настроение передовой де-



И. С. Тургенев.



Н. А. Добролюбов. Фотография 1860 года.

мократической интеллигенции с настроением угнетенных масс крепостного крестьянства. Как истинный патриот, он скорбел при мысли о недостатке революционности в массах: ему начинало иногда казаться, что крестьянство не способно к решительному выступлению против властей.

Однако это настроение безнадежности недолго владело Добролюбовым. Оно быстро сменилось его обычной твердой верой в лучшее будущее, верой в себя, в свои силы и способность принести пользу людям. Уже в следующем году он по-прежнему полон надежд на возможность и близость крестьянской революции. В это время он пишет друзьям письма, полные горячих призывов к деятельности. Шемановского он теперь убеждает отказаться от мрачных мыслей и бодро готовиться к большим событиям. Пламенным агитатором он выступает и в своих журнальных статьях, звучащих подобно ударам набата. Обращаясь к людям своего поколения, он стремится пробудить их сознание, внушить им веру в неизбежность борьбы, сплотить их ряды.

* * *

Лечение в Старой Руссе принесло некоторую пользу. В августе Добролюбов вернулся в Петербург окрепший и отдохнувший. Но условия его столичной жизни были крайне неблагоприятны. Он снимал плохую квартиру на Фонтанке (дом № 38), питался кое-как в дешевом ресторане, да и на это у него не всегда хватало времени. Часто ему приносили домой холодный и скверный обед, после которого он чувствовал боли в желудке. Друзья его некоторое время ничего не знали о том, как он живет.

В конце лета он несколько раз бывал на даче у Некрасова, где собирались все сотрудники «Современника». За обеденным столом вместе с ним сидели Некрасов, Тургенев, Анненков, Григорович, Панаев. Обычно Добролюбов не принимал участия в общей оживленной беседе. Он внимательно слушал, и на серьезном, спокойном лице нельзя было прочесть, ка-

кое впечатление производят на него те или иные разговоры. После обеда он обычно обсуждал с Некрасовым планы ближайших номеров журнала.

Однажды Авдотья Яковлевна Панаева с сестрой и племянницами повели его в лес за грибами. Оказалось, что он никогда прежде не собирал грибов, и по близорукости не мог найти ни одного. Дамы потешались над тем, как он чуть не разбил очки о сучок и не заметил огромного красного гриба, около которого стоял. Добролюбов и сам все время шутил, уверяя, что постарается вскоре сделаться самым завзятым грибником...

Как-то раз Некрасов побывал у Добролюбова на Фонтанке и был поражен его сырой квартирой с обвалившейся, грязной штукатуркой, с дрянной хозяйской меблировкой, с полным отсутствием удобств и уюта. Некрасов сразу же поехал к Чернышевскому; он вошел к нему со словами:

— Я сейчас был у Добролюбова, я не представлял себе, как он живет. Так жить нельзя, надобно приискать ему другую квартиру. Неужели вы не могли сказать мне об этом раньше?

Чернышевский смутился: он много раз бывал в сырой квартире своего друга, но никогда не обращал внимания на ее недостатки.

Через два-три дня Добролюбов уже расстался с жилищем на Фонтанке. Некрасов подыскал для него и привел в порядок две комнаты рядом со своей квартирой на Литейном проспекте, угол Бассейной. Здесь же помещалась и редакция «Современника». Для удобства пробили дверь, и Добролюбов фактически стал жить в одной квартире с Некрасовым, попав, таким образом, на «литературное подворье» (так называли этот дом, где постоянно толклись литераторы).

Теперь его быт во многом упорядочился. Большую часть времени он проводил у Некрасова, который горячо любил своего молодого сотрудника. Утром, когда все еще спали, Добролюбов приходил пить чай в обществе Авдотьи Яковлевны, рано встававшей. Она заставляла его как можно больше есть

и ужасалась, когда он являлся к чаю позеленевший, прямо после бессонной ночи, проведенной за письменным столом. К этому же часу нередко приходил сюда и Чернышевский — специально для того, чтобы без помех поговорить с Добролюбовым.

Обедал он обычно вместе с Панаевыми и Некрасовым, за исключением тех дней, когда ему нельзя было оторваться от срочной работы; в этих случаях Авдотья Яковлевна посылала ему обед. Она вообще много заботилась о Добролюбове. Позднее, когда он выписал к себе из Нижнего маленьких братьев—сначала девятилетнего Володю, а потом и Ваню, — ей пришлось немало заниматься их воспитанием.

Днем и после обеда Добролюбов также постоянно бывал у Некрасова. Они занимались редакционной работой — чтением рукописей, корректурами, говорили о делах журнала, составляли планы номеров. По словам Чернышевского, «они любили работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу».

Старые сотрудники «Современника» с некоторым удивлением смотрели на привязанность Некрасова к молодому критику. Тургенев, одно время бывавший здесь почти каждый день, как свой человек, ходил за Некрасовым по пятам, явно ревнуя его к Добролюбову. Он относился к молодому критику неприязненно и свысока. Как-то раз, пригласив всех находившихся в редакции литераторов к себе на обед, Тургенев повернулся в сторону Добролюбова и сказал:

— Приходите и вы, молодой человек.

Разумеется, после такого приглашения он не пошел. Тургенев еще не раз делал попытки зазвать его к себе, но Добролюбов упорно уклонялся, чем немало удивлял прославленного писателя. Сначала Тургенев объяснял это семинарской застенчивостью, боязнью попасть в непривычное аристократическое общество. Потом он понял, что дело было совсем не в этом: Добролюбов не боялся, а скорее презирал аристократов.

Заметно уязвленный равнодушием Добролюбова, Тургенев стал внимательнее относиться к нему, пытался заводить с ним разговоры. Хотя эти разговоры

по-прежнему не клеились и Добролюбов старался избегать их, однако Тургенев почувствовал в конце концов, что перед ним человек незаурядный по умственному развитию и образованности.

«Между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями? И какая чертовская память!

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — отвечал Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский».

Этот рассказ А. Я. Панаевой верно передает общий характер взаимоотношений между главными деятелями «Современника».

* * *

К концу 50-х годов, по мере назревания революционной ситуации в стране, голос Добролюбова звучал все громче и громче. Усиление крестьянского движения, рост недовольства в народных массах, с одной стороны, подготовка правительством куцей крестьянской реформы, отвечавшей помещичьим интересам, — с другой, позволяли надеяться на близость крестьянской революции, которая — по мысли руководителей «Современника» — должна была смести с лица земли режим крепостного угнетения.

Общественная атмосфера все более накалялась. Характеризуя политическую обстановку в России тех лет, В. И. Ленин указывал: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*, появление прокламаций, возбуждение крестьян... — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [1].

Мысль о неизбежном приближении грозных событий владела в то время умами многих. Характерное свидетельство об этом сохранилось в письме Герцена. В августе 1861 года он писал одному из своих корреспондентов: «Вы меня предостерегаете, что социальные идеи, о которых я говорю, начнут осуществляться через 1 000 лет. Вычисление выше не имеет фактического основания, и вы его сделали шутя... Мне кажется, что вы принимаете петербургское правительство за чрезвычайно прочное, и строите на нем систему улучшений и прогресса, а оно не простоит десяти лет, если пойдет путем флигель-адъютантских митральес, польских учреждений на монгольский манер и пр.» [2].

Добролюбов, как и Чернышевский, хорошо понимал, что подготовка революционного выступления связана с необходимостью создать подпольную организацию, которая могла бы осуществлять руководство стихийным народным движением в стране. Этот вопрос с неизбежностью возникал перед лучшими русскими людьми, решившими посвятить себя «святому делу» — борьбе за освобождение народа.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 26—27.

[2] В последних словах Герцен имеет в виду тот факт, что для подавления крестьянских восстаний царское правительство посылало флигель-адъютантов, в некоторых случаях применявших против бунтующих артиллерию — пушки («митральесы»).

Многочисленные косвенные данные, а также опубликованные в последние годы материалы позволяют утверждать, что на рубеже 60-х годов в России начала складываться такая организация. Ее центром, ядром был руководящий кружок «Современника» во главе с Чернышевским и Добролюбовым. Они опирались на группу передовых людей, собравшихся вокруг журнала, и вместе с ними стремились распространить свое влияние в различных кругах русского общества.

Среди деятелей «Современника», отличавшихся своей преданностью народному делу, надо назвать видных публицистов Н. В. Шелгунова и М. А. Антоновича, поэта М. Л. Михайлова, офицеров Владимира и Николая Обручевых, братьев Серно-Соловьевичей, Александра и Николая. Второй из них, публицист и поэт, являлся одним из организаторов тайного общества «Земля и воля» (1862). Арестованный в один день с Чернышевским, Николай Серно-Соловьевич был сослан на вечное поселение в Сибирь, где и погиб.

Видным участником революционного движения был Владимир Александрович Обручев, выступавший как публицист на страницах «Современника». Осенью 1861 года его арестовали и приговорили к каторжным работам.

Профессор академии Генерального штаба Николай Николаевич Обручев также был тесно связан с Добролюбовым и находился в переписке с «лондонскими пропагандистами». В то же время он участвовал в подготовке революционных прокламаций и был одним из тех лиц, через которых Добролюбов и Чернышевский осуществляли свою связь с военными кругами в Петербурге. Будучи за границей, Добролюбов переписывался и встречался с Обручевым. Его подпись появилась под некрологом, извещавшим о смерти Добролюбова, — она стояла рядом с подписями Чернышевского, Некрасова и Панаева.

Еще более тесной была дружба Добролюбова с Михаилом Ларионовичем Михайловым, одним из главных деятелей революционного подполья. Известный поэт и переводчик западноевропейской прогрес-

сивной поэзии, талантливый публицист и критик, страстно выступавший в защиту идейности искусства, Михайлов был активным сотрудником «Современника»; с 1860 года он руководил в журнале отделом иностранной литературы. В то же время Михайлов вел большую конспиративную работу. Во время поездок за границу ему случалось встречаться в Лондоне с Герценом и Огаревым, и вряд ли можно сомневаться в том, что эти встречи носили политический характер. Вместе с Шелгуновым Михайлов написал, тайно напечатал, а затем распространил революционные прокламации «К солдатам» и «К молодому поколению», содержавшие прямой призыв к вооруженному восстанию против самодержавия.

Добролюбов, конечно, не мог не знать об этой стороне деятельности Михайлова (хотя не сохранилось прямых свидетельств об их подпольных связях). Ведь Чернышевский назвал его лучшим другом Добролюбова, указывая на их идейную близость, а в то же время известно, что даже люди, несравненно более далекие Михайлову, были прекрасно осведомлены о его готовности вступить в открытую борьбу с самодержавием, о его вере в близость народной революции. Один из современников рассказывает о Михайлове: «Голос его слегка дрожал, когда он говорил, что народ просыпается, прозревает, и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его)» [1].

В воспоминаниях другого мемуариста мы находим рассказ о том, как Михайлов, связанный со студенческими кругами, встретил царский манифест 19 февраля 1861 года, провозгласивший так называемое «освобождение» крестьян. В день опубликования манифеста на квартире у Е. П. Михаэлиса (брата Л. П. Шелгуновой) Михайлов вместе с группой студентов «читали вслух текст манифеста и потом все начали его разбирать по косточкам. Никого он не удовлетворял... Ждали совсем не того, не только по

---

[1] П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, стр. 149.

форме, но и по существу. Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения. Тут — в первый раз — тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли»; но и раньше я догадывался, что его считают прикосновенным революционной организации, после его поездки за границу, в Лондон» [1].

Таким остался Михайлов в памяти современников: непримиримым, убежденным, «сжегшим корабли». И то, о чем лишь догадывался Боборыкин, безусловно во всех подробностях было известно Добролюбову.

Озабоченный формированием «революционной партии» 60-х годов, Добролюбов активно искал единомышленников и союзников, завязывал связи в военных кругах, в среде студенчества, между поляками, жившими в Петербурге (в эти годы назревало известное польское восстание, позднее жестоко подавленное царским правительством). Любопытно признание Добролюбова, сделанное в письме к Бордюгову весной 1859 года: «Недавно познакомился с несколькими офицерами военной Академии и был у нескольких поляков, которых прежде встречал у Чернышевского. Все это люди кажется хорошие, но недостаточно серьезные». Спустя год он упоминает в письме к своему товарищу по институту Златовратскому о том, что встречается «кое-где» с «одним сербом».

Добролюбова окружала атмосфера лихорадочного ожидания близкой революции (и это, кстати сказать, нашло свое отражение в его критических статьях, где сквозь ткань литературного анализа нередко прорываются почти прямые революционные призывы). Критик «Современника» ежедневно общался с людьми, которые писали и распространяли смелые прокламации, обращенные к народу, и не исключена возможность, что он сам принимал участие в составлении некоторых документов этого рода, что они возникали с его ведома. Вспомним, что Чернышевский был пря-

[1] П. Д. Боборыкин. За полвека. М. — Л., 1929, стр. 173.

мым вдохновителем тех кружков, в которых родились прокламации «Великорусс», «К солдатам», «К молодому поколению», «Молодая Россия», и сам написал прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». А все, что делал Чернышевский, было хорошо известно Добролюбову; все, что знал один, знал и другой.

Вряд ли случайно Добролюбов еще в 1858 году шутливо писал своему приятелю: «...Уж я хотел было обратиться из явной полиции в тайную, которая должна знать меня несколько лучше». Чернышевский, публикуя это письмо своего друга, счел нужным сопроводить его таким примечанием: «Николай Александрович, по всей вероятности, ошибался. Должно полагать, что он до самого конца сохранял репутацию человека, чуждого делам, несогласным с интересами существовавшего порядка». Каждое слово этого примечания дышит насмешкой. Очевидно, и Добролюбов и Чернышевский прекрасно понимали, что тайная полиция следит за ними, и это вынуждало их проявлять максимальную осторожность.

Для организации революционного подполья немалую роль играла деятельность Герцена и Огарева, имевших возможность открыто выступать против самодержавия. Лондонские революционные эмигранты, так же как и крестьянские демократы в России, готовились к борьбе против общего врага, хотя и расходились в целом ряде серьезных вопросов. В 1859—1860 годах они составили тайную программу «нового устройства России» и план действий во время будущего всеобщего восстания. Как показывают недавно опубликованные документы [1], Огарев и Герцен в годы революционной ситуации вынашивали план создания в России разветвленной подпольной организации; ею должны были руководить два основных революционных центра — в Лондоне и Петербурге.

В свете этих фактов становятся особенно интересны многочисленные намеки, содержащиеся в письмах

[1] См. «Литературное наследство», 1953, т. 61 («Герцен и Огарев»).

и дневнике Добролюбова 1859 года. Не ограничиваясь пропагандой со страниц «Современника», он вел также большую работу, стремясь привлечь в свои ряды новых друзей и соратников. Именно в это время он вспомнил о прежних товарищах, участниках институтского подпольного кружка, и решил возобновить связи с теми из них, на кого можно было надеяться как на людей честных и разумных. Иными словами, он хотел вовлечь своих товарищей по институтскому кружку в новую революционную организацию. «Отбросив ложный стыд», он обратился, например, к Турчанинову, с которым не общался после размолвки, вызванной клеветой Давыдова. «Я убедился, — писал он пока еще осторожно, — что честные люди очень дороги, особенно теперь, когда представляется возможность делать что-нибудь полезное, а не сидеть сложа руки».

В письме к другому товарищу (в мае 1859 года) он писал: «Честные люди нужны теперь больше, нежели когда-нибудь. Скажи мне, где Львов? Я и к нему написал бы...»

В третьем письме Добролюбов восклицал: «А людей так мало, так мало — вовсе почти нет. В последнее время я приобрел человек пять-шесть новых знакомых, но только один из них до сих пор кажется мне порядочным человеком. Прочие — современные либеральчики».

Добролюбов начал переписываться с Златовратским, Сциборским, Конопасевичем и другими. Бориса Сциборского, жившего в Новгороде и преподававшего там в кадетском корпусе, он откровенно убеждал взять на себя обязанности пропагандиста. Испытывая к нему самые теплые чувства, Добролюбов писал: «Мне не хотелось бы, чтобы наша дружба имела основанием только личные отношения... Я уже давно имею в виду другие основания, которые могли бы меня связывать с людьми, и надеюсь, что на этих основаниях наша дружба с тобою может быть крепче и чище... Ты знаешь, что это за начала, и ты можешь помочь их распространению и утверждению в том круге, где тебе пришлось теперь действовать...»

Большой интерес представляет еще недостаточно изученная запись в дневнике Добролюбова, сделанная 5 июня 1859 года: «...А здесь настоящее сочувствие только и нашел я в Ч., О., да С. Есть, правда, еще Н., Ст., Д., — да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае мало нас: если и семеро, — то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет...» Несомненно, в этих строчках речь идет о сочувствии близкой революции; об этом говорит и общий тон записи, и зашифрованные фамилии, и многозначительная уверенность в том, что «нас скоро прибудет».

В одном из писем своему другу Бордюгову он писал: «Пойдем же дружно и смело... Попробуй же, Ваня, сознательно окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам, и т. д. *Можно бы назвать и короче, но ты и без того понимаешь, о чем я говорю...»* (курсив мой. — *В. Ж.*).

В другом письме тому же Бордюгову он писал следующее: «Сегодня вечером отправлюсь в Горный Корпус и отыщу Дмитревского. Завтра напишу тебе. Ты сам должен *непременно* приехать. Нам *нужно* говорить о предметах очень важных. Теперь нас зовет деятельность; пора перестать сидеть сложа руки... Приезжай, ради бога. Ты очень нужен. Твой на все Н. Добролюбов» (подчеркнуто автором).

Все это позволяет с уверенностью сказать, что в письмах нашли отражение неизвестные нам обстоятельства, связанные с нелегальной деятельностью Добролюбова. За этими осторожными по необходимости строчками, за их недомолвками и намеками мы ощущаем атмосферу напряженных ожиданий, конспиративных разговоров, попыток начать практическую работу. Те же мысли приходят в голову, когда мы читаем стихотворение «Еще работы в жизни много», написанное Добролюбовым в последние годы жизни. Здесь также идет речь о каких-то кружках, участником которых был поэт, звавший своих товарищей к «живому делу» и неизменно презиравший пустое «словопренье»:

Я ваш, друзья, — хочу быть вашим.
На труд и битву я готов, —
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов.
 Но если нет, мое презренье
 Меня далеко оттолкнет
 От тех кружков, где словопренье
 Опять права свои возьмет.
И сгибну ль я в тоске безумной,
Иль в мире с пошлостью людской, —
Все лучше, чем заняться шумной,
Надменно-праздной болтовней.

Стихотворение заканчивалось многозначительной строфой, полной веры в торжество «святого дела»:

Но знаю я, — дорога наша
Уж пилигримов новых ждет,
И не минет святая чаша
Всех, кто ее не оттолкнет.

Эти и многие другие строки стихов Добролюбова, многочисленные намеки, содержащиеся в его письмах, дают известное представление о конспиративных связях, складывавшихся между «революционерами 61-го года».

Еще недавно, немногим больше полугода назад, Добролюбов в письме к Шемановскому горькими словами характеризовал вялость и «нравственное расслабление», будто бы свойственные молодому поколению; теперь же, полный энергии и надежд, он горячо зовет своего друга к большой работе для общего блага. Он доказывает ему, что в жизни есть интересы, которые «могут и должны зажечь все наше существо». «Интересы эти заключаются не в чине, не в комфорте, не в женщине, даже не в науке, а в общественной деятельности. До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны *создать* эту деятельность... И я верю, что будь сотня таких людей хоть как мы с тобой и с Ваней, да решись эти люди, и согласись между собой окончательно, — деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов...»

Что значили слова — *создать общественную деятельность?* На языке, понятном друзьям Добролюбова, это значило вызвать к жизни такие общественные силы, которые могли бы совершить переворот, насильственным путем свалить ненавистное самодержавие. В другом письме к тому же Шемановскому (от 6 августа 1859 года) Добролюбов еще более ясно расшифровал свою мысль. Он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, — но и умрем все-таки не даром... Вспомни:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной.

и т. д.

Прочти стихов десять, и в конце их ты увидишь яснее, что я хочу сказать». Перечитаем указанные Добролюбовым строки из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин»:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Для пояснения своей мысли о революционном подвиге Добролюбов прибег к некрасовским стихам, выражавшим эту мысль сжато и точно. Стихотворение «Поэт и гражданин», истолкованное в придворных кругах как призыв к революции, всем своим содержанием было близко Добролюбову. Он находил в нем выражение своих взглядов на общественное значение искусства. Некрасовский идеал гражданского поэта и деятеля вообще отвечал его собственным представлениям.

Стихи Некрасова были в руках Добролюбова действенным агитационным материалом, которым он пользовался охотно и умело. В письмах друзьям он обращал их внимание на новые стихотворения своего любимого поэта, появлявшиеся на страницах «Современника». Единство мнений поэта и критика складывалось в совместной работе, в постоянном дружеском общении.

В годы наибольшего сближения с Добролюбовым поэтическое творчество Некрасова приобрело особенно ярко выраженную революционную направленность, в нем с бо́льшой силой зазвучали смелые призывы к борьбе с угнетателями («Песня Еремушке»). В это же время Некрасов создал потрясающие картины народного горя («Размышления у парадного подъезда», «На Волге» и др.); в сатирических стихах он язвительно высмеивал либералов, поддерживая, таким образом, соответствующие выступления публицистов «Современника».

Литературные враги Некрасова, пытаясь унизить поэта, ехидно упрекали его в том, что он перекладывает в стихи политические идеи Добролюбова. Однако Некрасов недаром говорил, что он ловит «звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья». Единство убеждений, роднивших крупнейшего поэта революционной демократии с ее политическими вождями, могло только возвысить Некрасова в глазах его почитателей.

Некрасов, воспитанный в школе Белинского и хорошо помнивший своего учителя, постоянно думал о нем, глядя на Добролюбова. Он не раз сравнивал их и пророчил своему молодому другу великую славу его предшественника. Уже из этого видно, каким прочным уважением пользовался Добролюбов со стороны Некрасова, и нет ничего удивительного в том, что он внимательно прислушивался к советам критика. Вся политическая атмосфера «Современника», созданная Добролюбовым и Чернышевским, оказывала благотворное воздействие на поэтический гений Некрасова.

Предполагают, что замысел одного из самых сильных некрасовских стихотворений — «Железной дороги» — возник под впечатлением статьи Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» (1860), где подробно рассказывалось о чудовищных условиях, в которые были поставлены рабочие — строители Волжско-Донской железной дороги. Статья Добролюбова имела подзаголовок «Отчего иногда люди мрут как мухи?».

В квартире Добролюбова и под непосредственным впечатлением беседы с ним Некрасовым была написана знаменитая «Песня Еремушке», проникнутая горячим желанием пробудить в молодом поколении «человеческие стремления»:

Братством, Равенством, Свободою
Называются они

Добролюбов очень ценил эти стихи. В сентябре 1859 года он писал Бордюгову: «...Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово «истина» — равенство, «лютой подлости» — угнетателям; это — опечатки... Помни и люби эти стихи они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости...»

В своих журнальных статьях этого времени Добролюбов также цитировал «Песню Еремушке». Он понимал, как много могут сделать для возбуждения умов гражданские песни Некрасова. И он заботился о том, чтобы они распространялись в том виде, в каком выходили из-под пера поэта; он указывал (конечно, только в письмах) на те грубые искажения («опечатки»), которыми цензура калечила некрасовские стихи, пытаясь смягчить их революционную остроту.



XVI. «НЕ НАДО НАМ СЛОВА ГНИЛОГО И ПРАЗДНОГО...»

Теперь ему уже не казалось, как в прошлом году, что все написанное им слабо и бесполезно. Он с увлечением писал для «Современника», вкладывая в журнальные статьи весь пламень своего сердца. Он видел перед собой читателя и обращался к нему со своей проповедью. «Современник» стал для него трибуной, средством пропаганды, с помощью которой он мог осуществлять единственную цель своей жизни — внедрять в сознание людей идею революции, готовить свержение крепостнического строя. Одному из своих друзей Добролюбов многозначительно писал о «Современнике»: «Он для меня все более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, *почему...»* Слова «настоящее дело» особенно характерны. в устах Добролюбова они равнозначны понятию «святое дело», то есть революционное дело.

Его статьи и рецензии 1859 года овеяны могучим революционным вдохновением. В этом году — на протяжении нескольких месяцев — написаны такие выдающиеся произведения литературной публицистики, как «Что такое обломовщина?», «Темное царство»,

«Русская сатира в век Екатерины». Каждой из этих статей было бы достаточно, чтобы навсегда прославить имя автора.

Но не только в таких крупных выступлениях сказался боевой темперамент Добролюбова, он ясно ощутим и во многих небольших статьях и рецензиях, имеющих тем не менее принципиальное значение. Какая-нибудь «глупейшая книга», озаглавленная «Наука жизни» и посвященная наследнику престола, вызывает у него поток гневных слов в осуждение людей, которые «с убеждением и даже пафосом излагают кодекс отвратительной морали», основанной на принципах молчалинской умеренности и угодливости, исключающих общественную активность. Забывая о цензурных запретах, Добролюбов обращается к честным людям с призывом к решимости, к действиям, доказывает назревшую необходимость «предпринять коренное изменение ложных общественных отношений, господствующих над нами и стесняющих нашу деятельность».

Написав рецензию на книгу «Наука жизни», Добролюбов выражал опасение: пропустит ли ее цензура, — настолько смелыми он сам считал выраженные в ней мысли. Проводя идею революции («коренное изменение» общественных отношений означало именно это), он звал к деятельному труду для общего блага, говорил о праве каждого человека на счастье; он горячо убеждал и стыдил тех, кто не чувствовал в себе довольно сил, чтобы восстать против целого общества, и оправдывался тем, что «один в поле не воин». Словом, Добролюбов развивал здесь те самые мысли, которые составляли содержание его писем к институтским товарищам. Свои печатные выступления он адресовал им же, угадывая за ними сотни других своих читателей, представлявших целое поколение новой демократической интеллигенции. Он так и писал, например, Бордюгову о своей рецензии на книжку «Наука жизни»: «Там есть странички четыре для тебя. Пожалуйста, мой друг, не мирись с гадостью и подлостью: право, мы еще молоды.

И перед нами жизни даль
Лежит светла, необозрима ..»

Содержание последних четырех страниц добролюбовской рецензии в «Современнике» вполне совпадает с этими словами из письма к Бордюгову: речь снова идет о необходимости «создать общественную деятельность».

«Современник» оказывал прямое и непосредственное влияние на формирование демократической идеологии. Широкие круги читателей в разных концах страны с нетерпением ждали статей Добролюбова и Чернышевского, находя в них ответы на самые животрепещущие вопросы. О популярности журнала свидетельствует письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина, который 13 февраля 1860 года писал А. В. Дружинину из Рязани:

«...Скажу Вам здесь кстати о расположении умов в провинциях относительно журналов. Всего более в ходу «Современник»; Добролюбов и Чернышевский производят фурор и о *честной деятельности* «Современника» говорят даже на актах в гимназиях».

Призывая к революционному разрешению кризиса, переживаемого крепостническим государством, Добролюбов вместе с Чернышевским и Некрасовым стремился пробудить к активной деятельности все оппозиционные элементы русского общества. Перед революционно-демократическим «Современником» стояла важнейшая задача — борьба за идейную подготовку крестьянской революции в стране. Необходимой составной частью этой борьбы было разоблачение либерализма во всех его проявлениях, резкое размежевание с теми, кто хотел удовольствоваться жалкими реформами; кто звонкими фразами о прогрессе и гласности пытался прикрыть свою паническую боязнь движения масс, способного свергнуть монархию, уничтожить власть помещиков.

Чернышевский на страницах «Современника» неустанно вел войну против либералов, ибо он, по словам Ленина, «ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть иму-

щими»[1]. Сокрушительный удар по либерализму он нанес своей известной статьей «Русский человек на rendez-vous»(по поводу повести Тургенева «Ася»), появившейся в 1858 году в журнале «Атеней». Разоблачая здесь героев либеральной фразы, неспособных к настоящему делу, Чернышевский открыто выступал против лагеря, к которому примыкал Тургенев.

Добролюбов тогда же поддержал Чернышевского. В своей статье о Станкевиче он, не называя Тургенева по имени, вскрыл либерально-дворянские основы его идейно-философских позиций. В дальнейшем Добролюбов, непримиримый противник всякой половинчатости, фальши и лицемерия, также плечом к плечу с Чернышевским выступал против либералов. В начале 1859 года в «Современнике» была опубликована его блестящая статья «Литературные мелочи прошлого года», явившаяся программным документом идейной борьбы, которую вела революционная демократия.

Статья вызвала шумное негодование во враждебном лагере: с суровой прямотой в ней ставился вопрос о беспомощности либеральничающих литераторов, наивно верящих в прогрессивные намерения правительства и мнимые успехи так называемой гласности. Но еще большее впечатление произвела та часть статьи, в которой автор проводил резкую черту между «старым поколением», сходящим с исторической сцены, и новым поколением русской молодежи, поколением разночинцев, революционных демократов.

Только немногие люди поколения 40-х годов умели, подобно Белинскому, слить самих себя со своим «принципом». «У Белинского внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю, жизненную потребность: проповедовать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить». Белинский был не одинок: тогда появились и другие «сильные люди», проникнутые «святым недовольством» и решившиеся продолжать «борьбу с обстоятельствами» до последних сил. Явно имея в виду зарубежную дея-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 97.

тельность Герцена и Огарева, Добролюбов глухо упоминал о людях, которые «доселе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людьми будущего...».

Но это были исключения из «нормы»; большинство же деятелей «старого поколения» превратилось в «литературных Маниловых». Добролюбов особенно ополчается против так называемых «обличителей», усилия которых были направлены не против главного зла русской жизни — крепостничества и самодержавия, а против мелких, частных недостатков, критиковать которые разрешало правительство. Представители этого «сатирико-полицейского» направления в литературе не шли дальше осуждения взяточников, писарей и городовых. «Но вслушайтесь в тон этих обличений, — негодовал Добролюбов. — Ведь каждый автор говорит об этом так, как будто бы все зло в России происходит только от того, что становые нечестны и городовые грубы!»

Статья «Литературные мелочи прошлого года» важна еще в одном отношении. Выступая от имени «новых людей», Добролюбов яркими штрихами набросал типические черты своего поколения. Главное, что отличает этих «новых людей», заключается в следующем: «На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое, существенное благо... Их последняя цель — не совершенная рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству...»

«Люди нового времени», по словам Добролюбова, приобрели опыт, которого недоставало их предшественникам. Они твердо знают, чего хотят, верят в свои силы и в свою правоту. Критик прибегает к довольно прозрачной «шахматной» аллегории. «Нынешние молодые люди», говорит он, подобно опытному шахматисту, хотят вести «серьезную игру и потому считают вовсе ненужным с первого же раза выводить слона и ферезь, чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю. Они, наверное, рассчитывают, что это только повредит их игре, и потому подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки... Они также добьются своего шаха и мата; но их образ действий вернее,

хотя вначале игра и не представляет ничего блестящего и поразительного».

Эти слова цензура вычеркнула из журнального текста статьи Добролюбова, догадавшись, что ссылка на шахматного короля может быть в нежелательном смысле истолкована читателями, привыкшими искать запрятанные между строк мысли автора. А тут не надо было и искать: Добролюбов, реальный политик, трезво оценивавший обстановку, в сущности, прямо говорил, что опытные, расчетливые «игроки» вернее добьются победы над «королем», чем новички, выбирающие эффектный, но рискованный ход... Чтобы мысль Добролюбова стала яснее, стоит вспомнить слова, записанные в его дневнике еще в декабре 1855 года. Тогда Добролюбов также размышлял о том, какими путями лучше двигаться к «великой цели», и говорил, что он будет действовать медленно, но расчетливо и наверняка. «...Жизнь, безопасность личную я отдам на жертву великому делу, но — это тогда только, когда самопожертвование будет обещать верный успех... Иначе... К чему губить жизнь, которая еще может быть полезна?»

В журнальной статье он, разумеется, не мог говорить о необходимости «подготовлять умы» к великому делу переворота, о готовности революционера к самопожертвованию с той откровенностью, какую позволял себе в дневнике. Но, несмотря на это, очевидно, что теперь его мысль стала более зрелой, а главное — он ощутил себя участником большого общественного движения, увидел силу молодого поколения и смело заговорил от его имени. Вот почему его статья согрета страстью революционного порыва. Могучим призывом к деятельности, к борьбе, набатным призывом к революции звучат ее заключительные строки:

«Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...»

В этих словах — весь Добролюбов, в них вся его

ненависть к либеральной фразе, все его презрение к безволию и пассивности, ко всему, что могло бы отвлечь от великого дела борьбы за свободу народа. На определенном этапе освободительного движения разоблачение либерализма было одной из главных задач, которые ставила перед собой революционная демократия. Вот почему Добролюбов с такой разящей силой клеймил либералов.

Им написано немало блестящих страниц, развенчивающих прекраснодушие «людей сороковых годов», высмеивающих восторги казенных борзописцев по поводу мнимых успехов так называемой гласности, обнажающих подлинное существо всевозможных «обличителей» и лживых радетелей народа, сторонников куцых «реформ», любивших распинаться в своей любви к «бедному брату». В. И. Ленин указывал, что «последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский справедливо высмеивали либералов за *реформизм,* в подкладке которого было всегда стремление укоротить активность масс и отстоять кусочек привилегий помещиков, вроде выкупа и так далее» [1].

Добролюбовские страницы, разоблачающие российских либералов, надолго сохранили свое политическое значение. Они составляли важнейшую часть той «могучей проповеди», с помощью которой руководители «Современника» воспитывали «настоящих революционеров» (Ленин). Эту проповедь высоко ценил Ленин, явившийся наследником передовой русской общественной мысли. По словам Н. К. Крупской, Чернышевский и Добролюбов «научили его с ранней молодости внимательно вглядываться в жизнь, воспитали в нем особую настороженность к либеральному фразерству, научили ненавидеть либерализм...».

Сурово отвергая «слово гнилое и праздное», Добролюбов хотел, чтобы то слово, с которым он обращался к читателю, было «свежим и гордым», заставляющим сердце кипеть «отвагою гражданина». По природе своей он был трибун, агитатор, проповедник. Но уста его часто были скованы цензурой. Однажды

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 55.

Добролюбов воскликнул: «Боже мой, сколько великолепных вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!» То же самое полностью можно отнести и к нему самому. Сколько пламенных, призывных слов, обращенных к народу, могло бы выйти из-под пера критика, если бы ему не приходилось все время оглядываться на цензуру!

Теперь трудно даже представить себе, какое громадное количество сил и времени приходилось тратить ему для того, чтобы находить способы выражения своих мыслей. Приходилось рассуждать витиевато и туманно, прибегать к эзоповскому языку и всевозможным иносказаниям, приходилось ограничиваться намеками, надеясь на то, что читатель сумеет уловить ход мысли и догадаться сам о том, чего не мог сказать автор. У Добролюбова выработалась даже специальная терминология, которую научились понимать его читатели. Так, революцию он обозначал понятиями «святое дело», «особые обстоятельства», «самобытное воздействие народной жизни» и др. Не раз, доведенный до отчаяния поисками «обходных путей» и аллегорий, он прямо обращался к читателю, заявляя, что лишен возможности говорить с ним открыто, как ему бы хотелось. Одну из лучших своих статей Добролюбов заканчивал такими словами: «Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно, но пусть простят нас читатели, имевшие терпение дочитать нашу статью. Виною того и другого был более всего способ выражения, — отчасти метафорический, — которого мы должны были держаться... Иногда общий смысл раскрываемой идеи требовал больших распространений и повторений одного и того же в разных видах, — чтобы быть понятным и в то же время уложиться в фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи... Некоторые же вещи никак не могли быть удовлетворительно переданы в этой фигуральной форме, и потому мы почли лучшим пока оставить их вовсе. Впрочем, те выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами прийти на мысль читателю, у которого достанет терпения и внимания до конца статьи».

Но даже написав статью таким образом, то есть широко использовав «фигуральную форму», Добролюбов вовсе не мог быть уверен в том, что теперь его детище, наконец, появится в журнале.

Цензорское перо издавна по справедливости считалось бичом русской литературы. Как ни тупы были царские цензоры, наблюдавшие за «Современником», однако они весьма умело калечили статьи, руководясь то трусостью, то подозрительностью, а то и настоящим чутьем к скрытой «крамоле». И нередки были случаи, когда статья, побывавшая у цензора, возвращалась в редакцию в неузнаваемом виде, вся исчерченная красными чернилами. Достаточно вспомнить, например, печальную историю статьи Добролюбова о тургеневском «Накануне»: из первого ее варианта цензура вымарала полтора листа, то есть половину всего текста. Автор написал статью заново, но она опять не была пропущена, и только третья редакция появилась в «Современнике». Такие истории происходили нередко.

Переговоры и споры с цензорами испортили немало крови Добролюбову, не говоря уже о том, что они отнимали массу времени у всех руководителей «Современника». Чернышевский писал Добролюбову о цензоре Рахманинове: «...Он глупая скотина... Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него по крайней мере 25 стаканов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда». Панаев специально ездил к цензору для того, чтобы отвлекать его внимание разговорами, а в это время Чернышевский заставлял его поскорее просмотреть и подписать корректуру, да еще упрашивал Панаева: дескать, не мешайте, Иван Иванович, перестаньте рассказывать всякий вздор...

Добролюбов был упорен и настойчив, он охотно жертвовал временем и нервами, только бы не уступить, только бы отстоять свою мысль. Случилось, что даже Некрасов не выдерживал и махал рукой. Добролюбов же продолжал упорствовать и в конце концов добивался некоторых успехов. Однажды в десятом часу вечера он приехал от цензора сильно разд-

раженный: оказалось, ему не удалось восстановить вычеркнутые места из чьей-то статьи, предназначенной для очередной книжки журнала. Некрасов отнесся к этому довольно спокойно, как к явлению вполне обычному:

— Охота вам в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Через два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он позабудет, что уже читал ее, и, наверное, пропустит...

Добролюбов, по словам присутствовавшей при этом Панаевой, пристально смотрел на Некрасова, явно возмущенный его спокойным тоном.

— Что же, — заговорил он, сдерживая себя, — по-вашему, мы будем преподносить читателям запоздалые статьи по вопросам, которыми общество интересуется сегодня?

— Ну что делать! — возразил Некрасов.

— А небось, — иронически заметил Добролюбов, — если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам подали подогретые кушанья, то не так покойно отнеслись бы к этому...

Некрасов встрепенулся и ответил:

— Было время, что и я так же волновался, как вы... Но горький опыт убедил меня, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.

— Выйдет! — убежденным тоном ответил Добролюбов. — Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три буду сидеть у него и толковать ему, что он словно пуганая ворона — куста боится!

Действительно, Добролюбов был неутомим и изобретателен в борьбе с цензурой. Как-то в письме к Некрасову, жаловавшемуся на притеснения, он еще раз выразил свое убеждение, что цензура не может помешать «делу таланта и мысли»; он хотел сказать, что подлинный талант непременно пробьет себе дорогу, преодолеет все препятствия. Сам Добролюбов проби-

вал дорогу своим мыслям с помощью разных способов и приемов, о которых можно написать целую книгу, — так они были хитроумны и своеобразны. Сошлемся для примера хотя бы на следующие слова Добролюбова из письма его к С. Т. Славутинскому (писателю, близкому к «Современнику»): «Вообще, чтобы Ваши труды не пропадали в цензуре, необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже иногда называя их именами, противоположными их существенному характеру».

Именно так нередко поступал сам Добролюбов, и мы не должны забывать об этом, читая его статьи. Вспомним, например, знаменитое сопоставление Болгарии с Россией в статье «Когда же придет настоящий день?». Болгария, говорит критик, порабощена турками, в ней «нет общественных прав и гарантий»; «Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней, как известно всем и каждому, существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность...». Разумеется, никто не мог бы поверить в искренность Добролюбова, когда он столь непринужденно восхвалял «мудрые законы» крепостнического государства. И даже цензура почувствовала в его словах насмешку: не решившись прямо зачеркнуть это место, она все-таки нашла нужным умерить непрошеные восторги. Цензор вычеркнул фразу «как известно всем и каждому», выбросил слово «мудрые», а в конце этой тирады оказалось изъятым замечание о том, что у нас «в виде стада никого не гоняют», которым Добролюбов заканчивал свою ироническую характеристику «благоустроенного государства».

* * *

Ирония и насмешка были действенным оружием в руках Добролюбова. Он прибегал к нему часто и охотно, особенно в тех случаях, когда ему трудно было изложить свои мысли в серьезной и спокойной форме. Он давно уже понял сокрушительную силу смеха

и задумал широко использовать эту силу для дела своей борьбы и пропаганды. Юмор и сатира оказались, по сути дела, одним из средств, успешно помогавшим ему обходить цензурные препятствия. В кругу «Современника» именно так и расценивали его интерес к сатире. Антонович, например, говорит: «Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное, пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого не достаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезное рассуждение, и что в шуточной или в сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме...»

В январском номере «Современника» за 1859 год впервые появился сатирический отдел, озаглавленный «Свисток». Этому названию суждено было вскоре приобрести громкую известность. Инициатором и главным автором «Свистка» был Добролюбов. Здесь по-настоящему развернулся его незаурядный талант сатирика. Новым видом оружия Добролюбов воевал против тех же самых врагов, которых он разил пером публициста и критика. Зубры крепостнической реакции, откупщики и другие эксплуататоры народа, представители реакционной печати, либеральные болтуны, певшие фальшивые гимны «прогрессу», аполитичные защитники «чистого» искусства, продажные поэты, отдавшие свою лиру на служение «видам правительства», — такова галерея героев добролюбовской сатиры, пригвожденных к позорному столбу и на страницах «Свистка».

Успех первых его номеров навел редакцию «Современника» на мысль о необходимости организовать специальное издание — сатирическую газету «Свисток». Больше всех хлопотал об этом Добролюбов. Он тщательно разработал программу нового издания, весьма широко задуманного; достаточно сказать, что среди его разнообразных отделов предполагался даже отдел «теории и истории сатиры». Определяя лицо будущей газеты, Добролюбов говорил, что ее

задача — поражать общественные пороки, преследовать «зло и неправду» с помощью смеха и шутки. В документе, предназначенном для цензурного ведомства, Добролюбов писал: «Злоупотребления, разоблаченные серьезною литературою, должны быть добиты смехом. Этим орудием до сих пор еще слишком мало у нас пользовались...» Далее в документе говорилось, что в русском обществе есть «две категории людей, подлежащих сатире: *рутинисты,* приверженцы к своим старым ошибкам и порокам и ненавидящие все новое, — и *прогрессисты,* кричащие о современных успехах цивилизации, о правде, свободе и чести, без надлежащего усвоения себе истинных начал просвещения и гуманности... Доселе все поражали рутинистов; но «Свисток» предполагает себе задачу не щадить и неразумных прогрессистов, так как они ложными толкованиями, безрассудными применениями могут повредить делу общественного просвещения не менее людей самых отсталых и невежественных».

Нетрудно догадаться, что под «рутинистами» Добролюбов имел в виду лагерь реакции, а под «прогрессистами» — либералов, представлявших с точки зрения революционной демократии наибольшую опасность для дела революции. Себе же редактор «Свистка» оставлял некую третью позицию, стараясь создать у блюстителей политической нравственности впечатление, что газета будет критиковать «прогрессистов» за избыток либеральности и недостаточно глубокое усвоение «начал просвещения и гуманности». Однако обмануть бдительность цензурных властей не удалось: на ходатайство об издании газеты, поданное от имени подставного лица, последовал отказ. От больших планов пришлось отказаться.

Но и тот «Свисток», который продолжал время от времени появляться в качестве одного из отделов «Современника», Добролюбов сумел сделать боевым органом литературной и политической сатиры. Подготовленные и выпущенные им восемь номеров «Свистка» представляли собой восемь оглушительных залпов, выпущенных в стан врага, прежде всего про-

СВИСТОКЪ

СОБРАНІЕ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ, ЖУРНАЛЬНЫХЪ И ДРУГИХЪ ЗАМѢТОКЪ.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Различные бываютъ свисты: свиститъ аквилонъ (сѣверный вѣтръ), проносясь по полямъ и дубравамъ; свиститъ соловей, сидя на вѣткѣ и любуясь красотами творенія; свиститъ хлыстикъ, когда имъ сильно размахиваешь по воздуху; свиститъ благонравный юноша въ знакъ сердечнаго удовольствія; свиститъ городовой на улицѣ, когда того требуетъ общественное благо. Спѣшимъ предупредить читателей, что мы изъ всѣхъ многоразличныхъ родовъ свиста имѣемъ преимущественную претензію только на два: юношескій и соловьиный. Свистъ аквилона, конечно, имѣетъ свои достоинства: грозно проносясь по обнаженному полю и глубоко взвѣвая прахъ летучій, сей вѣтръ своимъ свистомъ приводитъ душу въ трепетъ и благоговѣніе. Но монополія аквилоннаго свиста давно уже пріобрѣтена г. Байбородою, котораго изобличительныя письма, говорятъ, вырываютъ дубы съ корнями. Мы не чувствуемъ въ себѣ столь великихъ силъ, и наши стремленія гораздо умѣреннѣе. — Свистъ хлыста и бича — тоже не дуренъ, но онъ какъ-то мало ласкаетъ нашъ слухъ; мы не хотимъ брать на него привилегію, брошенную недавно самимъ княземъ Черкасскимъ, который пожелалъ было пріобрѣсть ее на неопредѣленное время для себя и своего потомства. Пріятнѣе звучитъ для насъ свистъ городоваго; но мы, по природной застѣнчивости, считаемъ себя не вправѣ предъявлять претензію на то, для чего уже существуетъ установленная городская власть. Совершенно другое дѣло — свистъ благонравнаго юноши, почтительный, умѣренный и означающій кроткое расположеніе духа, хотя въ тоже время нѣсколько игривый. На такой свистъ мы имѣемъ полное право, потому что во-первыхъ — мы благонравны, во-вторыхъ — если мы и не юноши, то

Первая страница «Свистка» («Современник» № 1 за 1859 год)

тив дворянско-буржуазного либерализма с его трусостью, продажностью, лицемерием.

Фельетоны, сатирические куплеты и стихотворные пародии Добролюбова, брызжущие талантом и остро-

умием, отмечены подлинной политической остротой. Важной чертой «Свистка» была его тесная связь с жизнью, стремление по-газетному откликаться на самые злободневные вопросы, самые волнующие события отнюдь не только литературного характера.

Одним из таких событий, привлекавших внимание передовой русской общественности с самого начала 1859 года, были волнения рабочих на строительстве железных дорог, главным образом Московско-Нижегородской и Волго-Донской. Строительство осуществлялось крупными дельцами-подрядчиками, которые вербовали дешевую рабочую силу из крепостных крестьян. Невероятно тяжелые условия труда, жестокость обращения, нищенская оплата и ужасающее питание (например, на одном из участков пути во Владимирской губернии рабочих кормили протухшей солониной с червями, а воду привозили из стоячей заводи, в которой местные крестьяне стирали белье) — все это привело к возмущению среди строителей, которое прежде всего выразилось в том, что они партиями начали покидать свои участки, преследуемые жандармами и подрядчиками. Добролюбов не мог не откликнуться на это. И он писал в «Свистке» о трагическом положении крепостных рабочих на постройке железной дороги; предавал позору миллионера Кокорева, который выдавал себя за гуманного человека и поклонника гласности, но в то же время наживал громадные барыши при помощи бессовестной эксплуатации крестьян, согнанных из разных местностей на строительство «чугунки» и, по существу, обреченных на вымирание (статья «Опыт отучения людей от пищи»).

Внимание «Свистка» привлекла судьба женщины, которой предстояло зимой отправиться в Сибирь по этапу вместе с колодниками за несколько тысяч верст, не будучи ни в чем виноватой. Сведения об этой вопиющей истории проникли даже в печать, но «гласность» тех времен была такова, что имена действующих лиц были заменены буквой N, а вопрос о том, кто виноват в печальном происшествии, вообще не поднимался. По этому поводу Добролюбов

писал в «Свистке» от имени выдуманного нижегородского жителя Д. Свиристелева, обращаясь к либеральным болтунам и краснобаям: «...Вы очень чувствительны; услышавши о несправедливости, вы начинаете громко кричать; узнав о несчастии, горько плачете. Но вы как-то умеете возмущаться против *несправедливости вообще,* так же как умеете сострадать *несчастию в отвлеченном смысле,* а не человеку, которого постигло несчастье... От того все ваши рассуждения и отличаются таким умом, благородством, красноречием и — непрактичностью в высшей степени. Вы до сих пор разыгрываете... каких-то чувствительных Эрастов: как будто исполнены энтузиазма и силы, как будто что-то делаете, а в сущности все только себя тешите и — виноват — срамите перед нами, простыми провинциальными жителями».

Это слова подлинного революционера, человека дела, страстно ненавидящего прекраснодушие и практическую беспомощность дворянского либерализма.

Внимательно приглядываясь к окружающей жизни, редактор «Свистка» стремился повсюду отыскивать факты и примеры, рисующие мрак и беззаконие, царившие в крепостническом государстве. Так, он собирался опубликовать в «Свистке» весьма красноречивый рассказ известного этнографа и писателя-демократа П. И. Якушкина о тех издевательствах, которым тот подвергся со стороны провинциальной полиции. Якушкин в качестве собирателя народных песен ходил по деревням Псковской губернии. Он имел обыкновение одеваться в простонародный костюм и именно этим возбудил подозрение бдительного полицейского начальства. Фольклориста схватили и в течение многих дней продержали в смрадной арестантской, в ужасных условиях. Якушкин писал об этом:

«Вы знаете, что я хожу по деревням, выбираю избы для ночлегов поплоше; стало быть, к грязи присмотрелся, но такой грязи, какую я нашел в арестантской, не дай бог вам видеть; я буквально целую ночь присесть не мог...

— Ты за что попал? — спросил меня один арестант, мальчик лет 18...

— Не знаю, брат!

— Верно, стянул что?

— Нет, пока бог миловал...

— А ты за что? — спросил я его в свою очередь.

— Да от барина сбежал; напился пьян, да на улице и подняли. Вот одиннадцать дней как держат, хоть бы в баню пустили...

— Что же с тобой будет?

— А приведут меня к господам своим, те ту же пору половину головы обреют, выпорют, а там через три дня еще выпорют, а там еще через три дня выпорют; до трех раз, да и оставят.

— А разве бывало уж с тобой это?

— В другой раз... Не знаешь ты, человек милый, сказки какой, спать не хочется.

Я стал ему рассказывать историю Ветхого завета.

— Однако, я вижу, ты из книг говоришь, — сказал мужик, выходя из-за перегородки нашей арестантской... — Скажи, человек душевный, за что тебя схватили? — спросил он меня.

— Я не мужик, а надел мужицкое платье; за это и посадили.

— Как, за мужицкую одёжу?

— Да, за мужицкую одёжу.

— Да разве мужик не человек?

На этот вопрос я не знал, что могу сказать, а потому и не отвечал ему.

— Мужик тоже человек! — убедительно говорил мой новый товарищ. — Рассказывай, что в книжках читал! — прибавил он, немного помолчав...»

Картина невероятного полицейского произвола, бесправие простых людей и дикие нравы провинциальных блюстителей порядка, достойно продолжающих традиции гоголевских держиморд и городничих, — все это привлекло внимание Добролюбова к рассказу Якушкина о его псковских злоключениях; он думал поместить этот рассказ в «Свистке» под иронической рубрикой «Отрадные явления».

* * *

Почти в любой критической статье Добролюбова нетрудно обнаружить всегда присущее ему чувство юмора и большой талант сатирика. У него есть рецензии, похожие скорее на фельетоны, написанные по всем правилам этого жанра (такова, например, блестящая по форме рецензия на книгу «Применение железных дорог к защите материка», такова известная статья «Стихотворения М. Розенгейма» и др.). Но с особенной силой Добролюбов-сатирик развернулся в своих стихотворных памфлетах, фельетонах и пародиях на страницах «Свистка». Здесь благодаря его изобретательности появились три новых «поэта», три литературные маски: Конрад Лилиеншвагер, Яков Хам и Аполлон Капелькин. Первый из них — восторженный и туповатый либерал, шумно обличающий извозчика, получившего с седока лишнюю монету, мелкого воришку, забравшегося в чужой карман, чиновника, берущего взятки, и т. п. Ограниченный и самодовольный рифмоплет становится в позу грозного обличителя. Его гневная речь, обращенная к мелкому взяточнику, исполнена «гражданского» пафоса:

Узнали мы теперь, откуда вы берете
Преступные гроши, исчадия греха,
Несчастных кровь и пот вы в свой карман кладете!
На праздник вам идет вдов и сирот кроха!!!
Корысти мелочной вы жертвуете честью,
Законом, правдою, любовию к добру;
Вы существуете лишь подкупом и лестью,
Вы падки к золоту, покорны серебру!!!
Вы все заражены иудиным пороком,
Меж вами царствует мздоимство, лесть и ложь...
Но горе! Я восстал карающим пророком,
И обличу я вас за каждый лишний грош!!!

Эффект этого пародийного стихотворения основан на комическом несоответствии между пафосными интонациями и ничтожным предметом обличения — жалкими грошами, которые присвоил себе нищий чиновник. Непосредственной мишенью добролюбовской пародии были стихи М. Розенгейма, одного из типич-

ных представителей либерально-обличительной поэзии того времени (самое имя Лилиеншвагера пародирует фамилию Розенгейма). Но, разумеется, Добролюбов метил гораздо дальше; он стремился не только подвергнуть осмеянию псевдогражданские потуги одного поэта, но и обнажить общее бессилие либерального направления в литературе. Всей своей фигурой, всеми своими стихами Конрад Лилиеншвагер должен был наглядно подтверждать ту мысль Добролюбова, которую он повторял из статьи в статью: «Бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла без уничтожения самого корня его».

Одна литературная маска привела за собой другую. В третьем номере «Свистка» появилось сообщение от редакции, где говорилось следующее: «Известный нашим читателям поэт г. Конрад Лилиеншвагер... доставил нам коллекцию австрийских стихотворений; он говорит, что перевел их с австрийской рукописи, ибо австрийская цензура некоторых из них не пропустила... Стихотворения эти все принадлежат одному молодому поэту — Якову Хаму, который, как по всему видно, должен занять в австрийской литературе то же место, какое у нас занимал прежде Державин, в недавнее время г. Майков, а теперь г. Бенедиктов и г. Розенгейм». В заключение редакция «Свистка» прибавляла: «Если предлагаемые стихотворения удостоятся лестного одобрения читателей, — мы можем представить их еще несколько десятков, ибо г. Хам очень плодовит, а г. Лилиеншвагер неутомим в переводе...»

Разумеется, все это была отлично придуманная шутка, однако в ней заключался серьезный смысл. По мысли Добролюбова, Яков Хам должен был изображать поэта-монархиста, преданного царствующей династии (очевидно, по этой причине он и мог бы занять в «австрийской литературе» то место, которое в разное время занимали Державин и Майков, поэты, слагавшие стихи в честь самодержцев). Австрия представляла собой в то время абсолютную монархию и в качестве таковой нередко служила для русских публицистов условным обозначением некоторых поня-

тий, недопустимых в тогдашней печати. Об австрийском режиме, об австрийской цензуре говорили, имея в виду те же явления на русской почве. Вспомним, что еще в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов иронически упоминал об «австрийской подозрительности». Так возник и образ «австрийского поэта» Якова Хама, пишущего стихи на несуществующем «австрийском языке».

Добролюбов не мог открыто нападать на поэтов реакционно-славянофильского лагеря, прославлявших устои крепостнического государства, а в годы недавней Крымской войны певших казенно-патриотические гимны во славу дутого могущества самодержавия. Поэтому ему приходилось прибегать к выдумкам; необходимость заставляла изощряться в остроумии, хотя далеко не всегда эта необходимость совпадала с веселым настроением. Как раз в это время Добролюбов жаловался в одном из писем: «Ужасно приятно сочинять остроумные статейки, в то время, когда плакать хочется каждую минуту и на сердце кошки скребут».

Добролюбов выдвинул своего «австрийского поэта» в дни, когда в Европе происходили серьезные политические события. В Италии развертывалось освободительное движение, руководимое Дж. Гарибальди. Австрия, давно хозяйничавшая в Италии, поддерживала монархическое правительство Неаполя, выступала против объединения страны, против восставших республиканцев. В соответствии с этим монархист Яков Хам осуждал итальянскую «крамолу», грозил войной и усмирением «непокорных». В стихотворении «Неблагодарным народам», которое с интересом читается и теперь, он писал от имени австрийских «покровителей» Италии:

Не стыдно ль вам, мятежные языки,
Восстать на нас? Ведь ваши мы владыки!
Мы сорок лет оберегали вас
От необдуманных ребяческих проказ;
Мы, как детей, держали вас в опеке
И так заботились о каждом человеке,
Что каждый шаг старались уследить

И каждое словечко подхватить...
...Мы братски не жалели ничего
Для верного народа своего:
Наш собственный язык, шпионов, гарнизоны,
Чины, обычаи и самые законы, —
Все, все давали вам мы щедрою рукой...
И вот чем платите вы Австрии родной!
Не стыдно ль вам? Чего еще вам нужно?
Зачем не жить по-прежнему нам дружно?
Иль мало наших войск у вас стоит?
Или полиция о деле не радит?..

С помощью стихов «австрийского поэта» на итальянские темы Добролюбов давал своим читателям представление о том, как относится революционная демократия к событиям, сотрясавшим Апеннинский полуостров: нечего и говорить, что деятели «Современника» с глубоким сочувствием следили за успехами повстанцев. В то же время Добролюбов не забывал, что прямые рассуждения о подавлении мятежей, о «безумных», требующих свободы, о короле, который надеется поддержать порядок с помощью полиции, были весьма необычны для русской печати и потому воспринимались с особым чувством. И как бы Яков Хам ни восхвалял неаполитанского короля Франциска, русские читатели понимали истинный характер этих похвал и невольно проводили аналогии — те самые, которые нужны были Добролюбову.

Утешься, бедная Италия:
Закон и правду возлюбя,
Франциск не даст разлиться далее
Злу, обхватившему тебя.

Он понимает все опасности
Льстить черни прихотям слепым:
Ни конституции, ни гласности
Не даст он подданным своим!

Не переменит он юстицию,
Не подарит ненужных льгот,
Не обессилит он полицию,
Свой нерушимейший оплот...

Читая эти стихи, нельзя было не подумать о российском монархическом режиме. Но еще более откро-

венно Добролюбов переводил разговор на русские темы, когда устами того же Якова Хама пародировал верноподданническое стихотворение Аполлона Майкова, прославлявшее Николая I: он почти дословно повторял майковские стихи, но вместо России подставлял Италию, вместо Николая — прежнего правителя Фердинанда, а в заключение упоминал о его здравствующем сыне и преемнике Франческо, явно намекая на нового российского «Атланта» — Александра II, продолжающего «традиции» отца-деспота. Обращаясь к королевским воинам с призывом покарать «крамольников», восставших на острове Сицилия, автор пародии заверял их в том, что в Италии восторжествует

Тот вечный идеал законного порядка,
При коем граждане покоятся так сладко,
Который водворить старался Фердинанд,
Которого достичь — решительно и резко —
Предначертал себе и новый наш Атлант —
Средь бед отечества незыблемый Франческо!

Для тех, кто знал стихотворение Майкова, появившееся во время Крымской войны, смысл этих строк был совершенно ясен. Так Добролюбову и в подцензурной печати удавалось касаться наиболее рискованных вопросов и самых запретных тем.

Третий пародийный «поэт», созданный Добролюбовым — Аполлон Капелькин, — выступил в «Свистке» с циклом стихов, озаглавленным «Юное дарование, обещающее поглотить всю современную поэзию».

Смысл этого заглавия состоял в следующем: «юное дарование» отличалось необычайной разносторонностью. Аполлон Капелькин писал и наивные — по молодости — стихи, невольно оказавшиеся пародиями на «чистых» лириков — Майкова, Случевского, Фета; и упражнялся в обличительном жанре; и сочинял приторно-либеральные вирши.

Это разнообразие интересов «юного дарования», по замыслу Добролюбова, должно было соответствовать разным враждебным течениям, грозившим «по-

глотить всю современную поэзию». С точки зрения демократа эти течения имели общую реакционно-дворянскую основу и потому легко совмещались в одном собирательном образе поэта Аполлона Капелькина.

Добролюбов разоблачал в его лице антинародную сущность всей дворянской поэзии и в особенности ее либерального крыла. В своем письме в редакцию «Свистка» восторженный Капелькин рассказывал, что он пребывает в самом радужном настроении и преисполнен розовых надежд. В таком настроении он вдруг услышал однажды заунывную крестьянскую песню. У него тотчас родился вопрос: «Отчего же она уныла, когда все кругом так весело?» Нет, — сказал я сам себе, — я должен во что бы то ни стало отыскать в ней веселые звуки. И представьте силу таланта — отыскал!»... Либеральный поэт не захотел слушать долгие, тоскливые песни пахаря, поющего о своей горькой доле:

Не хочу я слышать звуков горькой жалобы,
Тяжкого рыдания и горячих слез...
Сердце бы иссохло, мысль моя упала бы,
Если б я оставил область сладких грез...

Подобно многим другим поэтам того времени, юный лирик отрешился от жизни и погрузился в мир грез; этого оказалось достаточным, чтобы грустная песня труженика стала казаться ему веселой и радостной («...И напев тоскливый счастьем отзывается...»).

Так Добролюбов средствами сатиры боролся против искусства, чуждого народу, против тех, кто отрывал литературу от жизни, от передовых идей времени. Образы трех «поэтов», созданные им на страницах «Свистка», служили этой цели. Приемами политической сатиры Добролюбов разоблачал либерализм во всех его проявлениях. На страницах «Свистка» он предавал беспощадному осмеянию «слово гнилое и праздное». В одном программном стихотворении Добролюбов писал от имени «Свистка», который должен был появиться после большого перерыва:

И ныне явлюсь я к читателю снова;
Хочу наградить я его за терпенье,
Хочу я принесть ему *свежее* слово,
Насколько возможно в моем положенье...

Читатель понимал, что значит эта оговорка: положение передового журнала было тем труднее, чем больше «свежих слов» он хотел принести своему читателю. И Добролюбов прямо говорил в тех же стихах, что «Свисток» мог бы свистеть еще громче, еще сильнее, если бы ему дали волю:

. Плясать бы заставил я дубы
И жалких затворников высвистнул к воле,
Когда б на морозе не трескались губы
И свист мой порою не стоил мне боли

Цензура жестоко преследовала сатирический отдел журнала, пытаясь ограничить его влияние. Но «Свисток» делал свое дело и, несмотря на все препятствия, умел завоевать громадный авторитет в обществе. По мнению «Современника», его «свист» можно было заглушить только звоном «Колокола» из Лондона.

Лучшим свидетельством силы и действенности добролюбовской сатиры может служить та ненависть, которую вызывал «Свисток» во вражеском стане. Кто-то подсчитал, что в одном только его выпуске было задето (то есть названо по именам) больше ста человек. Очень многие, не названные прямо, принимали намеки и выпады «Свистка» на свой счет и с беспокойством ждали появления очередного номера. И неудивительно, что о «Свистке» говорили, чуть ли не скрежеща зубами. Его называли «балаганным отделом» «Современника», негодовали по поводу «зубоскальства» и «гаерства» на страницах солидного журнала. Отклики были самые разнообразные — и печатные, и устные, и письменные; был даже случай, когда после выхода очередной книжки журнала со «Свистком» на дверях добролюбовской квартиры появилась надпись «Безнравственный семинарист».



XVII. «СУД БЕСПОЩАДНЫЙ» НАД ОБЛОМОВЩИНОЙ

В начале июня 1859 года Некрасов, вернувшись поздно ночью из клуба, зашел к Добролюбову и сообщил ему, что в «Колоколе» появилась статья против «Современника», осуждающая его борьбу с либеральным обличительством, «гласностью» и т. п. Это известие сильно взволновало Добролюбова. Сначала он просто не мог поверить Некрасову. Привыкший ко всяким ударам, он меньше всего ждал его с этой стороны — от Герцена, к которому издавна относился с уважением, как к учителю и верному союзнику. «Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью, и затем решиться, что делать», — записал Добролюбов в дневнике.

Статья Герцена называлась «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!») и содержала резкие выпады против руководителей «Современника», упреки в отсутствии «гражданского чутья», в неспособности оценить первые успехи едва народившейся гласности, в попытках заглушить ее свистками и окриками. «По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею», — восклицал Герцен, в своем за-

блуждении полагавший, что деятельность Добролюбова могла быть... выгодной правительству. Невозможно было представить себе большую несправедливость по отношению к русским революционерам. Ошибка Герцена объяснялась его временными либеральными колебаниями, а еще больше оторванностью от русской жизни. На расстоянии он принял либеральный туман, напущенный «обличителями» и поборниками мнимого «прогресса», за подлинное пробуждение русской общественности.

Добролюбов верно оценил политический смысл ложной позиции Герцена и тогда же записал в дневнике: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху...» В этой записи знаменательны те слова, которыми Добролюбов определяет собственную деятельность: *«призыв к революции»*. Этими словами Добролюбов, несомненно, хотел охарактеризовать прежде всего свои выступления, которые явились одним из главных поводов для резкого отклика со стороны Герцена («Свисток», статья «Литературные мелочи прошлого года» и др.).

Статья Герцена в «Колоколе» серьезно встревожила редакцию «Современника». Несправедливая по существу, она могла создать впечатление глубокого раскола в демократическом лагере, могла нанести ущерб авторитету революционеров. Кому-то из руководящих деятелей «Современника» предстояло отправиться в Лондон, чтобы объясниться с Герценом, выяснить недоразумение, а может быть, и договориться о единой линии в борьбе. Первым вызвался поехать Добролюбов — он готов был двинуться немедленно. Но в конце концов было решено, что поедет Чернышевский. Прямую цель его поездки окружили строжайшей тайной: о ней знали в редакции всего три-четыре человека.

Встреча Чернышевского с Герценом в Лондоне и переговоры с ним, как известно, не получили почти

никакого отражения в документах того времени. Вот почему историки, потратив немало усилий, чтобы раскрыть содержание этого эпизода, до сих пор вынуждены ограничиваться лишь догадками и предположениями относительно тех вопросов, которые обсуждались двумя революционерами. Достоверно лишь то, что, пробыв в английской столице почти пять дней, Чернышевский отправился в обратный путь, неудовлетворенный результатами своей поездки. Тем не менее нельзя считать, что она была вовсе бесполезной. Немаловажным ее результатом был уже тот факт, что в одном из ближайших номеров «Колокола» Герцен опубликовал специальное разъяснение, где в известной мере признавал ошибочность своей предыдущей полемической статьи. Называя деятелей «Современника» «нашими русскими собратьями», Герцен писал: «Нам бы чрезвычайно было больно, если бы ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек».

Это и последующие выступления издателя «Колокола» подтвердили, что, расходясь со своими собратьями в России по тактическим вопросам, он все же шел к правильному пониманию исторической роли нового поколения революционной молодежи, что он сумел увидеть и оценить пробуждение революционного народа у себя на родине. Герцен понял ошибочность своей позиции в споре с «Современником» и всей дальнейшей борьбой против самодержавия показал, на чьей стороне были его симпатии.

Как реагировал на выступление «Колокола» Добролюбов? Трудно допустить, чтобы он, прирожденный полемист, человек непоколебимый в своих убеждениях, к тому же еще непосредственно задетый статьей «Very dangerous!!!», ограничивался ролью пассивного наблюдателя. Трудно поверить, чтобы Добролюбова, который сам рвался в Лондон, могла удовлетворить поездка туда Чернышевского. Вернее предположить, что он должен был и самостоятельно возразить Герцену, — он не мог промолчать, ибо чувствовал себя обязанным высказать свое отношение к статье «Колокола».

Добролюбов имел возможность сделать это двумя способами: непосредственно обратиться к Герцену или попытаться ответить ему на страницах «Современника». Можно думать, что он использовал обе эти возможности. Правда, точных сведений о том, было ли им написано письмо в Лондон, у нас нет. Однако в литературе существует очень важное, хотя и недостаточно изученное указание на этот счет. В брошюре А. Серно-Соловьевича, изданной за границей в 1867 году и представляющей собой открытое письмо к Герцену, есть такие строки:

«Позвольте посоветовать вам перечесть письмо Добролюбова к вам *по этому поводу*[1]; оно лучше, чем что-нибудь, должно освежить в вашей памяти давно забытые воспоминания...»[2]

Эти слова — единственное известное до сих пор упоминание современника о письме Добролюбова к Герцену; их, разумеется, недостаточно, чтобы признать решенным вопрос о существовании этого письма. Но нельзя и не считаться с тем, что свидетельство принадлежит человеку, близко стоявшему к кружку «Современника» и, несомненно, осведомленному в подпольных связях кружка.

Что же касается возможности ответить Герцену на страницах журнала, то Добролюбов, конечно, не мог сделать это открыто. Однако с присущей ему находчивостью он успел вписать в уже готовую к выходу в свет июньскую книжку «Современника» (1859) специальную вставку, где содержался очень сдержанный, но весьма недвусмысленный ответ Герцену. «Нас многие обвиняют, — писал здесь критик «Современника», — что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа дейст-

---

[1] То есть по поводу статьи «Very dangerous!!!».

[2] А. Серно-Соловьевич. Наши домашние дела. Веве, 1867, стр. 29.

вий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтоб мы были довольны и восхищались» (рецензия на сборник «Весна»).

Стремлением к «более основательному образу действий», ненавистью к прекраснодушию и либеральной болтовне, презрением демократа к белоручкам и тунеядцам была проникнута статья Добролюбова, появившаяся в майской книжке «Современника». Эта статья называлась «Что такое обломовщина?». Она представляла собой важнейший программный документ борьбы революционной демократии против дворянско-крепостнической России и как бы подводила итог всей предыдущей деятельности Добролюбова по разоблачению дворянского либерализма.

Роман Гончарова «Обломов» дал критику возможность поднять серьезные политические вопросы. Добролюбов широко применил здесь свой излюбленный метод литературно-политического анализа: используя черты действительности, отраженные в романе, опираясь на них, как на авторитетное свидетельство честного художника-реалиста, он сделал революционные выводы, которых не мог иметь в виду автор романа. Разобрав характер главного героя, критик с суровой беспощадностью обнажил его классовую природу помещика-эксплуататора, живущего трудом крепостных. «...Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу».

Удивительное сочетание в Обломове барства и крайнего нравственного рабства — отнюдь не только индивидуальная особенность Ильи Ильича. Добролюбов подсказывал читателю, что именно в этом проявилось дошедшее до предела историческое вырождение дворянства как общественного класса. Образ тунеядца в засаленном халате, проводящего всю свою жизнь

на старом диване, неспособного ни к какому делу, — разве это не олицетворение обреченной на гибель крепостнической России?

Добролюбов стремился подчеркнуть в своей статье тот факт, что в образе Обломова показан самый процесс деградации дворянства. С этой целью критик ввел в статью литературную «родословную» гончаровского героя. Еще Белинский сравнивал Онегина с Печориным, а позже — Печорина с Бельтовым. Добролюбов, следуя Белинскому, ставит этих персонажей в один ряд с Обломовым и приходит к выводу, что «родовые черты обломовского типа» можно найти еще в Онегине. «Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым».

Внимательный, непредубежденный читатель мог найти в статье Добролюбова строки, из которых следовало, что критик видел и существенную разницу между Обломовым и его предшественниками. Так, Добролюбов писал, что от обломовского типа «не мог отделаться ни один из наших серьезных художников». Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла — это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Добролюбов, как видно из этих слов, прекрасно понимал, что Онегин, Печорин и другие литературные герои, вплоть до Обломова, каждый по-своему становились в определенные отношения к жизни и получали соответственное этому общественное значение. Однако автора статьи «Что такое обломовщина?» мало интересовали эти различия, он упоминал о них только затем, чтобы дать картину развития типа «лишнего человека», нарисовать про-

цесс перерождения Онегина в Обломова. При этом, естественно, на передний план были выдвинуты общие всем этим героям «родовые» черты, сам же тип получил название не по имени родоначальника, а по имени своего последнего представителя — Обломова.

Добролюбов, как и Чернышевский, давший аналогичную характеристику героям дворянской литературы в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858), понимал их положительное значение для своего времени, но в момент, когда писалась статья об «Обломове», главной задачей демократической критики было разоблачение либерализма, а это требовало решительного развенчания «лишних людей», людей фразы, неспособных ни на какое полезное для общества дело.

Сильные стороны романа Гончарова были не только заслугой автора, но и результатом новых общественных условий, сложившихся в России к концу 50-х годов. Появление Обломова, по мнению Добролюбова, «было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознание о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является перед нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом...» В новых условиях перед читателем неизбежно возникали вопросы: что же делает этот сонный герой, облаченный в просторный халат? В чем смысл и цель его жизни? Почему он лежит на диване, когда в России настало «время работы общественной»? Острота этих вопросов, не поднимавшихся прежде, указывала на то, сколь значителен был роман, о котором заговорил Добролюбов.

Как бы дорисовывая портрет гончаровского героя, придавая ему обобщающий смысл, Добролюбов делает его символом паразитизма всего помещичьего сословия. Емкость образа позволила критику выступить

со страстным революционным обличением всех общественно бесполезных людей, либеральных болтунов, всех, у кого в жизни нет такого дела, которое было бы для них «жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них, значило бы лишить их жизни».

Мы помним, Добролюбов прежде опирался на щедринское определение «талантливых натур», подразумевая под ним всю никчемность и общественную бесполезность дворянского сословия. Теперь в его распоряжении было еще более выразительное и всеобъемлющее понятие — обломовщина. Наполнив это понятие глубоким содержанием, придав ему значение символа, характеризующего все косное, пассивное, отсталое, все, что мешает развиваться, двигаться вперед, Добролюбов дал в руки молодой России острое оружие против старого мира, — недаром этот мир откликнулся злобным воем на статью об обломовщине. Новым оружием воспользовался прежде всего сам Добролюбов, принявшийся разоблачать обломовщину в ее разнообразных проявлениях:

«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

...Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, — я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...»

Добролюбов предупреждал, что «старая Обломовка», вопреки мнению Гончарова, вовсе не отжила свой век и что для нее рано еще писать «надгробное

слово». В позднейших своих статьях критик продолжал беспощадно судить людей, «сильно захваченных обломовщиной», он по-прежнему старался выставлять наружу весь ее вред, «всю гадость, всю презренность», он указывал, насколько она пагубно влияет на молодое поколение.

Статья, посвященная роману Гончарова, сразу же получила широкое признание в кругах передовых читателей. Сам автор «Обломова», далекий от политических позиций «Современника», тем не менее высоко оценил критический талант Добролюбова и признал, что он написал «отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину». Вскоре после появления этой статьи Гончаров писал П. В. Анненкову: «Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об Обломове; мне кажется об обломовщине — т. е. о том, что она такое — уже сказать после этого ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представлении художника. Да как он — не художник — знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском... Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше».

Действительно, Добролюбов с необычайным искусством проанализировал образ Обломова и показал, в каких условиях жизни сформировался этот человек; он показал также, что в его индивидуальном облике воплотился некий социальный характер, что Илья Ильич Обломов — вовсе не редкостная аномалия, а совершенно определенный социально-психологический тип, в котором сгустились и отчетливо выявились многие существенные черты помещика предреформенной эпохи. Честность, добродушие и другие умилительные качества Ильи Ильича — это только детали, индивидуальные признаки характера, а не главные его стороны. Обломов, сколько бы он ни красовался, ни прекраснодушничал, — законченный тунеядец, и это самое главное в его характеристике.

Очевидно, что роман о таком герое мог появиться только в условиях ясно обозначившегося кризиса самодержавно-крепостнического строя. Вот почему Добролюбов увидел в нем «знамение времени».

Кто же противостоит в романе Обломову? Прежде всего Штольц. Эта фигура не может нас удовлетворить, говорит критик. Штольц не тот человек, который, выражаясь словами Гоголя, сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед» (читателю статьи было ясно, что в устах Добролюбова гоголевские слова означали: «вперед, к революционному действию!»). Штольц — человек как будто бы активный, что решительно отличает его от Обломовых, но чем он занят, в чем состоит его практическая деятельность — этого писатель не показывает. Критик не винит автора, а объясняет недостаток романа объективными условиями: «литература не может забегать слишком далеко вперед жизни», а в жизни еще нет людей с цельным, деятельным характером, способных сказать «всемогущее слово».

Второй человек, противостоящий Обломову, — Ольга. По своему развитию она, по мнению Добролюбова, представляет высший идеал, какой только может воплотить русский писатель в художественном образе, основываясь на понимании тенденций развития общественной жизни. Таких людей в жизни еще нельзя встретить, но Ольга — это «не сентенция автора, а живое лицо», в ее сердце и голове мы замечаем веяние новой жизни, к которой она «несравненно ближе Штольца». Поэтому, заканчивая статью, Добролюбов высказывает следующее мнение о будущности этих двух людей: «Штольц не пойдет на борьбу с «мятежными вопросами», он смиренно склонит голову; Ольга, если это случится, оставит Штольца так же, как она оставила Обломова. «Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтобы произнести над нею суд беспощадный...»

В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов окончательно развенчал героев дворянской литературы и произнес свой суд над всей либерально-дворянской интеллигенцией. Он показал, что за красивыми фразами скрывается весьма неприглядный облик либералов, готовых в любую минуту предать народ в угоду своим корыстным классовым интересам. Незабываемая по яркости картина, нарисованная в статье (в дремучем лесу гибнет народ, обманутый теми, кто обещал ему спасение), должна была наглядно убедить читателя, что угнетенным людям неоткуда ждать помощи, а надо надеяться только на себя, на свои силы. Это было грозное предупреждение: народ, если только он «сознал необходимость настоящего дела», сметет со своего пути и Обломовых и всех, кто лживыми словами захочет обмануть его доверие.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.

Эти строки из крыловской басни Добролюбов взял в качестве эпиграфа к другой своей статье, продолжавшей дело разоблачения либерализма, — «Русская сатира в век Екатерины». Уже самый эпиграф, призывавший не тратить слов, а браться за дело, уже первые строки статьи («Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать...») говорили читателям «Современника» о том, что перед ними не только серьезное историко-литературное исследование, но прежде всего злободневное выступление, знаменовавшее собой дальнейшую борьбу «Современника» с либерализмом и либеральным обличительством в литературе. Добролюбов как бы развивал здесь главные мысли своей статьи об обломовщине — на этот раз на основе исторического материала. Он не скрывал, что его работа задумана с вполне современной целью: разоблачить убожество и беспомощность сатириков-обличителей. Но «о настоящем времени всегда трудно

произносить откровенное и решительное суждение»; поэтому критик и обратился к русской сатире XVIII века, так же не умевшей указать «действительные средства поправить дело», как не умели этого сделать современные обличители. «Умилительная смесь негодования и восторга» доставляла, по словам Добролюбова, нашим сатирикам прошлого «так много обломовской миловидности и так мало действительной силы...» (из этих слов видно, как широко пользовался критик понятием «обломовщина»).

Либеральные ученые подробно описывали в своих трудах сатирические усилия писателей XVIII века, но никогда не задумывались над вопросом — «какие результаты произошли в самой жизни от столь ярых обличений». Добролюбов с неумолимой последовательностью доказывает, что этих результатов не было вовсе. Через всю статью он проводит мысль: «Наша сатира **не то** и **не так** обличает», доказывая это при помощи огромного фактического материала. Сатирики высмеивали мелкие, частные недостатки, но «никогда почти не добирались... до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия».

Правда, сами сатирики, пребывавшие в «забавных иллюзиях», искренне считали, что они делают большое и важное дело, воображали, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России. Но нападали они главным образом на такие явления, которые в царствование Екатерины представляли собой остатки и пережитки старины, преследовавшиеся самим правительством. Неудивительно, что благодаря этому «сатира на все современное общество являлась в произведениях благородных сатириков не чем иным, как особым способом прославления премудрой монархини».

Точно так же и в других вопросах сатира, неоднократно подчеркивает Добролюбов, нападала «не на принцип, не на основу зла, а только на злоупотребления того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло». И критик приходил к выводу, пора-

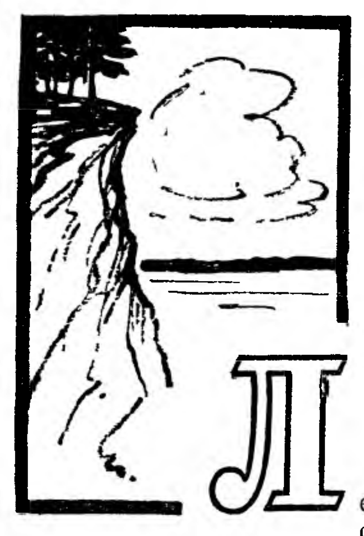
жающему своей смелостью. главная причина бессилия дворянской сатиры заключалась в том, что она «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить».

Если бы Добролюбов не ссылался на свою предыдущую статью, где речь шла о поверхностном характере современной ему сатиры, если бы настойчиво не подчеркивал он мысль о том, что «наша литература сто лет обличает недуги общества, и все-таки недуги не уменьшаются», — и тогда внимательному читателю было бы понятно, что его смелые выводы относятся не только к прошлому, но и к современному состоянию литературы. Больше того — они относятся не только к литературе, но и к общественной жизни: Добролюбов подводит читателя к выводу о необходимости коренного изменения существующих общественных отношений Он указывает на решительную неспособность прежней сатиры к активному обличению. Дворянско-крепостнический характер екатерининской сатиры вполне объясняет, по мнению Добролюбова, ее бездейственность, ее враждебность интересам народа.

С замечательной последовательностью критик утверждает также свою излюбленную мысль· русская сатира XVIII века была ненародной не только потому, что она защищала интересы правящего класса (как в 60-е годы XIX века либеральное обличительство выражало интересы либерального дворянства), но и потому, что «вся литература тогда была делом не общественным, а занятием кружка, очень незначительного». Народ, массы не имели возможности слагать «злейших сатир» против своих угнетателей. В тех же случаях, когда отдельные лучшие люди пытались говорить голосом народа (Добролюбов выделяет журналы Н. И. Новикова и сочинения Радищева), их благородные попытки почти не имели успеха, ибо на долю этих людей выпадали тяжелые кары. Радищев за свое «Путешествие из Петербурга в Москву» — книгу, составлявшую «единственное исключение в ряду литературных явлений того времени», был награжден Сибирью, Новиков посажен в Шлис-

сельбургскую крепость, а народ все равно ничего не знал об этих попытках Интересно, что Добролюбов сумел оценить по достоинству «Отрывок из путешествия» И*** Т***, напечатанный в «Живописце» Новикова, проницательный критик обнаружил в нем «ясную мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе»

Так, в статье «Русская сатира в век Екатерины», углубив отдельные наблюдения, намеченные еще в работе о «Собеседнике», Добролюбов вынес свой беспощадный приговор революционного демократа антинародным тенденциям в дворянской литературе XVIII века Устами Добролюбова революционная демократия вынесла приговор всей дворянской культуре и самому дворянству как классу.



XVIII ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ «ТЕМНОГО ЦАРСТВА»?

Летом 1859 года Чернышевские сняли дачу на Петровском острове и пригласили к себе Добролюбова Он стал часто приезжать, иногда проводя у них по нескольку дней подряд Квартиру он снимал в это время на Моховой (на Литейном у Некрасова он прожил около года) С Николаем Александровичем жили теперь брат Володя, готовившийся к поступлению в гимназию, и дядя Василий Иванович (брат отца), переехавший в Петербург после смерти жены Василий Иванович с уважением относился к племяннику, старательно помогал чем мог в его делах, вел все домашнее хозяйство

У Чернышевских Николай Александрович чувствовал себя лучше, чем дома Ольга Сократовна любила его, как родного брата, не говоря уже о самом Николае Гавриловиче, который буквально обожал своего младшего друга, прислушивался к каждому его слову Интересное свидетельство об этом сохранилось в письме Чернышевского от 11 августа 1858 года. « мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг Николай Александрович В вас

я вижу как будто своего брата», — так писал он Добролюбову

В семье Чернышевских Добролюбову пришлось испытать серьезное увлечение сестра хозяйки дома, 19-летняя Анна Сократовна, стала предметом его нежной влюбленности

Они познакомились еще зимой в Петербурге. Ольга Сократовна с сестрой постоянно приглашали Николая Александровича на прогулки по Невскому, которые они любили совершать в предобеденные часы Случалось им кататься на лошадях, бродить по магазинам Гостиного двора В мае, после переезда на дачу, они стали видеться чаще Анюта охотно кокетничала с Добролюбовым и нравилась ему все больше и больше По словам Чернышевского, он полюбил ее «простым, добрым, беззаветным чувством благородного юноши» После некоторых колебаний он, наконец, решился и сделал ей предложение Сначала Анюта ответила отказом, светская девушка, любившая балы, справедливо, по мнению Чернышевского, рассудила, что она и он не пара Однако по другим, несколько противоречивым, сведениям она была не так уж легкомысленна, и предложение Добролюбова в конце концов было принято Тогда в дело вмешалась старшая сестра, решившая расстроить эти планы

— Какая же жена ему Анюта? — говорила Ольга Сократовна — Она милая, добрая девушка, но она пустенькая девушка Ни за что не соглашусь испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры!

По требованию жены Чернышевский должен был отвезти Анюту в Саратов, к родителям Он рассказывает, что перед отъездом «разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам обнимаясь Добролюбов плакал, как девушка». Потом он жаловался Чернышевскому на жестокость Ольги Сократовны В конце концов Анюта уехала на родину, где она вышла замуж до крайности неудачно Добролюбов долго не мог ее забыть Осенью, вскоре после ее отъезда, он писал Бордюгову «У меня остался только

ее портрет, который стоит того, чтоб ты из Москвы приехал посмотреть на него... Я часто по нескольку минут не могу от него оторваться... Это такая прелесть, что я не знаю ничего лучше...»

Добролюбову, жившему слишком мало, не суждено было встретить женщину, которая была бы ему «парой», то есть могла бы понять и разделить его стремления. А он мечтал именно о такой любви, основанной на сходстве интересов и убеждений. Однажды Бордюгов написал, что читает журнальные статьи Добролюбова вместе со своей подругой, которая восхищается его остроумием; Николай Александрович ответил в Москву своему товарищу: «Я не задумаюсь признаться, что завидую твоей жизни, твоему счастью. Если бы у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже, вместе со мною, мои (или, положим, все равно — твои) произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие — вот мое единственное желание теперь...»

Сознание невозможности осуществить это желание мучило Добролюбова, наполняло его душу тоской. Однако эта тоска прорывалась у него очень редко, может быть только в письмах к другу, с которым он привык делиться своими сердечными переживаниями. Окружающие ничего о них не знали, да и трудно было предположить, что у этого человека, буквально сгоравшего в трудах, еще оставалось время подумать о себе, о своей личной жизни. Чернышевский вспоминает: «Я ровно ничего не знал о том, что делает, что чувствует Добролюбов, знал только: он пишет...»

* * *

Писал он необычайно много и неутомимо. По словам Чернышевского, иногда он обещался отдохнуть, но «никогда не в силах был удержаться от страстного труда. Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что труды его могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...» Не-

обычайной зрелостью мысли и таланта отмечено все, что вышло из-под его пера в последние два года жизни. Вслед за статьей об обломовщине последовали одна за другой такие статьи, как «Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», «Черты для характеристики русского простонародья», «Луч света в темном царстве». Это были подлинные манифесты передовой литературно-общественной мысли. Каждое из боевых выступлений Добролюбова знаменовало собой новый этап в развитии политической мысли и эстетической теории революционной демократии. Каждая из этих статей имела огромный общественный резонанс, оказывала прямое влияние на умы молодежи.

Авторитет Добролюбова как критика и публициста неизмеримо вырос, это признавали даже его противники. «Уж одно то, что он заставил публику читать себя, что критические статьи «Современника», с тех пор, как г. — бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время, как почти никто не читает критик, — уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г. — бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения». Так писал о Добролюбове Достоевский, выступивший с полемической статьей против литературно-политических позиций «Современника» и Добролюбова.

Достоевский не видел, что сила молодого критика была не только в литературном таланте, но прежде всего в том, что этот талант служил правому делу, служил народу, отвечал насущным запросам времени. Именно поэтому ему нетрудно было заставить публику читать себя. Революционно настроенная молодежь видела в нем своего идейного вождя и наставника. Вместе с Чернышевским Добролюбов стоял во главе освободительного движения своего времени.

Лучшие его критические статьи, посвященные пьесам Островского, романам Гончарова и Тургенева, произведениям демократических писателей и поэтов, служили революционной заповедью и учебником жизни не только для современников критика, но и

для многих поколений борцов за свободу. В чем же заключалась причина их громадного общественного воздействия, далеко выходящего за пределы литературы? Прежде всего в блестящем умении Добролюбова связывать литературу с жизнью, применять тот прием, который он сам определял так: «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения». Вот почему критик высоко ценил правду в искусстве и настойчиво требовал ее от художника. Он дорожил каждым произведением, в котором находил хотя бы крупицу правды, позволявшую ему «изучать факты нашей родной жизни». Он был убежден, что произведения художника-реалиста «дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени хорошо захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы».

В то время вся общественная жизнь, вся общественная борьба сводилась к «крестьянскому вопросу». Отразить в этих условиях правду жизни в искусстве — значило обнажить гнилость крепостнического режима, показать силы, зреющие в народе и направленные на уничтожение отживающего общественного порядка.

Враги обвиняли Добролюбова в том, что он под видом критических разборов пишет статьи на политические темы. Но именно в этом и заключался главный источник неотразимого влияния добролюбовской критики на современников. Статьи об Островском — лучшее подтверждение этого.

В статье «Темное царство» Добролюбов показал, что главным стержнем пьес Островского является «неестественность общественных отношений, происходящая вследствие самодурства одних и бесправности других». Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского, Добролюбов вскрыл типический, обобщающий характер его образов, и они предстали перед читателем, освещен-

ные двойным светом: сила художественного изображения дополнилась силой мысли критика.

Добролюбов убеждал читателя в том, что дело заключается вовсе не только в купцах-самодурах или в жестоких помещиках, а в самых условиях жизни, при которых возможен этот дикий и косный быт, эти тяжелые, тупые нравы и вопиющая несправедливость. Следуя Островскому, критик раскрыл перед читателями потрясающую картину «темного царства», каким была старая Россия, государство крепостников и жандармов. Он показал, к каким последствиям приводит господство жестокой самодурной силы, и в сознании многих поколений «самодурство», о котором говорит Добролюбов, по праву стало синонимом деспотизма самодержавной власти.

Можно ли было в те времена изобразить в подцензурной печати царскую Россию как страшную тюрьму, в которой задыхаются лучшие люди? Эту почти немыслимую задачу Добролюбов решил с необычайной смелостью. В своей первой статье об Островском он нарисовал незабываемый образ крепостнического царства:

«Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим бессильным ропотом... Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого — и наше сердце стесняется болью и ужасом.. И неоткуда ждать

им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно владычествует *самодурство,* в лице разных Торцовых, Большовых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований...»

Есть ли какой-нибудь выход из этого мрака? — спрашивает критик. В произведениях Островского он не находит прямого ответа на свой вопрос. Тогда он сам подсказывает читателю, что выход все-таки есть. Этот единственный выход состоит в том, чтобы расшатать устои, на которых держатся власть и благополучие «самодуров», то есть разрушить до основания «темное царство», обрекающее миллионы людей на унижения и страдания.

Внимательно приглядываясь к героям Островского, критик обнаруживает, что среди них есть и такие, у которых не совсем еще подавлены человеческие стремления, сознание своего достоинства, затаенные мечты разорвать цепи и вырваться на свободу. «Искра» все-таки тлеется во мраке темницы. И тут же Добролюбов высказывает мысль о том, что «темное царство» не вечно, что оно жестоко и страшно, но трусливо и вовсе не так могущественно, как кажется. Надо только собраться с духом, внушить угнетенным сознание их прав и силы, которая заключена в них самих. Надо подняться на борьбу, тогда «самодурство» отступит, зашатается и рухнет — вот к чему призывал Добролюбов.

На последних страницах своей статьи он прямо указывает, что выход из «темного царства» надо искать не в литературе, которая еще не может его указать, а в самой жизни. Он призывает читателей: «Не оглянуться ли лучше вокруг себя и не обратить ли свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг нас...» (а вслед за этим говорилось, что автор вынужден был выбрать для статьи «фигуральную форму»). Самодурство «бушует в разных видах» на страницах сочинений Островского. «Но и окончивши чтение, — говорит Добролюбов, — и отложивши книгу в сторону, и вышедши из театра после представления одной из пьес Остров-

ского, — разве мы не видим вокруг себя бесчисленного множества тех же Брусковых, Торцовых, Уланбековых, Вышневских, разве не чувствуем мы на себе их мертвящего дыхания?.. Поблагодарим же художника за то, что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в этом темном царстве. И то уж много значит. Выхода же надо искать в самой жизни...»

По существу, критик благодарил драматурга за то, что его пьесы позволяли сделать революционные выводы, указать на необходимость борьбы с «темным царством». Добролюбов пытался именно в эту сторону устремить внимание своего читателя. А для тех, кто мог не сразу уловить запрятанное между строк существо дела, он, заканчивая статью, разъяснял: «Многие выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами собой прийти на мысль читателю...»

Но большинство читателей и не нуждалось в этом разъяснении. Широкие круги демократической молодежи восторженно встретили статью Добролюбова, сразу оценив ее революционную остроту. «Темное царство» — великолепно, — писал автору из Вятки М. И. Шемановский, — все, кто ни читал его, интересуются знать имя автора, — разумеется, кроме отпетых, которые страшно негодуют» (письмо от 5 ноября 1859 года). Другой современник — видный публицист, революционный демократ Н. В. Шелгунов писал в своих воспоминаниях, что статья Добролюбова была «не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие, — это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если скажу, что это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был... неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный человек в свободном государстве».

* * *

Если Добролюбов радовался появлению в русской литературе таких произведений, которые позволяли «хоть осмотреться в темном царстве», то не менее горячо он встречал каждую новую книгу, каждого нового автора, которые правдиво говорили о нуждах народа, о росте его самосознания, о сдвигах в русской жизни, о появлении «новых людей». Такие книги позволяли критику-революционеру снова и снова поднимать вопрос: где же следует искать выход из «темного царства»?

Добролюбов особенно внимательно относился к произведениям писателей, вышедших из «низов» общества или близко знавших народную жизнь. Так, он посвятил большие вдумчивые статьи и рецензии повестям провинциального чиновника С. Славутинского, описавшего жестокое подавление крестьянского восстания в Рязанской губернии; рассказам из народного быта Марко Вовчка; очеркам и рассказам И. Кокорева из жизни московских ремесленников, согретым «горячей любовью к работящим беднякам нашим»; стихам Ивана Никитина, проникнутым любовью к людям труда — земледельцам, косарям, бурлакам, ямщикам; наконец стихам и песням Тараса Шевченко, который после возвращения из ссылки сблизился с редакцией «Современника», — Добролюбов считал, что он «поэт совершенно народный».

Оценивая «Повести и рассказы» Славутинского, Добролюбов прежде всего поставил самое их появление в связь с новыми обстоятельствами, возникшими в русской жизни во второй половине 50-х годов. Он отметил, что «крестьянский вопрос» оказался в центре всех общественных интересов, и литература, конечно, не могла не откликнуться на запросы, выдвигаемые самой жизнью. По мнению критика, в обществе начал складываться новый взгляд на народ, определяемый предчувствием «той деятельной роли, которая готовится народу в весьма недалеком будущем». Рассказы Славутинского явились подтверждением этой мысли. Добролюбов увидел в них знание

народной жизни и правдивое, неприкрашенное ее изображение, свободное от фальши и сусальности, свойственной многим писателям, обращавшимся к «простому быту».

Достоинство Славутинского было в том, что он не пытался смягчить «грубый колорит крестьянской жизни». «Напротив, — писал Добролюбов, — г. Славутинский обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его... Но, несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинского гораздо более возбуждают в нас уважение и сочувствие к народу, нежели все приторные идиллии прежних рассказчиков... Он говорит о мужике просто, как о своем брате: вот, говорит, он каков, вот к чему способен, а вот чего в нем нет, и вот что с ним случается, и почему».

Художественный уровень произведений Славутинского не мог удовлетворить Добролюбова, тем не менее критик оценил его очерки как известный вклад в разработку народной темы; Добролюбов был убежден, что именно с нею связано будущее русской литературы.

Озабоченный необходимостью поддерживать и воспитывать демократических писателей, способных обновить русскую литературу, Добролюбов протягивал руку каждому честному, хотя бы и очень скромному автору. Он не только давал разбор отдельных произведений — его статьи отвечали задачам идейного воспитания писателей-демократов: критик помогал им подняться на более высокую ступень идейного развития, предостерегал от ошибок и чуждых влияний, указывал и критиковал слабые стороны их творчества.

Добролюбов видел художественные недостатки рассказов Марко Вовчка, но, высоко оценивая их правдивость в описании крестьянской жизни, в изображении «великих сил, таящихся в народе», он считал нужным горячо поддержать автора, указать, что он стоит на верном пути. Добролюбов посвятил «Рассказам из народного русского быта» М. Вовчка большую статью, озаглавленную «Черты для харак-

теристики русского простонародья». Эта статья, насыщенная ненавистью к крепостничеству, принадлежит к числу самых выдающихся произведений критика. Она отличается глубиной содержания, остротой мысли, политической зрелостью. Ее пафос — в страстном и гневном протесте против социального угнетения, против порабощения человеческой личности.

Рассказы М. Вовчка привлекли внимание Добролюбова бесхитростными и правдивыми зарисовками горестной жизни крепостных крестьян. Это был еще один шаг на пути к созданию народной литературы. Правда, рассказы украинской писательницы еще не представляли читателям всеобъемлющей картины; да было бы и преждевременно предъявлять такие требования, поскольку народная жизнь в полном своем объеме в то время еще не могла стать материалом искусства. «Такой эпопеи, — полагал Добролюбов, — мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. Самосознание народных масс далеко еще не вышло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом... Сознание великой роли народных масс в экономии человеческих обществ едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка».

Так писал Добролюбов, считавший, что пришло время, когда передовая литература должна «преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия». Хотя критик работал над своей статьей летом 1860 года, то есть до «крестьянской реформы», которая только подготавливалась в это время, тем не менее он счел возможным говорить о крепостничестве как об отжившем понятии, которое будто бы уже отвергнуто самим правительством («лишено покровительства законов»). Такая позиция позволяла ему открыто излагать антикрепостническое содержание рассказов



Восстание крестьян. С картины И. Самохвалова.



Н. А. Серно-Соловьевич.



М. Л. Михайлов.

М Вовчка и, с другой стороны, гневно изобличать крепостников и реакционеров, людей, «еще верующих в святость и неприкосновенность крепостного права» Эти люди приходили в ужас от литературных произведений, в которых говорилось о тяжелой жизни народа Они делали вид, что не верят в правдивость рассказов, рисующих стремление народа сбросить с себя ярмо рабства. Попутно Добролюбов дал сокрушительную отповедь «просвещенным» либералам, пытавшимся доказать, что «мужик еще не созрел до настоящей свободы, что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением . » Этим нелепым и лживым измышлениям критик противопоставил рассказ М. Вовчка «Маша», в котором шла речь о крестьянской девушке, возненавидевшей свою помещицу и, несмотря на угрозы, решительно отказавшуюся работать у нее на барщине Угнетенная своим бесправным состоянием, Маша таяла у всех на глазах, и только слух о воле, обещанной барыней, возвращает ее к жизни.

В тогдашней литературе нашлось бы не много произведений, с такой прямотой рисующих тоску по воле, зреющую в народе.

Добролюбов понимал, что люди, питающие «тайную симпатию к крепостным отношениям», назовут рассказ М. Вовчка фальшивым· они не допускают мысли о том, что в простой мужицкой натуре может столь развиться сознание прав своей личности Но ему, критику «Современника», рассказ дал повод, чтобы высказать глубокие мысли о положении крепостного крестьянства, о деспотизме и рабстве, о подавлении естественных стремлений человека, о том, как пробуждается и крепнет среди «простолюдинов» чувство протеста, сознание своего человеческого достоинства В судьбе и натуре Маши критик увидел характерное явление русской жизни, и он не только дал его широкое, обобщенное толкование, но и сделал из своего анализа острые политические выводы. Полемизируя с «плантаторами и художественными критиками» (как показательно это сближение кре-

постников и защитников «чистого искусства»!), Добролюбов горячо доказывал, что в рассказе «Маша» описан вовсе не исключительный случай: «Напротив, — писал Добролюбов, — мы смело говорим, что в личности Маши схвачено и воплощено высокое стремление, общее всей массе русского народа, терпеливо, но неотступно ожидающей светлого праздника освобождения».

Статья «Черты для характеристики русского простонародья», полная революционных мыслей и смелых намеков на неизбежность грозного народного восстания, вызвала раздражение во вражеском лагере. Цензура вела против нее упорную борьбу и добилась того, что статья увидела свет в искаженном и урезанном виде, да и то благодаря исключительной настойчивости Чернышевского. Против статьи Добролюбова выступил в журнале «Время» Достоевский, обвинявший критика «Современника» в грубом утилитаризме, в пренебрежительном отношении к законам искусства. Зато в передовом лагере страстная антикрепостническая публицистика Добролюбова, поднявшего насущные политические вопросы, была встречена с глубоким сочувствием.

* * *

Много внимания уделял Добролюбов вопросам развития демократической поэзии. Критикуя недостатки стихов Ивана Никитина, он помогал поэту-демократу освободиться от многих его заблуждений. Критик выражал уверенность, что Никитин сумеет более прочно и сознательно примкнуть к революционно-демократическому лагерю. Он призывал поэта «выработать в душе твердое убеждение в необходимости и возможности полного исхода из настоящего порядка этой жизни для того, чтобы получить силу изображать ее поэтическим образом...». Эти слова были благотворны не только для Никитина — они содержали программу развития всей революционной литературы; из них вытекала мысль о том, что только передовой поэт, осуждающий крепостнический по-

рядок жизни, может обрести силу подлинного художника, народного певца.

Добролюбов возлагал большие надежды на то, что писатели из народа войдут в русскую литературу и скажут свое свежее и сильное слово. Он мечтал о новом типе поэта — новатора, гражданина, певца народных нужд и стремлений. Среди современников критика был такой поэт, в котором Добролюбов видел осуществление своего идеала. Правда, он не посвятил ему ни одной статьи, не откликнулся на его стихи даже маленькой рецензией. И тем не менее именно этот поэт оказался тем самым народным трибуном, гневным сатириком, о появлении которого давно мечтал Добролюбов. Это был Некрасов.

Еще в первой своей статье («Собеседник любителей российского слова») начинающий критик отнес стихи Некрасова к «лучшему, что есть в нашей словесности», поставив их в один ряд с народными песнями и произведениями Гоголя; он рассматривал некрасовские стихи в русле народного, реалистического «гоголевского» направления, борьбе за развитие которого была посвящена вся критическая деятельность революционных демократов. Это был единственный случай, когда Добролюбов упомянул о Некрасове в печати (да и то в тексте «Современника» фамилия поэта была заменена тремя звездочками). Критик, внимательно разбиравший стихи третьестепенных авторов, не имел возможности писать о своем любимом поэте потому, что Некрасов был редактором и издателем «Современника», говорить о его творчестве на страницах журнала было неудобно.

Но если Добролюбов не мог открыто заявить в печати свое мнение о Некрасове, то все же его отношение к поэту не могло не отразиться в критических статьях, посвященных русской поэзии того времени. И действительно, последние выступления Добролюбова по вопросам поэзии (рецензии на сборники стихов И. Никитина и Д. Минаева, 1860) написаны как бы на фоне этого признания Некрасова значительнейшим поэтом современности. Не называя

поэта по имени, критик все время имеет в виду его стихи как высшее достижение в этой области, он негласно сравнивает с ним или противопоставляет ему разбираемых авторов.

В рецензии, посвященной Никитину, Добролюбов критикует недостатки современной лирической поэзии — ее «бесцветность, неопределенность и мечтательность». Невозможно предположить, что эти недостатки критик распространял также и на творчество Некрасова. Очевидно, последнее сознательно исключается им из общего обзора современной лирики. А вслед за тем критик постепенно подготавливает читателя к восприятию своих мыслей о скором появлении поэта, столь необходимого для современности.

«Жизненный реализм должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических тонкостях. Восход солнца, пение птичек, блаженство сладострастья... теперь могут быть изображены очень хорошо и доставить минутный успех поэту, но никогда не привлекут к нему того живого, деятельного и энергического сочувствия, которое всегда проявляется в обществе к людям, нужным в известную эпоху, не даром живущим на свете... Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова».

Таким образом, идеальный облик будущего поэта складывается из гармонической красоты пушкинской поэзии (в данном случае понятой односторонне), лермонтовского пафоса отрицания и протеста и кольцовского демократизма, близости к народу, кольцовской крестьянской тематики. В литературе тех лет ответить этим требованиям могла, без сомнения, только поэзия Некрасова. Добролюбов прекрасно понимал это, и, конечно, только Некрасова он имел в виду, когда говорил, что «у нас скоро будет замечательный поэт». Мы знаем, что он не мог, а до поры до времени, может быть, и не хотел прямо заявить

об этом, но вскоре ему удалось выразить свое мнение о Некрасове еще более определенно.

Заканчивая рецензию о Никитине, Добролюбов писал: «Когда действительно придет возможность какой-нибудь переделки в общественных правах и отношениях, тогда, конечно, посреди рабочих практиков не преминет явиться и энергический лирик с поэтическим словом одушевления и одобрения». Иными словами: когда настанет пора народной революции, тогда среди восставших, среди «рабочих практиков» этой революции появится вдохновенный певец, «энергический лирик», самый «замечательный поэт», о котором говорил Добролюбов в начале своей рецензии.

На чем же основывалась его твердая уверенность в том, что эта близкая народная революция выдвинет и своего поэта? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить о письме Добролюбова к Некрасову, писанном через несколько месяцев после статьи о Никитине (в августе 1860 года). Отвечая тогда Некрасову, который в минуту уныния жаловался на бесполезность борьбы и слабость своих сил, Добролюбов звал его к большой политической деятельности. Он писал:

«...Вы, любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила, вы так легкомысленно отказываетесь от серьезной деятельности. Да ведь это злостное банкротство... Цензура ничему не помешает, да и никто не в состоянии помешать делу таланта и мысли. А мысль у нас должна же прийти и к делу, и нет ни малейшего сомнения, что, несмотря ни на что, мы увидим, как она придет».

Речь идет, конечно, о революционной мысли и революционном деле. Добролюбов отводит Некрасову роль певца будущей революции, зовет его стать народным трибуном. Только так и можно понять добролюбовское сравнение Некрасова с Гарибальди, сделанное в том же письме.

Теперь мы вправе предположить, что именно наличие в русской поэзии многообещавшего некрасовского гения позволяло Добролюбову уверенно гово-

рить о появлении «энергического лирика», который заговорит полным голосом в случае «какой-нибудь переделки в общественных правах и отношениях». Вера в Некрасова была для Добролюбова тесно связана с верой в революцию.

Через четыре месяца после статьи о Никитине, в августовской книжке «Современника» за 1860 год, появилась рецензия Добролюбова, посвященная «Перепевам» Д. Минаева. Набрасывая здесь общую картину состояния поэзии, Добролюбов вновь повторил имена Пушкина, Лермонтова и Кольцова, являвшихся для него, как и для Чернышевского, классическими представителями первого, донекрасовского этапа развития русской поэзии. Их деятельность подготовила появление нового гения. «После них нужен был поэт, который бы умел осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и как будто безотчетные порывы Кольцова, и вложить в свою поэзию положительное начало, жизненный идеал, которого недоставало Лермонтову. Нет ни малейшего сомнения, что естественный ход жизни произвел бы такого поэта; мы даже можем утверждать это не как предположение или вывод, но как совершившийся факт. Но, к сожалению, наступившие вслед за тем события уничтожили всякую возможность высказаться и развиться в новом таланте тому направлению, которое с двух разных сторон, после Пушкина, пробивалось у нас в Кольцове и Лермонтове. Общественная жизнь остановилась; вся литература остановилась: естественно, что и лирика должна была остановиться...»

Итак, Добролюбов объявил «совершившимся фактом» появление поэтического таланта, которому суждено открыть новую эпоху в русской поэзии. Политическая реакция, парализовавшая общественную жизнь в годы, предшествовавшие Крымской войне, приглушила голос поэта, остановила развитие литературы. Однако критик не оставляет читателя в убеждении, что реакция действительно «уничтожила всякую возможность высказаться» новому литературному направлению. На следующей же странице он дает понять, что направление это не заглохло, что

русская жизнь «встряхнулась» после событий 1855 года, литература вновь заговорила и, наконец, — «теперь опять стало можно ожидать появления мощного таланта, который охватит весь строй нашей жизни, согласит с ним свой напев и поставит свою поэзию в уровень с живой деятельностью...».

Надо ли говорить, что только твердая уверенность Добролюбова в реальном существовании этого давно созревшего мощного таланта позволяла ему с такой убежденностью предсказывать его скорое появление.

Оценка Некрасова в приведенных цитатах воспринимается теперь как глухой намек, мимо которого легко может пройти современный читатель. Однако в свое время этот намек значил очень много и расшифровывался без всякого труда. Ведь в рецензии на «Перепевы» Д. Минаева впервые было громко заявлено мнение революционно-демократической критики о своем поэте, хотя сам поэт и не был назван по имени. Это событие не могло пройти незамеченным прежде всего во вражеском лагере.

Воспользовавшись выходом в 1861 году второго издания стихотворений Некрасова, журнал «Отечественные записки» выступил со статьей, в которой пытался отделить Некрасова от его соратников и друзей, доказать пагубность их влияния на поэта. Критик «Отечественных записок» утверждал, что у Некрасова есть «истинная поэзия» там, «где он описывает не *крестьян, а русскую природу*... Там же, где он, взяв себе в руководители только теорию, смотрит на общество из-за параграфов книг, как в «Еремушке», там он доходит до результатов, невообразимо противоречащих ему же самому».

Отдельные места статьи «Отечественных записок» звучат как прямая полемика с Добролюбовым: «Мы знаем, что явятся неистовые хвалители, которые, зажмурив глаза, заткнув уши, будут кричать г. Некрасову: идите так, как вы идете в последнее время — и *вы будете первым поэтом нашего времени...»* Наконец открытый выпад против Добролюбова заключался в циничной иронии по поводу того, что

«Современник» и его критики не дали до сих пор критической оценки поэзии Некрасова: «Раздавались изредка в литературе похвальные отзывы о нем, на него возлагались надежды, «современники»... говорили: «если бы да не обстоятельства, мы имели бы случай видеть нашего истинного поэта», и эти скромные отзывы «современников» о своем поэте заменяли все: критику, похвалу, скромность и намек». Нетрудно заметить, что здесь почти точно процитированы и высмеяны суждения Добролюбова, в которых Некрасов даже не был назван по имени.

Полемика по этому поводу продолжалась довольно долго. В одном из выступлений противников Добролюбова, между прочим, говорилось, что Некрасов мог бы стать «первым нашим современным лириком», но этому помешало то обстоятельство, что он «усвоил доктрину отрицателей», а «критические статьи Добролюбова принял за руководящую нить в своих песнях» [1]. Эти отклики буржуазно-либеральной критики показывают, какой резонанс приобретали в накаленной атмосфере даже высказанные намеками суждения Добролюбова; отклики интересны и тем, что в них ярко рисуется идейное убожество врагов Добролюбова, целой пропастью отделенных от трезвой революционной мысли великих друзей поэта. Пигмеи старались убедить Некрасова в том, что политическая тенденция губит и сушит его стихи, лишает их поэтического очарования и оставляет за пределами искусства.

Критики-демократы, иначе понимавшие значение некрасовской музы, знали, что только большие мысли и чувства дают силу художественному мастерству и вечную жизнь поэзии. Они знали, что оружием поэтического слова Некрасов отстаивает дорогие им идеалы.

---

[1] «Отечественные записки», 1863, № 9.



XIX. ЖИЗНЬ ВЫДВИГАЕТ НОВОГО ГЕРОЯ

Одно из центральных мест в критике Добролюбова занимал вопрос о положительном герое. Добролюбов был убежден, что на смену Рудиным, Лаврецким и другим персонажам, сходящим со сцены, должны прийти новые герои, стремительно выдвигаемые самой жизнью. Добролюбов с нетерпением ждал появления таких книг, в которых был бы показан деятель нового времени, — патриот, борец, народный заступник. Критик деятельно участвовал в создании новой, демократической литературы, которая прежде всего должна была разработать и правдиво изобразить характер нового героя русской жизни — разночинца и демократа. Добролюбову было ясно, что этот новый герой появится из недр самого народа, а не из дворянской среды. В статье «Когда же придет настоящий день?» он прямо указал, что дворянский герой в новых условиях не способен быть человеком-борцом, так как «сам кровно связан с тем, на что должен восставать».

Энергично содействуя развитию прогрессивной литературы, Добролюбов внимательно присматривался ко всякой честной книге, к каждому произведению,

в котором находили хотя бы некоторое отражение основные общественные процессы того времени: рост возмущения в народе, обострение классовой вражды между крестьянами и помещиками — свидетельство приближения неизбежной катастрофы.

Вот почему Добролюбов с такой радостью встретил появление «Грозы» Островского, увидев в героине новой пьесы первый «луч света», говорящий о родниках живых сил в народе, о его живой душе, исполненной ненависти и жаждущей борьбы. Образ Катерины, женщины, которая не могла мириться с самодурством, был в глазах Добролюбова освещен первым отблеском той грозы, которая уже собиралась над «темным царством».

Героиню «Грозы» Добролюбов назвал «шагом вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе». В чем заключалась заслуга Островского? В том, что он создал образ, который «давно требовал своего осуществления в литературе». Более того, говорит критик, он создал образ, около которого «вертелись наши лучшие писатели», но так и не смогли осуществить своего намерения. «Нам кажется, — говорит Добролюбов, — что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности». Не так поступил Островский, «не так понят и выражен русский сильный характер в «Грозе»... Он водится не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто *натурою,* всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила...»

Добролюбов высоко оценил общественное значение «Грозы»; эта пьеса, по его словам, «без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности в ней доведены до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление

менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее».

Несмотря на гибель героини, «Гроза» всем своим строем и пафосом внушала читателю — зрителю мысль о шаткости и близком конце «самодурства». Таков был «фон пьесы», в котором Добролюбов видел ее «освежающее» начало. Проникновенное истолкование «Грозы», сделанное в статье «Луч света в темном царстве», показало всем, и может быть самому Островскому, что Катерина и есть подлинный «луч света», что ее трагический конец как бы предвещает приближение новой жизни.

Анализируя художественный образ, Добролюбов иной раз добирался до таких глубин, куда не всегда заглядывал и сам писатель. Он достигал этого, не только проникая в замысел художника, но прежде всего сравнивая его образы с действительностью. Именно этой цели в его статьях служили публицистические отступления, мысли о некоторых явлениях жизни, на первый взгляд не имевших прямого отношения к делу. В совокупности многообразных связей образа с действительностью, которые с таким мастерством умел находить критик, и раскрывалась вся глубина произведения.

О «темном царстве», изображенном в статьях об Островском, можно сказать то же самое, что было сказано Гончаровым об обломовщине после этих статей к характеристике «темного царства» уже нельзя было прибавить ничего существенного. Сам Островский остался доволен анализом его творчества, который дал Добролюбов. По свидетельству актера Ф Бурдина, две статьи «Современника» нравственно поддержали драматурга в трудное время, когда его преследовали житейские невзгоды, а театральная цензура препятствовала постановке его пьес. В это время, пишет Бурдин, «появился Добролюбов и разъяснил в своих статьях цену и значение Островского, что было для него большим нравственным утешением».

* * *

Драма «Гроза» дала возможность Добролюбову поднять вопрос о появлении в литературе нового героя. Еще больше материала для этой темы дал критику роман Тургенева «Накануне», которому он посвятил статью, многозначительно названную «Когда же придет настоящий день?» (1860). Впрочем, она появилась в «Современнике» под иным, ничего не выражавшим заголовком: «Новая повесть г. Тургенева», и этим отнюдь не исчерпывалось то смягчение, на какое вынужден был пойти автор под нажимом цензуры.

Главным достоинством Тургенева как писателя Добролюбов считал его способность быстро улавливать новые потребности жизни, новые идеи, возникавшие в общественном сознании, обращать внимание на вопросы, смутно начинавшие волновать общество. Именно «этому чутью автора к живым струнам общества, — писал Добролюбов, — этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике». Правда, автор «Накануне» — не из тех «титанических талантов», которые одной силой поэтического воображения властно захватывают читателя и увлекают его на сочувствие к явлениям и идеям, до тех пор вовсе не вызывавшим его расположения. Не бурная сила, а скорее мягкость, лиричность характеризуют тургеневское дарование. И, не будь у этого писателя живой связи с потребностями общества, о нем скоро забыли бы, как это произошло, например, с Фетом. Тургенев же потому упрочил свой успех у читателей, что на протяжении двадцати лет писательской деятельности его никогда не покидало живое отношение к современности. Если он затронул «какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образован-

Болгарія порабощена, она страдаетъ подъ турецкимъ игомъ. Мы, слава Богу, никѣмъ не порабощены, мы свободны, мы — великій народъ, не разъ рѣшавшій своимъ оружіемъ судьбы царствъ и народовъ; мы владѣемъ другими, а нами никто не владѣетъ....

Въ Болгаріи нѣтъ общественныхъ правъ и гарантій. Инсаровъ говоритъ Еленѣ: «если бъ вы знали, какой нашъ край благодатный. А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ, у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ ...» Россія, напротивъ того, государство благоустроенное: въ ней, [illegible], существуютъ мудрые законы, охраняющіе права гражданъ и опредѣляющіе ихъ обязанности, въ ней царствуетъ правосудіе, [illegible] благодѣтельная гласность. Церквей ни у кого не отнимаютъ, и вѣры не стѣсняютъ рѣшительно ничѣмъ, а напротивъ поощряютъ ревность проповѣдниковъ [illegible]; правъ и земель не только не отнимаютъ, но еще дарують ихъ тѣмъ, кто не имѣлъ доселѣ; [illegible].

«Въ Болгаріи, говоритъ Инсаровъ,—послѣдній мужикъ, послѣдній нищій и я — мы желаемъ одного и того же: у всѣхъ одна цѣль». [illegible] русской жизни, въ которой каждое сословіе, даже каждый кружокъ живутъ своею отдѣльною жизнью, имѣютъ свои особыя цѣли и стремленія, свое установленное назначеніе. При существующемъ у насъ благоустройствѣ общественномъ, каждому остается только упрочивать собственное благосостояніе, для чего вовсе не нужно соединяться съ цѣлой націей въ одной общей идеѣ, какъ это происходитъ въ Болгаріи.

Инсаровъ былъ еще младенцемъ, когда турецкій ага похитилъ его мать и потомъ зарѣзалъ, а отецъ его былъ разстрѣлянъ за то, что желая отмстить агѣ, поразилъ его кинжаломъ. Когда и кого изъ русскихъ людей могли встрѣтить въ жизни подобныя впечатлѣнія? Слыхано ли что нибудь подобное въ русской землѣ? Конечно, уголовныя преступленія вездѣ возможны; но у насъ, если бы какой нибудь ага и похитилъ, и убилъ или уморилъ потомъ чужую жену, такъ мужа и до отмщенія бы не допустили, ибо у насъ есть законы для

Корректурный лист статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» с правкой цензора.

ного общества, что эта новая сторона жизни начнет выдаваться и скоро выкажется резко и ярко перед глазами всех».

Роман «Накануне» представлял, по мнению Добролюбова, особый интерес потому, что в этом произведении наметилась новая линия тургеневского

творчества. В своих прежних произведениях писатель выводил в качестве героя ту или иную разновидность «лишнего человека», с большим искусством привлекая симпатии к нему читателей. Предмет этот «казался неистощимым». Но тем временем в обществе развивались процессы, которые привели к тому, что «Рудин и вся его братия» уже перестали вызывать общественный интерес, и никакие новые вариации этого устаревшего литературного героя не могли помочь делу. Добролюбов оценил «Накануне» как новое свидетельство чуткого отношения автора к требованиям жизни, Тургенев понял, что прежние его герои уже сделали свое дело. Поэтому он решился расстаться с ними и «попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени».

В воспоминаниях Н. Татариновой (Островской), бравшей уроки у Добролюбова, сохранился интересный отзыв его о «Накануне», высказанный в частном разговоре. Однажды отец Наташи спросил у критика, как ему нравится новый роман Тургенева.

— Прелесть, — ответил Добролюбов с непривычным ему восторгом.

— Хорошо-то хорошо, только герой не совсем ясен.

— Не было у него перед глазами моделей для таких людей, но зато новая, свежая мысль! И девушка эта — как хороша! И как умно, что он не воротил ее в Россию после смерти мужа!..

«Никогда не видела я Добролюбова таким, — добавляет автор воспоминаний, — у него лицо стало добрее и точно моложе, и голос звучал иначе...»

Разбирая «Накануне», Добролюбов подробно остановился на образе Елены. Он увидел в нем новую — после Ольги из романа «Обломов» — попытку «создания энергического, деятельного характера». Если известная жизненная пассивность героини, в сочетании с богатством внутренних сил и томительной жаждой деятельности, и оставляла впечатление незавершенности фигуры Елены, то в этом не было вины автора. Наоборот, тут сказалась правда жизни; таково положение дел: «Это трудное, томительное переходное по-

ложение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его». А трудность, томительность положения заключались в том, что общество, находясь накануне революционного взрыва, все еще продолжало жить в условиях отжившего общественного уклада; недаром в статье говорилось о самодержавно-крепостническом строе как о мертвеце, трупе, которого не оживить никакими стараниями, никакими средствами.

В силу особенностей своего воспитания Елена не знает, куда и на что обратить богатство своих внутренних сил. Не могут помочь ей в этом и окружающие ее люди — Шубин, Берсенев. Только Инсаров указал Елене цель, настолько великую, что она была потрясена и захвачена ею.

Но почему же писатель вывел перед нами в качестве героя не русского, а болгарина? Потому, отвечал критик, что ему нужен был такой герой, который мог бы указать Елене великую и святую цель. У болгарина-патриота она могла быть — его родина порабощена турками. Что же может быть более святого и великого, чем идея освобождения родины? А у русских людей, иронизировал Добролюбов, слава богу, родина никем не порабощена, Россия — страна вполне благоустроенная, «в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность». Даже царский цензор смутно почуял в этих словах насмешку и попытался умерить непрошеный восторг, вычеркнув из статьи несколько пышных эпитетов.

Итак, русская жизнь, по мнению Добролюбова, еще не стала той почвой, на которой вырастают героические личности, подобные Инсарову, человеку, одушевленному великой идеей, способному бороться за ее осуществление. Литературные герои до сих пор если и подымались до высоких идеалов, то на этом их силы истощались, для практических действий у них уже не хватало энергии. Между тем общество нуждается в русских Инсаровых, в героях-деятелях, бесстрашных борцах. С кем они будут бороться? — спрашивает Добролюбов; ведь русский народ не порабощен внешними врагами. И отвечает: «Но разве

мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется геройства для этой борьбы?.. С этим внутренним врагом ничего не сделать обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, и вырос, и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может».

Современники Добролюбова понимали, что в этих строках идет речь о необходимости революционного переворота. Но критик, не останавливаясь на этом, поднимал вопрос: возможен ли такой переворот и когда? Скоро ли наступит долгожданный «настоящий день»? Да, переворот возможен, отвечал Добролюбов. Мертвящие условия русской жизни долго подавляли развитие личностей, подобных Инсарову, но теперь эти условия переменились настолько, что они же помогут появлению героя. Заканчивая статью, Добролюбов восклицал: «И не долго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в нашей жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он, наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..»

Статья Добролюбова о романе «Накануне» прозвучала как мощный удар набата. Молодая Россия зачитывалась этой статьей. «В ней есть сила приподымающая», — писал Славутинский автору о статье «Когда же придет настоящий день?». Революционеры следующих десятилетий называли ее «революционным завещанием» великого критика. Позднее В. И. Ленин заимствовал из этой статьи выражение «внутренние турки» для характеристики врагов трудового народа, угнетателей, сидевших на его шее.

Выступление Добролюбова знаменовало собой окончательный разрыв «Современника» с группой писателей-либералов и прежде всего с Тургеневым, который сделал все, что мог, для того, чтобы статья не

увидела света, хотя она и не заключала в себе ничего обидного для писателя. Тургенев был решительно не согласен с революционным истолкованием его романа и считал, что тот оборот, который придал делу Добролюбов, ничего, кроме неприятностей, принести ему не может. Он упрашивал Некрасова не печатать статью: «Я не буду знать, куда бежать, если она напечатается!» — восклицал писатель. Некрасов попытался было примирить его с Добролюбовым. Он дважды заезжал к Тургеневу, не заставал его дома и, наконец, оставил ему записку. В ответ Тургенев предъявил Некрасову ультиматум:

— Выбирай: я или Добролюбов.

В свою очередь, Добролюбов, узнав о некоторых колебаниях Некрасова, заявил, что немедленно покинет «Современник», если статья не будет опубликована. Таким образом, Некрасову предстояло выбирать, и он уже без колебаний выбрал Добролюбова.

Перепуганный цензор Бекетов также хлопотал, чтобы статья не увидела света. Убеждая Добролюбова отказаться от статьи, он писал ему: «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского. И пропустить ее в том виде, как она составлена, решительно нет никакой, *никому* возможности».

После многих цензурных мытарств, после трехкратной переработки статья «Когда же придет настоящий день?» появилась на страницах «Современника».

Мы знаем, что Тургенев неприязненно относился к Добролюбову. Конечно, он не мог не видеть его выдающегося дарования и, вероятно, смутно чувствовал его правоту; но заставить себя примириться с «выскочками», «семинаристами» он был не в состоянии. По точному ленинскому определению, ему «претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского». Характерно, что ему становилось не по себе, когда на него устремлялся холодный и саркастический взгляд Добролюбова, он жаловался, что от такого взгляда стынет суп и на окнах появляются морозные узоры.

Тургенев не мог в это время оценить всей глубины

статьи о «Накануне»; он не хотел видеть того, что Добролюбов был самого высокого мнения о его реалистическом мастерстве, что он был удовлетворен общественной актуальностью его романа. По словам Чернышевского, Тургеневу казалось, будто Добролюбов «третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей». И тем не менее Тургенев, безусловно, понимал, что Добролюбов как критик представляет собой незаурядное явление. Через месяц после его смерти Тургенев писал П. В. Анненкову (11 декабря 1861 г.): «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живым. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна»[1]. А еще позже, когда полемический пыл остыл и острота политических расхождений несколько забылась, Тургенев в своих «Литературных и житейских воспоминаниях» писал: «Добролюбова... я... высоко ценил как человека и как талантливого писателя».

К этому надо добавить, что Тургенев в своем творчестве не избежал известного влияния добролюбовской проповеди, хотел он этого или не хотел. В следующем его романе, «Отцы и дети» (1862), содержавшем яркую картину общественной борьбы 60-х годов, несомненно, сказалось благотворное влияние Добролюбова и Чернышевского. Ведь именно они, критикуя излюбленный тургеневский тип «лишнего человека», призывали писателя обратиться к новому герою русской жизни — разночинцу-демократу. И, конечно, не случайно в «Отцах и детях», романе, создававшемся в обстановке нарастающего общественного подъема, нашли свое отражение многие мысли Добролюбова о характере этого нового героя, о неизбежности появления «русского Инсарова».

Тургеневу как художнику, несомненно, принесло много пользы общение с новыми деятелями русской

[1] Тургенев имеет в виду статью «Забитые люди», последнюю работу Добролюбова, появившуюся в сентябрьском номере «Современника» за 1861 год.

литературы и причастность к той атмосфере гражданских чувств и стремлений, которая господствовала в редакции «Современника». Он сам, может быть, и не сознавал того, что было ясно лучшим из его друзей. Сохранилось любопытное письмо Салтыкова-Щедрина (написанное много позднее), где о Тургеневе говорилось так: «Нет около него никого — оттого он и уснул. Нет никого, кто бы вызывал его на споры и будил его мысль. В этом отношении разрыв с «Современником» и убил его. Последнее, что он написал, «Отцы и дети», были плодом общения его с «Современником». Там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого». Первым из этих «озорников» был, конечно, автор статьи о «Накануне».

Добролюбов, стоявший во главе освободительного движения своего времени, постоянно размышлял о перспективах будущей революции. Он настойчиво стремился подсказать своему читателю, где же, в каком направлении следует искать выход из «темного царства». Как критик, стоявший во главе передовой русской литературы, он заботился о сближении литературы с жизнью, о воспитании новых кадров демократических писателей.

Его влияние на писателей было многообразно и благотворно. И если литературные реакционеры и мракобесы, защитники «чистого искусства» ненавидели и боялись критика, то велика была любовь и уважение к нему со стороны тех, кто понимал его значение, кто прислушивался к его слову. Так, после появления в «Современнике» статьи «Благонамеренность и деятельность» А. Плещеев, которому была посвящена эта статья, писал Добролюбову: «Из всех журнальных отзывов я только вашим и дорожу. Как бы ни был строг ваш суд, я всегда готов за него вам сказать спасибо».

Осуждая и высмеивая одних, поддерживая и ободряя других, Добролюбов помогал отечественной литературе развиваться по пути народности и реализма.



XX. ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

В начале 1860 года общественная атмосфера в России продолжала накаляться. Освободительное движение, становясь все более грозным, встречало ожесточенное сопротивление реакционных сил. Еще в ноябре 1859 года Добролюбов писал в Рязань А. Златовратскому: «Наши дела здесь идут плоховато: крутой поворот ко времени до-крымскому совершается быстро, и никто не может остановить его. Разумеется, за всех и прежде всего платится литература».

«Крутой поворот» к николаевским временам после недолгих либеральных заигрываний правительства с обществом был следствием обострения социальных противоречий, выражением панического страха, охватившего «верхи». Началась полоса новых репрессий, вызванных стремлением укрепить власть, подавить растущий протест. Положение передовой журналистики становилось все более трудным. Деятели «Современника» могли теперь ждать прямых преследований. Весной 1860 года И. И. Панаев встретился в театре с генералом Тимашевым, начальником штаба корпуса жандармов, который подозвал его к себе и дал «по старому знакомству» добрый совет: как можно ско-

рее очистить журнал от «темных личностей», то есть от таких сотрудников, как Добролюбов и Чернышевский, и от «всей их шайки...»

В это тревожное время возникла мысль отправить Добролюбова за границу для лечения. Друзья критика понимали, что это самый надежный способ уберечь его от начинавшихся преследований. «Откладывать поездки я не советую...» — писал Некрасов. К тому же здоровье Добролюбова в начале 1860 года в самом деле резко ухудшилось, у него появились явные признаки туберкулеза, начался сильный хронический бронхит. Бессонные ночи, непосильный труд дали себя знать. «Всякого рода хлопоты и работы до того меня уходили, что я был сам не свой целую осень и зиму. Грудь болела, кашель душил меня полгода так, что только стон стоял в комнате», — писал сам Добролюбов родным в одном из писем. Доктора тоже настаивали на поездке за границу. Николай Александрович долго колебался — его тревожили материальные соображения: такая поездка должна была стоить недешево. Трудно было ему и оторваться от журнала, от литературной работы. Как-то он сказал Панаевой:

— Если бы мне предложили дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, я, не колеблясь, предпочел бы лучше прожить только до тридцати лет, но не бросать журнальную деятельность.

В конце концов друзья с великим трудом, «почти насильно», по выражению Чернышевского, заставили его отправиться в путешествие. Им казалось, что перемена обстановки, климата, новые впечатления, южноевропейские курорты и морские купанья рассеют больного, помогут ему отдохнуть и набраться сил. Некрасов уладил денежные дела. В середине мая 1860 года Добролюбов с тяжелым чувством выехал из Петербурга. Позднее он писал Василию Ивановичу: «В Нижний-Новгород написали бы самое короткое, — что я умираю и за границу за саваном поехал...»

Добролюбов приехал в Берлин, потом отправился

в Дрезден, где советовался с врачами. По-видимому, здесь он узнал о только что происходивших «беспорядках» в Праге: в середине мая там начались студенческие волнения, носившие антиавстрийский характер. Мы можем судить об этих событиях по весьма беглой информации, проникавшей в русские газеты. «Санктпетербургские ведомости» 22 мая 1860 года сообщали о том, что 16—18 мая в Праге происходили демонстрации студентов, которые пели славянские песни и «провозглашали тосты за здоровье всех славян и присутствовавших моравцев». Полиция разгоняла толпу, производила аресты. Спустя пять дней (27 мая) та же газета писала, что в Праге продолжается «волнение в умах».

Находясь в Германии, Добролюбов, несомненно, знал гораздо больше об этих событиях, чем русские читатели. И характерно, что, забыв о своем здоровье, о плохом самочувствии, он счел необходимым немедленно отправиться из Дрездена в Прагу, откуда подуло «свежим ветром». Он приехал в чешскую столицу 28 мая и пробыл в ней до 1 или 2 июня.

Биографы Добролюбова только недавно обратили внимание на этот существенный эпизод из жизни революционера; подробности его остаются невыясненными. Известно только, что Добролюбов и позднее интересовался событиями в Праге, просил пересылать ему в Швейцарию пражские газеты. В письме от 4/16 июля 1860 года он упоминает о своих «пражских знакомых». Примечательны следующие строки из письма Н. Н. Обручева, путешествовавшего по Европе, который писал 14/26 июня 1860 года Добролюбову: «...в Праге, например, не тот ветер: там свежее и сам свежеешь».

Возвратившись в Германию, Добролюбов отправился в Лейпциг, где прожил несколько дней. Отсюда он писал Шемановскому: «До сих пор я как будто все в родной Руси. Можешь себе представить, что вчера первый день еще выдался мне такой, что я русского языка не слышал. А то куда ни оглянись — везде русские... В театре я раз сидел буквально окруженный русскими...»

Врачи посоветовали ему отправиться в Швейцарию — лечиться сывороткой и альпийским воздухом. Он поселился в живописной деревеньке Интерлакен, откуда совершал прогулки в горы, к белоснежной Юнгфрау, к стремительному Штаубаху, водопаду, который несется с надоблачной высоты по черным гранитным скалам. Здесь, в Интерлакене, его навестил Измаил Иванович Срезневский, путешествовавший с женой и дочерью.

Осенью Добролюбов переехал во Францию. Он жил в Париже в Латинском квартале вместе с Н. Обручевым, ездил в Руан, Ниццу, побывал на морских купаньях в Дьеппе. О том, как жилось ему во французской столице, Добролюбов сам рассказал в письме к одной из своих петербургских знакомых от 16/28 ноября 1860 года: «...В Париже пришлось мне найти милый провинциальный уголок, со всеми удобствами парижской жизни, но без ее шума и тщеславия. Мы живем с Обручевым в одном из скромнейших меблированных домов Латинского квартала на полном пансионе, и потому беспрестанно сходимся с семейством хозяина, состоящим из жены его, сына-студента и дочери 16 лет. У них множество родни и знакомых — всё люди весьма скромного состояния — комми, модистки, армейские офицеры, гувернантки, студенты и т. п. И какое бесцеремонное, доброе веселье разливается на всех, когда иной вечер все это общество соберется и примется петь, плясать, фокусничать, ни на кого не смотря, ничем не стесняясь, кто во что горазд!..»

К зиме (в ноябре) Добролюбов отправился в Италию, где пробыл до самого возвращения домой, то есть до июня следующего, 1861 года. За это время он успел посетить Геную, Флоренцию, Венецию, Милан, Турин, Рим, Неаполь, Палермо, Мессину.

Сохранилось очень мало сведений об этих месяцах жизни Добролюбова. Несомненно одно: несмотря на обилие и разнообразие впечатлений, все его мысли были обращены к родине, связаны с друзьями и журналом. Он решительно не мог переносить бездей-

ствие и неутомимо продолжал работать для «Современника». Достаточно напомнить, что вдали от родины им написаны такие выдающиеся работы, как «Черты для характеристики русского простонародья» и «Луч света в темном царстве», не говоря уже о больших статьях на итальянские темы. Литературные планы Добролюбова были обширны; в одном из писем к Некрасову он, например, предлагал написать для «Современника» целую серию статей на зарубежные темы, в частности статью о Венгрии в 1848 году, письмо из Рима и т. д. (осуществить эти замыслы ему не удалось). Он читал множество немецких и других книг, следил за прессой разных стран, живо интересовался общественной жизнью и литературой, в частности венгерской. В письме из Ниццы в Берлин от 18/30 января 1861 года, адресованном П. Н. Казанскому, регулярно снабжавшему его книгами и газетами, Добролюбов писал: «Нет ли последнего отчета о финансах Австрии, напечатанного? Нет ли еще какой-нибудь порядочной истории венгерской литературы, новой?»

Не исключена возможность, что, находясь за границей и посещая места, где развертывалось национально-освободительное движение (Прага, города Италии), Добролюбов осуществлял какие-то задания петербургской революционной организации, в частности поддерживал связь с лондонским центром — Герценом и Огаревым. Сколько-нибудь точных данных об этом по вполне понятным причинам до нас не дошло, однако следует напомнить, что в книжке А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» имеется такая фраза, обращенная к Герцену:

«А поездка Добролюбова за границу, и ваши взаимные отношения во время его пребывания за границей?. »

О «взаимных отношениях» Добролюбова и Герцена здесь говорится как о чем-то само собой разумеющемся. Это и понятно, поскольку слова А. Серно-Соловьевича адресованы лицу, хорошо знавшему предмет, о котором шла речь. Именно по этой причине можно думать, что приведенные слова не были

случайной оговоркой или плодом фантазии автора,— можно предположить, что за ними стояли какие-то реальные факты, известные в то время лишь немногим из современников Добролюбова, а позднее забытые вовсе.

Особенного внимания заслуживает деятельность Добролюбова в Италии; подробности ее до сих пор остаются неизвестными, однако можно думать, что современники располагали некоторыми сведениями об этом, которые до нас не дошли. Так, в некрологе, посвященном Добролюбову и опубликованном в журнале Достоевского «Время», говорилось о его кипучей деятельности в Италии, о знакомстве с тамошними выдающимися деятелями, о его большом интересе к политическим событиям того времени.

Находясь в Италии, Добролюбов старался внимательно следить за тем, что происходило в России, читал русские газеты, переписывался с Чернышевским и Некрасовым. Дядя Василий Иванович регулярно высылал ему «Современник» и составлял по его просьбе оглавления новых журналов. Много общался Николай Александрович с земляками, приезжавшими в Италию, расспрашивал их. В частности, он встречался с писателем Николаем Успенским, художником К. Флавицким, познакомился и подружился с Марко Вовчком — Марией Александровной Маркович, о рассказах которой только что написал статью для «Современника». Маркович говорила позднее, что ее знакомство с Добролюбовым было недолгим, но «воспоминаний оставило много, и я могла бы многое рассказать о нем, хотя видались мы всего какой-нибудь месяц или два. Он обращал меня, что называется, в свою веру и много говорил...».

Добролюбов всюду оставался самим собой: на курорте он «обращал в свою веру» молодую писательницу. К сожалению, она не выполнила свое обещание, не рассказала о заграничных встречах и беседах с Добролюбовым.

В Италии, где довольно долго жил Добролюбов, в это время развертывалось национально-освободительное движение под руководством Гарибальди.

Еще находясь в Петербурге, он внимательно следил за крупными политическими событиями, происходившими в этой стране. В разных отделах «Современника» (в «Свистке», в политическом обозрении, которое вел Чернышевский) то и дело появлялись отклики на итальянские дела. Интерес русского журнала к событиям в Италии не был случайностью. Не только сами по себе итальянские события привлекали тогда внимание передовых людей России: обсуждая вопрос о революции в Италии, они в то же время имели в виду положение народа и перспективы революции у себя на родине. В условиях жесточайшей цензуры «Современник» таким способом вел разговор с читателем о возможности политического переворота. Используя легальные средства, авторы «Современника» наводили читателя на мысль о необходимости борьбы с самодержавием.

Неудивительно поэтому, что Добролюбов воспользовался своим пребыванием в Италии, чтобы широко осветить в «Современнике» наиболее злободневные вопросы борьбы итальянского народа за свободу, важные и для революционной пропаганды в России. Первая статья Добролюбова, написанная в Италии и посланная в Петербург, называлась «Непостижимая странность». Затем последовали статьи «Два графа», «Из Турина», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура».

Почти все эти статьи были напечатаны в «Современнике» в конце 1860 — начале 1861 годов, только статья о Гавацци, носившая ярко выраженный революционно-пропагандистский характер, была запрещена цензурой. Добролюбов нарисовал в ней вдохновенный портрет священника Гавацци, пламенного проповедника, речи которого, произносимые на площадях и улицах, снискали ему необычайную популярность в народе. Он приобрел репутацию борца против деспотизма. И Добролюбов воспользовался случаем, чтобы познакомить русских читателей с отрывками из речей Гавацци: они звучали как революционный призыв, обращенный к народу.

Отец Гавацци прославлял итальянскую революцию и ее вождя Гарибальди. Поэтому Добролюбов подробно приводил посвященные ему восторженные слова проповедника:

«Кто принес торжество сицилийскому восстанию? Кто увенчал триумфом неаполитанскую революцию? ...герой Гарибальди (в толпе: Viva Garibaldi!). Без Гарибальди страна Обеих Сицилий до сих пор еще находилась бы в цепях. К нему, к нему обращается признательность сердец наших. Да здравствует Гарибальди! *(толпа несколько раз повторяет тот же крик.)* А кто сопутствовал Гарибальди в его сицилийской экспедиции? Кто сопровождал его через Калабрию до самого Неаполя? Молодежь итальянская... Они услышали, — эти храбрые юноши, стоны страдальцев, клики восстающих, и они пожертвовали, по большей части, своим спокойствием, своими удовольствиями, цветом своей юности, богатством, удобствами, роскошью, развлечениями... Они бросились на призыв Гарибальди, имея в виду — не награды, не почести, не места, а страдания, изнурения, недостатки... И они восторжествовали!»

Отрывки из речей итальянского проповедника и пояснения самого Добролюбова придают его статье черты яркого памфлета, насыщенного революционным пафосом.

В своих статьях на итальянские темы русский публицист создал прекрасный образ Гарибальди, имя которого и теперь с уважением произносится во всех странах мира. Мужественный облик народного вождя издавна привлекал симпатии русских демократов. Еще до поездки в Италию, находясь во Франции, Добролюбов, следивший по газетам за действиями Гарибальди, писал о нем Некрасову 28 августа 1860 года: «...Вот человек, не уступивший пошлости, а сохранивший свято свою идею; зато любо читать каждую строчку, адресованную им к солдатам, к своим друзьям, к королю: везде такое спокойствие, такая уверенность, такой светлый тон!.. Очевидно, этот человек должен чувствовать, что он не загубил свою жизнь, и должен быть счастливее

нас с вами.» В этих словах — затаенная мечта русского революционера о большой общественной деятельности на благо народа.

Освещая в своей публицистике события, происходившие в Италии, Добролюбов никогда не забывал использовать эту тематику для разговора о русских делах. Перечитывая его статьи, мы отчетливо видим стремление одновременно решать задачи, насущные для освободительного движения в России.

В своих «итальянских» статьях Добролюбов рассказывал о жизни и нравах населения, говорил о том, как был долготерпелив итальянский народ, как он все прощал тем, кто управлял им, то есть «законной власти». И вот, наконец, настало время, когда народ не захотел признавать правительство Бурбонов. На первый взгляд это было неожиданностью, но только для тех, кто плохо знал условия итальянской жизни. Описывая поведение народа, Добролюбов замечает: «Нужно было много работать над ним, чтобы, наконец, заставить его провозгласить себя против законной монархии, уже не в отдельных личностях, не в частных выходках, а целой массою населения».

В этих рассуждениях содержалась мысль, глубоко актуальная для русских читателей. Без всякого труда они понимали, что, по мнению Добролюбова, даже самый деспотический режим не может помешать народу в его стремлении к свободе. Не может ли так случиться и в России, как бы размышлял Добролюбов, — в стране, где угнетение народа, произвол властей, стремящихся к сохранению существующего порядка, были по духу своему очень похожи на то, что происходило в Италии?

Добролюбов рассказывал о роли религии, приучавшей народ к послушанию и консерватизму, о характере воспитания и обучения в школах и в университетах, где насаждались монархические идеалы, о цензурном гнете, о преследовании всяких проявлений свободомыслия, — и все это было хорошо знакомо русскому читателю, привыкшему встречать аналогичные явления на русской почве.

Одна из главных тем, которой касался Добролюбов почти во всех статьях итальянского цикла, была борьба с либерализмом. Специально этой теме посвящена статья «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура». Русский публицист безжалостно и с глубоким знанием дела развенчивает деятельность премьера пьемонтского правительства, героя итальянской буржуазии, противостоящего народному вождю Гарибальди. Излагая факты из жизни Кавура, он дал исчерпывающий анализ природы либерализма как общественного явления. При этом критик всячески подчеркивал, что речь идет о таком явлении, которое распространено в разных странах, в том числе и в России, как догадывался читатель.

Добролюбов писал о Кавуре: «И вот он предался тому образу жизни, который так обыкновенен и так знаком многим «передовым» людям недавних времен в разных странах Европы.. Это жизнь созерцательного, платонического либерализма, крошечного, умеренного... *этаких людей много повсюду; может быть, даже наши читатели припомнят несколько знакомых в подобном роде*[1]. Люди эти не настолько тупы, чтобы не понимать дикости некоторых диких вещей, и потому охотно говорят против этой дичи, говорят обыкновенно тем охотнее, чем менее представляется им возможность перейти от слова к делу... Но — или по темпераменту, или по своему внешнему положению — они никак не могут дойти до последних выводов, не в состоянии принять решительных, радикальных воззрений, которые честного человека обязывают уже прямо к деятельности...»

Сатирический портрет Кавура, нарисованный Добролюбовым, служил делу разоблачения буржуазного либерализма, враждебного итальянскому народу. В то же время это было одно из самых ярких полемических выступлений Добролюбова, имевшее в конечном счете своей целью разоблачение российских либералов. И вполне закономерно, что именно эта тема в итальянских статьях вызвала наибольшее

[1] Подчеркнутые слова выброшены цензурой в тексте журнала.

возмущение в русских либеральных кругах. Особенно это относится к блестящей статье «Из Турина», где Добролюбов дал зарисовку заседаний итальянской палаты депутатов, на которых он сам присутствовал. Добролюбов стремился дать русским читателям представление об особенностях буржуазного парламентаризма и в то же время о деятельности Кавура, который пользовался буржуазной конституцией, позволявшей ему заботиться не столько о национальных интересах народа, сколько об удовлетворении своего тщеславия или прямой корысти.

Неудивительно, что русские либералы с негодованием встретили попытки Добролюбова разоблачить парламентский строй и буржуазный конституционализм, в котором они видели идеальную форму общественного правления. «Ярость на нас за Кавура повсюду неописанная», — писал Чернышевский Добролюбову 1 июля 1861 года.

Добролюбов хотел сказать русским читателям, что не парламент и не реформы принесут народу освобождение. В подтверждение своих мыслей Добролюбов сочувственно приводил отрывок из речи отца Гавацци, отлично подтверждавший его мысль.

«Друзья мои! только революция может «создать Италию», а дипломация никогда ее не создаст. Если революция создаст Италию, дипломация принуждена будет признать ее как совершившийся факт; но если мы сами не создадим Италию, дипломация разделит нас еще раз и не допустит единой Италии, потому что слишком боится ее...*(Хорошо! Браво!)* Итак, между Гарибальди и дипломацией — целая пропасть... Гарибальди представляет собою нашу победоносную революцию, которая означает — восстановление прав народа против злоупотреблений властителей... А дипломация означает — восстановление прав герцогов и короля против прав народа...*(Единодушные крики одобрения в толпе)*».

Близкое знакомство с итальянскими делами помогло критику поднять на страницах русского журнала острые политические вопросы, не подлежавшие открытому обсуждению. Талантливый публицист,

мастер «эзоповской» речи, Добролюбов не только дал справедливую оценку и глубокий анализ исторических событий, происходивших в Италии, но с помощью «итальянских псевдонимов» повел серьезный разговор с русским читателем на злободневные темы о либералах и о революции.

* * *

В начале лета 1861 года Добролюбов возвращался домой. По словам Чернышевского, он нетерпеливо стремился в Россию — «работать, работать». Ехал он морем из Италии через Афины в Одессу. В греческой столице он провел несколько дней, осмотрел памятники древности, полюбовался остатками Акрополя. Затем поплыл дальше — через Дарданеллы и Босфор, остановился в Стамбуле и, наконец, в первых числах июля прибыл в Одессу.

Чувствовал он себя плохо. Целый год прошел в скитаниях по заграничным курортам, но никакого облегчения он не испытывал. В Одессе у него пошла горлом кровь, и доктор запретил ехать дальше, ибо дорога была слишком утомительна для больного. Но и одесская «страшная пыль, вошедшая в число интереснейших достопримечательностей» города, была для него очень вредна. Позднее Добролюбов так писал об этом: « . Каждый божий день вы чувствуете на себе оседание этого тонкого каменного слоя: тяжелая пыль, поднятая ветром, не может держаться на воздухе и падает дождем, частым и ровным... Я полагал, что уж хуже пыли ничего не может быть, но мои приятели уверяли меня, что грязь еще хуже. Она имеет там какое-то липкое и всасывающее свойство, так что улицы превращаются в топи .»

Разумеется, он не раз вспоминал там строки из «Онегина»:

В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена

«Неужели же нельзя вымостить прочным образом такой город?» — восклицал Добролюбов. «А вот

теперь будут мостить», — отвечали ему одесские знакомые и принимались строить радужные фантазии относительно будущего благоустройства своих улиц. Однако он относился скептически к этим фантазиям: он предлагал собеседникам дочитать до конца пушкинское описание:

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город..

Скоро! Однако прошло уже 35 лет, а звонких мостовых не было и в помине. И оказывалось, что Пушкин описал начало тех же самых работ по благоустройству, на которые теперь все еще возлагали надежды жители южного города...

Прошло несколько дней. Добролюбов рвался домой. Несмотря на протесты доктора, считавшего немыслимой для больного поездку на лошадях, он все-таки покинул Одессу. Морем добрался он до Николаева, а оттуда на перекладных до Харькова Дорога эта, по его собственным словам, была убийственная, но зато разнообразная: то вас трясет равномерно, вы подлаживаетесь к ухабам и начинаете в такт подскакивать, то вас так подбросит, что вы прикусываете язык.

Надо представить себе, что это значило — ехать на перекладных, то есть попросту в телеге, запряженной парой лошадей, меняющихся на каждой станции. В путевых заметках, написанных Добролюбовым по возвращении в Петербург, мы находим, например, такой эпизод из его путешествия. «Ехали мы вечером, часов в девять, пошел дождь; я спрашиваю [у ямщика], много ли до станции, и получаю в ответ, что вот только мосток переехать, а там сейчас и станция... Между тем дождь превратился в ливень; я снял шапку, обернулся с головой в пальто и сижу Слышу — остановились; я открываюсь, думая, что станция, но вообразите мое разочарование: мостик только что загородили для езды по случаю поправки!.. «Что же теперь делать?» — Да надо в гору объезжать.. И проехал я версту в гору, под жесто-



А. Я. Панаева.

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Милый другъ, я умираю,
Оттого, что былъ я честенъ;
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.

Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

Н. Добролюбовъ.

ТОМЪ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ ІОСАФАТА ОГРИЗКО.
1862.

АВДОТЬѢ ЯКОВЛЕВНѢ

ПАНАЕВОЙ.

Ваша дружба всегда была отрадою для Добролюбова. Вы съ заботливостью нѣжнѣйшей сестры успокоивали его, больнаго. Вамъ онъ вѣрялъ свои послѣднія мысли, умирая. Признательность его друзей къ Вамъ за него должна выразиться посвященіемъ этой книги Вамъ.

Н. Чернышевскій.

Титульный лист первого тома сочинений Н. А. Добролюбова (первое издание) и страница той же книги с посвящением Н. Г. Чернышевского А. Я. Панаевой.

Письмо Добролюбова Н. Г. Чернышевскому из Одессы.

чайшим ливнем, в темноте, без всякого прикрытия. Приехал на станцию — все белье хоть выжми, зуб стучит об зуб, и всего лихорадка бьет... А не возроптал! — иронически прибавляет к своему рассказу Добролюбов. — Ибо знал, что поправка моста производится не для частной прихоти, но для общественного блага...»

К починке мостов и дорог Добролюбов относился так же недоверчиво, как к строительству мостовых в Одессе.

Утомительное путешествие разнообразили дорожные встречи. На одной станции с Добролюбовым заговорил некий молодой барин, ехавший в *своем* экипаже, в сопровождении прилизанного мужчины, состоявшего при нем в «должности Расплюева». Узнав, что его собеседник едет в телеге, барин сказал «а-а!» и презрительно отвернулся. «Разумеется, этакой господин, — замечает Добролюбов, — ...огражден своим воспитанием, настроением, Расплюевым и «челаэком» от всякой возможности видеть по дороге что-нибудь неприятное». Этот господин не замечал даже ухабов — так хороши были рессоры *своего* экипажа!

Добролюбов же видел по дороге немало неприятного, помимо ухабов и колдобин. Вот еще один из его рассказов. На пути между Полтавой и Харьковом он встретил труппу странствующих актеров, направ-

лявшихся в Полтаву на ярмарку, и среди них неожиданно узнал своего младшего товарища по институту Л. Н. Самсонова, всегда отличавшегося страстью к театру. Оказалось, эта страсть была столь велика, что ради сцены он бросил вполне обеспечивавшую его должность в Харькове. Теперь же он горько жаловался на свою судьбу. Добролюбов услышал печальную повесть о его театральных злоключениях. «Целый мир грязи, подлостей, интриг, оскорблений и невидных, темных страданий открылся предо мною после разговора с товарищем», — писал Добролюбов.

Что касается Самсонова, то он был поражен болезненным видом Николая Александровича, его изнеможенным лицом и беспрерывным кашлем. Только глаза все те же, отметил Самсонов. Позднее он посвятил несколько страниц своих воспоминаний описанию этой встречи.

В Харькове Добролюбову пришлось задержаться на несколько дней, потому что в дилижансе, отправлявшемся на Москву, не оказалось свободного места. Здесь ему встретился писатель Гр. Данилевский, к которому он относился прежде без всякой симпатии и не раз задевал его в своих статьях. Тем не менее Данилевский заставил Добролюбова выслушать написанные им очерки о ссыльных в Новороссии.

Вскоре явился в Харьков и Самсонов, бросивший свою труппу. Он разыскал Добролюбова в маленьком и грязном номере местной гостиницы. Выяснилось, что он поссорился с антрепренером и его помощником. Последние жестоко эксплуатировали актеров и обращались с ними так, что Самсонов, обладавший непокорным характером, счел невозможным оставаться в труппе. Добролюбов еще раз с полным сочувствием выслушал рассказ своего оскорбленного товарища и обещал, что непременно выступит на страницах «Современника» в его защиту. Обещание это он исполнил по возвращении в Петербург. Дорога от Харькова до Москвы была долгая, и пока дилижанс, запряженный усталыми лошадьми, тащился по пыльному тракту, у путника было немало времени, чтобы предаться своим мыслям. Беспредельные просторы,

поля и леса, необозримые ровные степи расстилались за окошками экипажа. По дороге постоянно встречались крестьяне; издали то и дело виднелись труженики, гнувшие спины на полевых работах. Проезжали через села и деревни, останавливались на почтовых станциях...

Жадно присматривался Добролюбов к этой жизни, к людям. Целый год он был вдали от родины. За это время произошло такое событие, как отмена крепостного права, была объявлена так называемая воля... Добролюбов знал подлинную цену этой «воле»: пребывание за границей не мешало ему трезво оценивать российские новости. Он знал, что мужик остался по-прежнему нищим и голодным, что земли у него по-прежнему не было. Недавняя «реформа», столь прославляемая либералами, была выгодна прежде всего дворянству. И все же он смотрел вокруг с невольной надеждой: не изменилась ли в чем жизнь русского крестьянина? Не стала ли хоть чем-нибудь легче его участь? Нет, все, что он мог наблюдать по дороге, тут же разрушало эту робкую надежду. Отмена позорного рабства не сделала тружеников свободными. «На место цепей крепостных люди придумали много иных», — сказал об этом Некрасов.



XXI. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И СМЕРТЬ

В конце июля Добролюбов приехал в Москву, а отсюда отправился в Нижний повидаться с родными: он не видел их уже четыре года. Тетка Фавста Васильевна, у которой он остановился, и сестры, ставшие совсем взрослыми, едва узнали его с бородой и усами; сильно изменили его и явные признаки болезни, хотя Николай Александрович усердно старался бодриться.

В первый же день приезда он пошел на кладбище, где были похоронены родители, взяв с собой сестер Анну и Катю. На кладбище девушки были поражены, увидев, как их старший брат бросился на могилу матери и громко зарыдал, как ребенок. На обратном пути он хотя и разговаривал с сестрами, но был, по их словам, очень грустен.

Недолго пробыл Добролюбов в родном городе. Решив деловые вопросы (он отказался в пользу сестер от своих прав на наследство и доходы от дома) и потолковав с Костровым о предстоящем замужестве Анны и Катерины, для которых уже приглядели женихов, он уехал в Петербург.

Была всего лишь середина августа, но, несмотря

на это, столица встретила его холодной и сырой осенней погодой. Он почувствовал себя еще хуже. «Время с самого моего приезда, — писал он тетке спустя месяц, — до сих пор стоит невыносимо тяжелое, дождь, изморозь, ветер, сырость и холод так и пронимают... А мне надо было много хлопотать, чтобы устроиться с квартирой, с братьями, перевезти их, купить им все нужное для гимназии, одеть Ваню в форму и т. д. Но главное — свои работы, за которые мне необходимо было приняться тотчас же, хоть у меня и грудь болела, и кашель усилился, и приливы к голове начались. Каждый день собирался я к вам писать и не мог...»

Действительно, он принялся за работу тотчас же, как только появился в редакции. Дел накопилось много, к тому же Чернышевский уехал в Саратов, в отпуск. Кроме того, Николай Александрович считал себя обязанным возместить свой долг «Современнику», выросший за время заграничных странствий в довольно крупную сумму. Правда, никто и не думал требовать с него возвращения денег, однако он тяготился долгом и хотел покрыть его как можно скорее. Добролюбов в силу своей исключительной скромности упорно не хотел признать тот факт, о котором постоянно напоминал Некрасов, писавший ему еще 18 июля 1860 года: «Я уже сам не раз говорил, что Ваше вступление в «Современник» принесло ему столько пользы (доказанной цифрою подписчиков в последние годы), что нам трудно и сосчитаться, и во всяком случае мы у Вас в долгу, а не Вы у нас».

Добролюбов попробовал было, как прежде, засесть за напряженную, многочасовую ночную работу. С лихорадочной быстротой написал он несколько статей, успевших попасть в августовскую книжку «Современника», в том числе «Внутреннее обозрение», построенное на материале недавних путевых впечатлений. Здесь-то он и посмеялся над надеждами одесситов на близкую ликвидацию пыли и грязи; здесь рассказал о чудовищных картинах нищеты, на которые он «нагляделся досыта» в Нижегородской и Владимирской губерниях, причем его особенно пора-

зило громадное скопление нищих на Нижегородской ярмарке. Здесь же он исполнил обещание, данное в Харькове Самсонову: написал о его истории и вообще о тяжелой жизни провинциальных актеров, целиком зависящих от произвола ловких антрепренеров.

Работать ему становилось все труднее и труднее. Несмотря на это, он почти без передышки принялся за большую критическую статью о Достоевском и очень быстро написал ее (для сентябрьского номера журнала). Но это была его последняя статья. Она называлась «Забитые люди», и речь шла здесь об «униженных и оскорбленных», о тех героях Достоевского, которые были раздавлены гнетом житейских обстоятельств.

Добролюбов не случайно взялся за эту тему: он должен был ответить Достоевскому на его полемическое выступление в журнале «Время» (оно появилось, когда Добролюбов был за границей). И всем содержанием своей статьи, всем анализом творчества писателя критик «Современника» опровергал выдвинутые против него аргументы.

В большой статье, озаглавленной «Г. — бов и вопрос об искусстве», Достоевский, называя Добролюбова «предводителем утилитаризма», утверждал, что он будто бы не признает художественности, а требует от искусства только одной идеи, только «направления» — «была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу...». Достоевский, по существу, напал на самые основы революционно-демократической эстетики, осудил борьбу Добролюбова за идейность, общественную значимость искусства. Явно впадая в противоречие с истиной, он пытался доказать, что «г. — бов» и другие «утилитаристы» отрицают подлинное искусство и вполне удовлетворяются художественным уровнем произведений Марко Вовчка.

Нет, отвечал на это Добролюбов, мы не отрицаем искусства и понимаем все преимущества талантливого произведения перед бесталанным. Но сейчас время напряженной борьбы, сейчас надо готовить людей

к гражданской деятельности и надо поощрять всякую попытку сближения литературы с жизнью, всякую попытку писателя сказать правду о народе. В такое время нам не до эстетических тонкостей. «Автор может ничего не дать искусству... и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется, и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-нибудь смысл его произведений».

Для пояснения своей мысли Добролюбов решил сослаться на... произведения самого Достоевского. Лучшего способа ответить оппоненту нельзя было и придумать. Критик подробно и убедительно разобрал художественные недостатки «Униженных и оскорбленных». Он говорил, что характеры главных действующих лиц романа не раскрыты с достаточной психологической глубиной: автор «избегает всего, где бы могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающего» (об Иване Петровиче). «Хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя...» (о князе). Не удовлетворяет критика и язык, которым говорят персонажи: это язык самого автора, одинаковый для всех действующих лиц. В итоге Добролюбов приходит к выводу, что роман Достоевского стоит «ниже эстетической критики», поэтому разбор его художественных достоинств и недостатков не является насущной необходимостью.

И в то же время роман отнюдь не бесполезен с точки зрения «утилитаристов». Наоборот, критик доказывает, что при всех его слабых сторонах роман имеет несомненное общественное значение. Там, где писатель идет по пути, указанному в свое время Гоголем и Белинским, ему удается создать правдивые картины и выразить «гуманные идеалы». Люди униженные, забитые, жалкие встают со страниц его книги. Одни из них потеряли вовсе свое человеческое достоинство, смирились и тупо успокоились, другие

ожесточились, третьи приспособились. Правда, автор ничего не говорит о причинах, порождающих этот тип людей и эти «дикие, странные» отношения между ними. Но критик благодарен писателю уже за то, что он сумел показать хотя бы и слабые признаки пробуждения человеческого сознания в своих героях — «забитых личностях», что он своей книгой помог ему поднять важные общественные вопросы.

На последних страницах своей статьи, которые звучат как политическое завещание великого критика, Добролюбов коснулся одного из таких вопросов: где же выход из критического положения для этих несчастных, забитых, униженных и оскорбленных людей? Долго ли будут они молча терпеть свои бедствия? Ему хотелось ответить на эти вопросы прямо и резко, как и подобает человеку, уверенному в том, что единственный выход — это уничтожение векового порядка, уродующего людей. Но он вынужден был ответить так: «Не знаю, может быть, есть выход; но едва ли литература может указать его; во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали от меня подробных разъяснений по этому предмету... Где этот выход, когда и как[1] — это должна показать сама жизнь...»

Он уже забыл о Достоевском, о необходимости спорить, парировать его удары, защищать свои эстетические позиции. Он говорил о более важном — о жизни, о ее великих задачах и тем самым наглядно демонстрировал преимущества революционно-демократической критики, полной общественного и патриотического смысла, перед критикой, замыкавшейся в узких пределах искусства. Добролюбов звал к борьбе, будил уснувших, воспевал свободного человека, перед которым «открывается выход из горького положения загнанных и забитых». Он не мог прямо ответить на вопрос, «когда и как» придет день свободы. Но, обращаясь непосредственно к читателям, он вопреки цензуре старался все-таки разъяснить и

---

[1] Эти слова («когда и как») были вычеркнуты цензурой, и, надо думать, не случайно.

указать им, в каком направлении следует искать «выход»: «...Главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не сдержимым течением жизни, и будьте живы, а не мертвы». Этот зашифрованный призыв к революционному действию, по существу, означал: «Ждите близкую революцию, готовьтесь к ней, примите в ней активное участие».

Таков был неожиданный для Достоевского ответ от «предводителя утилитаристов», ответ убийственный для тех, кто защищал реакционные принципы эстетической критики и «вечные» законы искусства.

Последняя страница статьи «Забитые люди» представляет собой изложенную эзоповским языком программу подготовки народной революции. В конце статьи Добролюбов выражал твердую уверенность, что большая часть так называемых «забитых людей» крепко и глубоко «хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье».

Написав эти прекрасные слова, Добролюбов, конечно, не думал, что он закончил последнюю свою статью.

* * *

В сентябре Николай Александрович еще продолжал работать, много бывал в редакции; не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензорам. Однако окружающие ясно видели, что он заставляет себя двигаться из последних сил. Однажды в начале октября Добролюбов приехал к Некрасову прямо от цензора, крайне раздраженный и совсем расхворавшийся. Авдотья Яковлевна немедленно уложила его в постель. Встать с нее Добролюбову уже не пришлось.

К туберкулезу, который тогдашние врачи долго не могли у него обнаружить, к общему истощению организма, результату непомерного труда, прибавлялись еще нравственные страдания. Одна только борьба с цензурой стоила ему невероятных усилий. Несомненно, что течение его болезни обострялось причинами общественного характера: в это время нача-

лась полоса политической реакции. Еще весной было жестоко подавлено восстание крестьян в селе Бездна Казанской губернии. После опубликования манифеста 19 февраля правительство проводило целую систему кровавых усмирений бунтующего крестьянства. В журналах запрещались статьи, цензура свирепствовала. Начались обыски, аресты революционеров и людей «неблагонадежных». «Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, — по словам Антоновича, — окончательно придушили его, он слег в постель, чтобы уже не встать с нее».

Еще в сентябре Добролюбов был потрясен сообщением об аресте Михаила Ларионовича Михайлова. Больной, разумеется, не мог знать, что на допросе в III отделении арестованного Михайлова прежде всего спросили, знает ли он писателя Добролюбова и встречался ли с ним за границей. Отважный и энергичный человек, Михайлов незадолго перед тем отпечатал в Лондоне революционную прокламацию «К молодому поколению», затем тайно привез ее в Россию и сам распространил «с большим шумом и с замечательной смелостью» (слова современника). Спустя десять дней Михайлов был арестован. Примечательно, что в тот же самый день Шелгунов, живший с ним в одной квартире, вечером поехал к больному Добролюбову и сообщил ему все подробности обыска и ареста. Поспешность Шелгунова, прежде всего известившего об этом именно Добролюбова, лишний раз указывает на наличие революционных связей между Добролюбовым и Михайловым.

В октябре произошли студенческие волнения в Москве. Полиция с исключительной жестокостью разогнала шествие студентов, о чем Добролюбов, тогда уже не встававший с постели, узнал из письма Шемановского, который писал ему из Москвы: «В прошлый четверг здесь происходило побоище студентов с полицией и, говорят, дело кончилось серьезно — много раненых; студентов, разумеется, разогнали — они собрались перед домом генерал-губернатора требовать арестованных товарищей...»

Все это тревожило умирающего. Сознание невоз-

можности осуществить свои лучшие, благороднейшие стремления, увидеть воплощение своих надежд наполняло горечью Добролюбова, делало его, по словам современника, «истинным страдальцем и мучеником, постоянно горевшим в лихорадке недовольства, негодования...».

Около месяца он лежал в квартире у Некрасова. За ним самоотверженно, с трогательной заботливостью ухаживала Авдотья Яковлевна. К больному приглашали лучших врачей, в том числе доктора С. П. Боткина. Постоянно, каждый вечер бывал Чернышевский, подолгу сидевший у постели своего друга; Николай Александрович с нетерпением ждал его прихода и оживлялся, беседуя с ним. Приезжали к больному многие друзья и знакомые, в том числе Шелгунов, Н. Обручев, Антонович. С нежностью родного брата ухаживал за ним Митрофан Лебедев, работавший на Сестрорецком заводе. В начале ноября приехал Салтыков-Щедрин, живший в это время в Твери.

Добролюбов расспрашивал всех, кто у него бывал, о последних событиях, о политических новостях. Даже в самые трудные минуты его не переставало волновать главное — перспективы революции в России. Когда приехал из Ярославской губернии Некрасов, умирающий встретил его вопросами о настроениях в деревне и с грустью узнал, что, по мнению поэта, там «ничего не будет».

В один из своих визитов Шелгунов рассказал больному о том общественном возбуждении, которое началось в связи с процессом по делу Михайлова и студенческими историями. «Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, — вспоминает Шелгунов, — и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня... Его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы...»

В первое время болезни Добролюбов еще занимался журналом; сидя в кресле, а потом лежа на кушетке, он просматривал корректуры, читал рукописи,

газеты. Отличаясь необыкновенной выдержкой, он не жаловался на свое состояние, хотя знал, что дела его плохи, ничего не говорил о своей болезни и не любил, когда его спрашивали о здоровье. Однажды он сказал Панаевой:

— Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим теперешним положением, если бы только имел силы писать; хотя бы год просидел, не выходя из этой комнаты.

Сестра Некрасова (по отцу) Елизавета Алексеевна, девочкой-подростком постоянно бывавшая в доме брата и видевшая там больного Добролюбова, рассказывает в своих воспоминаниях: «Обыкновенно он лежал одетый на турецком диване, тут же стоял рояль, на котором я по субботам должна была играть. Бывало, Евдокия Яковлевна спрашивала: «Николай Александрович, вам не мешает, что Лиза будет играть?» С доброй улыбкой Н. А. Добролюбов отвечал: «Нет, нет, нисколько не мешает».

До самых последних дней больной еще надеялся на выздоровление. По словам Чернышевского, он верил в это даже в то время, когда начиналась агония. «...И когда стала уже меркнуть его светлая мысль, в это время исчезла у него надежда на выздоровление», — писал Николай Гаврилович Т. К. Гринвальд. Почувствовав, что силы совсем угасают, Добролюбов попросил, чтобы его перевезли домой, на ту квартиру, где жил с прошлого года дядя Василий Иванович с двумя маленькими племянниками (на Литейном проспекте в доме Юргенса, ныне д. № 32) [1]. В воспоминаниях Панаевой подробно описана тяжелая сцена переезда Добролюбова от Некрасовых на эту последнюю квартиру. Его внесли на третий этаж в кресле, раздели и положили в постель. Он отказался видеть доктора, сказав: «Теперь не нуждаюсь ни в докторах, ни в лекарствах». Присутствие посторонних стало тяготить больного, и он попросил не пускать

[1] Сообщение А. Я Панаевой о том, что квартира была снята ею в последние дни болезни Добролюбова, ошибочно.

к нему никого, кроме Чернышевского. Изредка приводили братьев — Володю и Ваню.

Начались мучительные дни ожидания неизбежного конца. Панаева по-прежнему ухаживала за ним. В соседней комнате молча часами сидели Чернышевский и Некрасов. Однажды Добролюбов схватился за голову и с отчаянием сказал:

— Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... Ничего! Как зло надсмеялась надо мной судьба!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать что-нибудь полезное...

Он упал на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам. Через минуту он уже открыл глаза и, увидев плачущую Авдотью Яковлевну, слабым голосом произнес:

— Не плачьте!... Не совладал я со своими нервами!.. Вы стыдите меня за мое малодушие... Будем по-прежнему тверды... Ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни. Встретим конец как следует! Я теперь буду покоен... Больше не расстрою вас, и вы постарайтесь по-прежнему быть твердой... Мне легче будет...

Конечно, это был приступ предсмертной тоски. Не мог же он в самом деле думать, что прожил бесполезную жизнь. Мы даже знаем, что он так не думал, — об этом говорят хотя бы известные стихи, написанные им, вероятно, уже во время болезни:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю
Верно буду я известен..

Но в то же время вполне понятно, что сознание бессмысленной гибели в двадцать шесть лет, ощущение, что обрывается жизнь, которая вся еще впереди, были очень мучительны для Добролюбова.

Его последние часы описаны в воспоминаниях Панаевой. 16 ноября состояние больного резко ухудшилось. «Умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать,

он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня, спросил:

— Неужели я так уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

— Могу, — отвечала я.

— Поручаю вам моих братьев... Не позволяйте им тратить на глупости денег... проще и дешевле похороните меня.

— Вам трудно говорить, потом доскажете, — заметила я, видя его усилия говорить громче.

— Завтра будет еще трудней, — отвечал он. — Положите мне руку на голову!..

...Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что выслал меня и человека... но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку...» Я взяла его руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте... подите домой! скоро!»

Это были его последние слова... в два часа ночи он скончался».

Некрасов, Чернышевский и все, кто сидел в соседней комнате, потрясенные, плакали навзрыд.

* * *

18 ноября 1861 года в петербургских газетах появились некрологи, извещавшие о смерти Добролюбова. Некролог, подписанный ближайшими соратниками покойного, был опубликован в «Северной пчеле»; он отличался необычайной краткостью, и в этой нарочитой краткости была особая многозначительность, усиленная подписями известных всем людей, стоявшими под скромным текстом:

«В ночь с 16-го на 17-е сего ноября скончался Николай Александрович Добролюбов. Вынос тела по-

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

НЕКРОЛОГЪ. Съ глубокимъ прискорбіемъ мы извѣщаемъ нашихъ читателей о кончинѣ одного изъ даровитѣйшихъ молодыхъ писателей Николая Александровича **Добролюбова** посвящавшаго все время усиленнымъ литературнымъ занятіямъ. Онъ умеръ въ ночи съ 16-го на 17-е число ноября —Въ тѣсномъ кругѣ русскихъ писателей утрата эта тѣмъ печальнѣе, что г. Добролюбовъ принадлежалъ къ числу дѣятелей, которыхъ ожидала блестящая будущность.—Потеря эта въ особенности ощутительна въ настоящее время, въ которое болѣе чѣмъ когда либо чувствуется необходимость въ такихъ даровитыхъ литературныхъ дѣятеляхъ, какимъ былъ г. **Добролюбовъ**.—20-го ноября, въ половинѣ десятаго часа утра будетъ выносъ тѣла его на Волково кладбище, изъ квартиры, на Литейной, въ домѣ Юргенса.

Некролог, опубликованный в газете «Русский инвалид» 18 ноября 1861 года.

следует в понедельник, 20-го ноября, в половине десятого часа утра, из квартиры покойного (на Литейном, дом Юргенса) на Волково кладбище.

Н. Некрасов. И. Панаев.
Н. Обручев, Н. Чернышевский».

Похороны Добролюбова превратились в настоящую общественную демонстрацию. По словам очевидцев, в этот день (20 ноября) весь Литейный был запружен народом, хотя похороны были самые скромные, без цветов и венков. Простой дубовый

гроб вынесли на руках и так несли до самого Волкова кладбища. Две-три наемные кареты следовали за процессией, в которой участвовало больше двухсот человек. Несомненно, что народу было бы еще больше, но в это время шли аресты среди студенчества и многие из горячих почитателей Добролюбова уже угодили в Петропавловскую крепость.

На кладбище, когда гроб вынесли из церкви на паперть, произнесли речи Некрасов и Чернышевский Затем у самой могилы выступили М. Антонович, Н. Серно-Соловьевич и другие. В толпе шныряли тайные агенты Третьего отделения.

Первым говорил Некрасов. Из отчетов, помещенных в тогдашних журналах, мы знаем, что он просто и ярко охарактеризовал личность и «самобытное дарование» покойного, назвал его «мощным двигателем нашего умственного развития» и сказал, что в нем «во многом повторился Белинский». Очевидцы отмечают, что слова Некрасова трудно было расслышать: он говорил тихо, сквозь слезы, а один раз даже остановился и помолчал, потому что слезы душили его

В речи Некрасова были и такие слова, которые нельзя было поместить в журнальном отчете. Так, из донесения жандармских агентов мы узнаем, что он приписал смерть Добролюбова «сильному душевному горю вследствие многих неприятностей и неудач», а также говорил, что «он умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру».

После Некрасова говорил Чернышевский. Очевидцы запомнили, что шуба его была распахнута и грудь открыта, но, несмотря на сильный мороз, он не чувствовал холода. Речь его была большая и в политическом отношении поразительно смелая. Начав с того, что публика должна знать подлинные причины смерти Добролюбова, Чернышевский затем вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный в числе его бумаг... Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из кото-

рых вы ясно увидите причину его смерти, лиц я называть не буду, а скажу только NN...»

Дальше Чернышевский прочел примерно восемь отрывков из дневника, по-видимому веденного уже после возвращения из-за границы. Этот дневник не сохранился. В передаче агентов Третьего отделения отрывки, прочитанные Чернышевским, выглядят так:

«Такого-то числа пришел ко мне (т. е. к Добролюбову) NN и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок

Такого-то числа явился ко мне NN и передал, что за мою статью... он получил выговор.

Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки. Получено уведомление, что беспорядки были в Киеве.

Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку; другие же, — бог знает, что с ними стало.

Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству».

Прочитав эти строки из дневника, Чернышевский прибавил: «Но главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто — находится в заточении». Здесь имелся в виду М Л. Михайлов, который в это время был уже приговорен к двенадцати с половиной годам каторжных работ И знаменательно, что тут же во время похорон, после речей, среди присутствовавших был устроен сбор средств в пользу приговоренного революционера

Донесения жандармской агентуры, конечно, не являются абсолютно достоверным документом, но несомненно, что общий смысл выступления Чернышевского передан в них верно По словам агентов, его речь, так же как и речь Некрасова, «клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его».

Свидетельства современников подтверждают по-

литическую остроту и агитационный характер выступления Чернышевского. Так, А. В. Никитенко запомнил (со слов очевидцев) его замечание, что Добролюбов «умер жертвой цензуры». Обращаясь к собравшейся толпе, Николай Гаврилович, по словам Никитенко, неоднократно восклицал: «А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем».

Другой современник передает, что Чернышевский «с необыкновенным чувством» сказал в своей речи: «Какого человека мы потеряли! ведь это был талант. А в каких молодых летах он кончил свою деятельность! ведь ему было всего 26 лет; в это время другие только учиться начинают!»

В конце своего выступления Чернышевский прочел стихи Добролюбова, прозвучавшие как завещание тем, кто придет на смену павшему борцу; одно из стихотворений («Милый друг, я умираю...») кончалось призывом: «Шествуй тою же стезею»; второе («Памяти отца») содержало слова, ставшие потом широко известными:

И делал я благое дело
Среди царюющего зла

Речь Чернышевского произвела большое впечатление на собравшихся. Шпику, шнырявшему в толпе, удалось подслушать разговор двух военных, пораженных смелостью оратора. Один из них сказал другому: «Какие сильные слова! Чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют». Спустя три дня после похорон Добролюбова последовало распоряжение о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта: власти явно опасались побега революционера за границу. А через семь месяцев за ним захлопнулись ворота Петропавловской крепости.

После Чернышевского было еще несколько ораторов. Неизвестный студент вышел из толпы, собравшейся вокруг могилы. Он говорил о значении Добролюбова и назвал его продолжателем Белинского. Н. Серно-Соловьевич предложил открыть сбор средств на памятник Добролюбову.

Кончились речи, и в тяжелой тишине ближайшие

друзья покойного опустили гроб в могилу, вырытую рядом с могилой Белинского Увидев неподалеку третье свободное место, Чернышевский сказал:

— Нет человека в России, который был бы достоин занять его .

Смерть Добролюбова потрясла всех передовых и честных людей в России Его друзья и соратники были буквально убиты горем, они переживали эту потерю как большое личное несчастье Заключенный в Петропавловскую крепость Михайлов откликнулся стихотворением «Памяти Добролюбова», которое с необычайной быстротой разошлось по всему Петербургу и вскоре было напечатано Герценом в «Колоколе». Приговоренный к каторге революционер, оплакивая погибшего соратника, в гневных строках клеймил реакцию, произвол, звал к борьбе:

Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат

Жаждой правды изнывая,
В темном царстве лжи и зла
Жизнь зачахла молодая,
Гнета не снесла

Ты умолк, но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит
«Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что любовь молчит?

Иль в любви у вас лишь слезы
Есть для ваших кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?»

Написав это стихотворение и посылая его на волю, Михайлов сделал к нему такое примечание «Стихи эти невольно сложились у меня в голове вечером в день похорон бедного Бова, и я записал их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представ-

ляется его доброе прекрасное лицо со слезами на щеках. Да, умирать в такие годы горько».

Некрасов в своей речи о Добролюбове говорил:

«Что касается до нас, то мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтобы он не являлся нашему воображению, то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в могилу нашими собственными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там, и поминутно зовет нас туда и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ . »

Суровый революционер и мужественный человек, Чернышевский писал в письме «Вот уже два месяца с половиной редкий день проходит у меня без слез. Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он .. Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ».

Салтыков-Щедрин, живший в это время в Твери и довольно мало общавшийся с Добролюбовым, писал 3 декабря 1861 года П. В. Анненкову «Смерть Добролюбова меня потрясла до глубины души, хотя, видев его в начале ноября, я и ожидал этого известия. Да, это истинная правда, что жить трудно, почти невозможно».

Все, кому были дороги интересы народа, кто бескорыстно и честно служил народному делу, все понимали, как бесконечно много мог бы еще сделать для этого дела гениально одаренный человек, погибший в том возрасте, в каком обычно люди только начинают жить и действовать самостоятельно. И как ни велики заслуги Добролюбова перед русским народом и русской литературой, но все же и теперь невольно приходит в голову мысль, что он ведь только начал свой путь, что он весь был в будущем. Кто знает, сколько мог бы еще совершить этот человек? Поистине

Но слишком рано твой ударил час
И вещее перо из рук упало .

И в то же время друзья Добролюбова знали, что его деятельность не могла бы продолжаться долго. Если бы и не ударил слишком рано его час, все равно реакция, начавшаяся в стране, положила бы конец его славной работе. Участь Михайлова, Чернышевского и многих других подтверждает это наиболее наглядно Слишком очевидны были роль Добролюбова как революционного агитатора и влияние его на умы современников, слишком опасна была деятельность такого человека для самых основ полицейского государства, чтобы эта деятельность могла продолжаться долго. Когда-то жандармы готовили каземат Белинскому, умиравшему от чахотки, Добролюбов и в этом напоминал своего предшественника: тюрьма и каторга были ему обеспечены. Это хорошо понимал Некрасов, когда писал о своем герое, так похожем на Добролюбова:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь

Но как ни велико было горе, вызванное кончиной Добролюбова, однако кружок «Современника» стремился прежде всего использовать это печальное событие в политических целях. Можно только удивляться той энергии, с какой Некрасов и Чернышевский занимались пропагандой идей Добролюбова, распространением сведений о его жизни и трудах, о его личности. Образ великого критика благодаря усилиям его соратников служил делу воспитания общества, являясь перед ним воплощением лучших качеств гражданина и патриота. Начиная от смелых речей на Волковом кладбище и кончая некрасовскими стихами, вдохновенно воспевавшими «юношу-гения»; начиная от прочувствованного некролога в «Современнике», написанного Чернышевским (1861, № 11), и кончая его сибирским романом «Пролог», где Добролюбову посвящены лучшие страницы, — всюду мы встречаем это стремление утвердить в сердцах людей память о необычайной личности рано погибшего русского революционера.

Друзья Добролюбова превосходно понимали все величие его короткой, но бурной жизни. Они заговорили об этом полным голосом чуть ли не на другой же день после похорон. Спустя полтора месяца, 2 января 1862 года, Некрасов выступил в зале Первой петербургской гимназии на вечере в пользу бедных студентов с чтением стихов Добролюбова. Сначала он прочел небольшую, но яркую, прочувствованную речь, где прямо говорилось, что Добролюбов стоял «во главе современного литературного движения» и что главной отличительной его чертой как писателя и человека было «глубокое чувство гражданского долга». Потом Некрасов прочел двадцать шесть стихотворений Добролюбова, тогда еще неизвестных публике, и двадцать его переводов из Гейне; он прибавил, что остальные стихи покойного «могут явиться в печати только впоследствии».

Некрасов закончил выступление чтением своего стихотворения «Ты схоронен в морозы трескучие».

2 марта был устроен литературный вечер в пользу учащихся (на самом деле большая часть собранных денег была передана для сосланного Михайлова). На вечере выступил Чернышевский с воспоминаниями о Добролюбове, которые, по словам Шелгунова, «вызвали целую бурю криков и рукоплесканий».

Тотчас после смерти Добролюбова друзья приступили к подготовке собрания его сочинений. Не ограничиваясь этим, Чернышевский обратился ко всем знавшим умершего, к его институтским и даже семинарским друзьям и преподавателям с просьбой прислать ему свои воспоминания, письма и другие документы. Уже в январской книжке «Современника» 1862 года появилась большая работа Чернышевского, озаглавленная «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». Здесь были опубликованы мемуарные документы, до сих пор остающиеся единственным источником сведений о детстве и юности будущего критика. Полны высокого интереса и высказывания самого Чернышевского, в частности его резкое выступление против «тупоумных глупцов» и «дрянных пош-

ляков», которые осмеливались называть Добролюбова «человеком без души и сердца».

Чернышевский был первым биографом и редактором Добролюбова. Он неутомимо собирал материалы, подготавливал четырехтомное издание сочинений, и только ссылка оборвала эту деятельность. Уже после смерти Чернышевского вышел обширный том собранных им «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» (1890), снабженных его драгоценными пояснениями Эта книга, содержащая в основном переписку критика, служит главным источником нашего знакомства с фактами жизни Добролюбова.

Верные друзья сделали все, что могли, для того, чтобы воздвигнуть памятник своему соратнику, чтобы образ великого народного заступника стал близким и понятным народу, которому он служил так самоотверженно.

* * *

«...Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма», — писал Чернышевский. Велики заслуги Добролюбова перед его родиной, и велико его историческое значение не только для русской литературы, но и для русского общества, для русской революции. Образ народного трибуна, всей своей жизнью учившего соединять горячую любовь к родине, непоколебимую преданность убеждениям с суровой непримиримостью к врагу, вдохновлял русских революционеров.

Страстная ненависть к произволу и стремление приблизить час народного восстания против самодержавного правительства — таковы указанные В. И. Лениным основные черты деятельности Добролюбова, революционера, патриота, борца. Добролюбов был дорог всей образованной и мыслящей России, ибо пером пламенного публициста и критика он, вместе с Чернышевским, воспитывал настоящих революционеров, неустанно звал к борьбе за освобождение народа, за лучшее будущее, в которое он свято и неколебимо верил. Добролюбов дорог и совет-

ским людям, строителям нового общества, ибо они умеют ценить заслуги своих предшественников; в наследии великого критика они находят то, что живо сегодня, то, что помогает им жить и работать.

Труды Добролюбова, по словам Чернышевского, могущественно ускоряли время. Они оказывали прямое влияние на развитие передовой идеологии, на формирование материалистического мировоззрения многих революционных поколений.

Сила Добролюбова была в том, что в своих общественно-политических и литературных взглядах он опирался на идею крестьянской революции, вся его деятельность отвечала задачам революционной практики. Русские мыслители-демократы поднялись на самую высокую ступень в развитии материалистической философии домарксистского периода. Их деятельность подготавливала почву для распространения в России великих идей марксизма. В этом историческая заслуга Добролюбова и Чернышевского.

Огромен вклад, внесенный Добролюбовым в сокровищницу национальной культуры своей родины. Нет ни одной области общественной жизни, в которой не сказалось бы влияние его мысли, его слова. Боевое наследие великого революционера не утратило с годами своего значения, оно заняло немалое место в духовной жизни советского народа, в его борьбе за передовую науку, искусство, литературу.

Великие традиции русской революционной демократии, традиции Добролюбова и Чернышевского, обогатили передовую мысль, общественное движение и национальную культуру многих народов Советского Союза и славянских стран. В этом мировое значение деятельности и наследия Добролюбова.

Образы великих шестидесятников всегда будут служить для советской молодежи, для новых и новых ее поколений воодушевляющим примером.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

1836, 24 января (5 февраля по новому стилю) — В Нижнем Новгороде родился Николай Александрович Добролюбов

1844, осень — Начало учебных занятий под руководством М А. Кострова.

1847, сентябрь — Добролюбов поступает в последний класс Нижегородского духовного училища.

1848, сентябрь — Окончив духовное училище, Добролюбов поступает в Нижегородскую духовную семинарию

1849 — Добролюбов-семинарист изучает латинский язык, переводит Горация. Заводит «реестры» читанных книг. Интересуется народным творчеством, собирает пословицы и поговорки Нижегородской губернии. Начинает писать стихи, прозу, пьесы. С 1851 года начинает вести дневник

1853 — Хлопоты о поступлении в Петербургскую духовную академию Добролюбов весной сдает экзамены и, не закончив последнего класса, покидает семинарию. В августе — отъезд из Нижнего в Петербург. Вместо духовной академии Добролюбов держит экзамены в Главный педагогический институт. Зачисляется в число студентов

1854 — Складываются новые, атеистические взгляды Добролюбова. В марте умирает его мать. В июне — отъезд на каникулы в Нижний Чтение письма Белинского к Гоголю (вместе с Ф. Васильковым). В августе — смерть отца. Осенью Добролюбов возвращается в Петербург. К этому времени относится его окончательное укрепление на демократических и материалистических позициях. В декабре написано первое политическое стихотворение — на юбилей Н. И. Греча. Сближение с товарищами. Складывается добролюбовский кружок в институте

1855 — Обыск у Добролюбова (найдены революционные издания Герцена). Первое столкновение с директором института И. И Давыдовым. Арест, угроза ссылки Добролюбов пишет революционные стихи («Дума при гробе Оленина», «Ода на смерть Николая I» и др) и памфлет против Греча. С осени Добролюбов выпускает рукописную газету

«Слухи», придав ей резко выраженный революционный характер Активная деятельность в студенческом кружке

1856 — Обострение отношений с институтским начальством В начале лета происходит важнейшее событие в жизни Добролюбова — знакомство с Н Г Чернышевским В июле впервые выступает в печати (статья в газете «С Петербургские ведомости») В «Современнике» (№ 8 и 9) появляется статья «Собеседник любителей российского слова», обратившая на себя общее внимание Несмотря на попытки Чернышевского ограничить участие Добролюбова в «Современнике» (из опасений, что связь с передовым журналом может повредить студенту), он фактически становится его сотрудником (семь выступлений менее чем за год)

1857 — В конце зимы написана книжка об А В Кольцове (вышла в 1858 году в изд А И Глазунова) Столкновения с реакционной администрацией института Добролюбов блестяще сдает выпускные экзамены Его лишают золотой медали, на которую он имел право, и выпускают со званием старшего учителя Поездка к родным в Нижний С сентября — постоянная работа в «Современнике». Дальнейшее сближение с Н Г Чернышевским и редактором издателем журнала Н А Некрасовым Добролюбову поручают руководство критико библиографическим отделом «Современника» Отныне в каждом номере появляются рецензии молодого критика (о стихах А Полежаева, о произведениях Е Ростопчиной, Л Мея, о переводах из Гейне и Шиллера и др) В конце года напечатана большая статья о «Губернских очерках» М Е Салтыкова-Щедрина (№ 12), знаменующая начало борьбы Добролюбова против дворянского либерализма

1858 — Добролюбов выступает в «Современнике» с циклом больших статей, в которых развивает свои философские, литературно эстетические и исторические взгляды Важнейшие из этих статей «О степени участия народности в развитии русской литературы» (№ 2), «Органическое развитие человека» (№ 5), «Первые годы царствования Петра Великого» (№ 6 и 8), «Русская цивилизация, сочиненная г Жеребцовым» (№ 10 и 11) Эти статьи, а также многочисленные рецензии, проникнутые духом воинствующего революционного демократизма, восстанавливают против Добролюбова либерально-дворянскую группу сотрудников «Современника» во главе с И С Тургеневым

1859 — С начала года в «Современнике» появляется основанный Добролюбовым сатирический отдел «Свисток», выступая в качестве его главного автора и редактора, Добролюбов проявляет себя как выдающийся сатирик, беспощадно высмеивающий представителей дворянского либерализма. Против врагов трудового народа, против крепостников и либералов направлены программные статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» (№ 1 и 4), «Что

такое обломовщина?» (№ 5) и другие В статье «Темное царство» (№ 7 и 9), посвященной пьесам А Н Островского, Добролюбов клеймит самодержавно крепостнический режим, сравнивая его с тюрьмой, в которой задыхаются честные люди

К этому году относится выступление «Колокола», направленное против «Современника» и главным образом Добролюбова Герцен, оторванный от русской действительности, не понял подлинного политического смысла борьбы Добролюбова против либерального «обличительства» в литературе

1860 — К тому времени особенно обострился конфликт между либерально дворянской и революционно демократической группами «Современника» Появление в № 3 статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» (о романе «Накануне») привело к окончательному разрыву с Тургеневым

В мае Добролюбов, уступая настойчивым требованиям друзей, выехал за границу для лечения Он жил в Швейцарии, Германии, Франции и дольше всего в Италии, где в это время развертывалось национально освободительное движение под руководством Гарибальди Мысли Добролюбова были прикованы к России, за границей он написал статьи «Черты для характеристики русского простонародья» (№ 9) и «Луч света в темном царстве» (№ 10). Итальянские события дали ему возможность написать для «Современника» серию статей, разоблачавших буржуазный либерализм и прославлявших республиканцев «Непостижимая странность» (№ 11), «Два графа» (№ 12), «Отец Александр Гавацци и его проповеди» (статья не была напечатана в журнале по цензурным причинам) и др

1861 — В «Современнике» продолжают появляться статьи Добролюбова на итальянские темы «Из Турина» (№ 3), «Жизнь и смерть графа К Б Кавура» (№ 6 и 7) В июле Добролюбов вернулся на родину, не поправив своего здоровья Посетив родных в Нижнем, он приехал в Петербург и снова погрузился в обычную работу В «Современнике» (№ 9) появилась статья «Забитые люди» — о Достоевском Это была последняя статья Добролюбова У него развивался туберкулезный процесс, силы покидали его Начавшаяся в стране политическая реакция оказывала угнетающее действие на больного «Не труд убивал его, — он работал беспримерно легко, — его убивала гражданская скорбь» (слова Чернышевского)

17 ноября (29 по новому стилю) Добролюбов скончался Похороны его превратились в общественную демонстрацию На кладбище Чернышевский, Некрасов и другие друзья покойного выступили с речами, в которых рисовали благородный образ безвременно погибшего литератора, борца за светлое будущее России

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Основные издания сочинений Н. А. Добролюбова

Сочинения, тт. 1—4. Спб., 1862 (первое издание сочинений Добролюбова, подготовленное к печати Н. Г. Чернышевским).

Первое полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, с биографическим очерком о Добролюбове. Тт. I—IV, Спб., 1911—1912.

Полное собрание сочинений, под ред. и с биографическим очерком В. Кранихфельда. Тт. I—VIII, Спб., 1911 (в т. VIII помещена обширная библиография литературы о Добролюбове).

Полное собрание сочинений, под ред. Е. В. Аничкова. Тт. I—X, Спб., 1912—1913.

Полное собрание сочинений в шести томах. Под общей редакцией П. И. Лебедева Полянского. М., Гослитиздат, 1934—1940.

Избранные философские произведения под ред. и с предисловием М. Т. Иовчука. Тт. I—II, М., Госполитиздат, 1948.

Стихотворения. Редакция и примечания Б. Я. Бухштаба. «Советский писатель», Л., 1939. В серии «Библиотека поэта» (малая серия). То же, изд. 2, Л., 1948.

Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Б. Я. Бухштаба. «Советский писатель», Л., 1941. В серии «Библиотека поэта».

Избранные сочинения в 3 томах Тт. I—III, М., Гослитиздат, 1950—1953.

Дневники 1851—1859. Под ред. и со вступительной статьей В. Полянского. М., 1931. То же, изд. 2, М., 1932.

«Воскресший Белинский». Из неизданного литературного наследия Н. А. Добролюбова. Публикация Б. Козьмина. «Литературное наследство», т. 57, М., изд-во Академии наук СССР, 1951.

II. Литература о творчестве Добролюбова

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 164 (письмо Маркса к Николаю — ону).

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 235 (статья Энгельса «Эмигрантская литература»).

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 389 (письмо Энгельса к Е. Паприц).

В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., т. 5, стр. 296 (статья «Начало демонстраций»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 12 (статья «Памяти Герцена»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 4 (статья «Избирательная кампания в IV думу и задачи революционной социал-демократии»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 55 (статья «Либералы и свобода союзов»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 55 (статья «Нужен ли обязательный государственный язык?»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 176 (статья «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический»).

В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 244 (статья «Очередные задачи Советской власти»).

Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXIV, М., 1927 (статья «Добролюбов и Островский»).

В. В. Боровский. Литературно-критические статьи, М., Гослитиздат, 1956 (статья «Н. А. Добролюбов»).

А. В. Луначарский. Статьи о литературе, М., Гослитиздат, 1957 (статья «Н. А. Добролюбов»).

Н. К. Крупская. Н. А. Добролюбов. «В помощь фабрично-заводской газете», 1936, № 3, стр. 10—13.

В. С. Кружков. Мировоззрение Н. А. Добролюбова. 2-е изд., М., Госполитиздат, 1953.

III. Литература о жизни Добролюбова

С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., Госкультпросветиздат, 1953.

Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. I. М., 1890.

Переписка Н. Г. Чернышевского с Н. А. Некрасовым, Н. А. Добролюбовым и А. С. Зеленым. 1855—1862. Под редакцией Н. К. Пиксанова. М.—Л., «Московский рабочий», 1925.

Н. Г. Чернышевский. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургене-

вым и Некрасовым. Воспоминания о начале знакомства с Н. А Добролюбовым. Полное собрание сочинений, т. I. М., Гослитиздат, 1939, стр. 723—741, 748, 755—757.

Н. Г. Чернышевский [Письма к Н. А. Добролюбову.] Полное собрание сочинений, т. XIV. М., Гослитиздат, 1949, стр. 379—441 и др.

С. А. Рейсер. К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова. «Известия Академии наук СССР, серия истории и философии», 1952, т. IX, № 1, стр. 52—60.

С. А. Рейсер. Добролюбов в Нижнем Новгороде, 1836—1853. Горьковское книжное издательство, 1961.

А. Панаева (Головачева). Воспоминания. Вступительная статья, редакция текста и комментарии К. Чуковского. Гослитиздат, 1948.

М А. Антонович. Воспоминания о Н. А. Добролюбове. Сб. «Звенья», 1934, № 3/4, стр. 485—519.

Воспоминания о Добролюбове М. И. Шемановского, Б. И. Сциборского, И. М. Сладкопевцева и др. опубликованы в сб «Литературное наследство», посвященном Добролюбову (№ 25—26, 1936).

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников Л., Гослитиздат, 1961.

СОДЕРЖАНИЕ

Жданов Владимир Викторович

ДОБРОЛЮБОВ

М., «Молодая гвардия», 1961. 352 с.,
9 вкл.
«Жизнь замечательных людей».
Серия биографий. вып. 12 (326).

Редактор *Г. Короткевич*
Художник *А. Никонов*
Худож. редактор *К. Аркуша*
Техн. редактор *Н. Ныркова*

Подписано к печати 4/IX 1961 г.
Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$ Печ л 11(8,04)+
+9 вкл
Уч.-изд л. 17,2. Тираж 50 000 экз.
Заказ 1269. Цена 72 коп

Типография «Красное знамя»,
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.